

Иван Григорьевич Новиков

## Руины стреляют в упор

Сложилось так, что львиная доля улиц города Минска носит имена героев-подпольщиков Великой Отечественной Войны. Теперь, по прошествии стольких лет и смены нескольких поколений, мало кто знает (даже примерно) о том, кто такой Казинец или Кабушкин. Да, справедливости ради, никто из людей-свидетелей уже ведь не расскажет об этом. Зато об этом расскажет книга! Если вам интересна история города-Героя Минска в частности, или история Великой Отечественной в целом - прочтите! Несмотря на то, что книга основана, как теперь говорят, на реальных событиях и рассказывает о реальных людях, документализма в ней почти нет (разве что за исключением фотографий героев). Произведение художественное, и с первых страниц заставляет сопереживать героям Минского подполья, которые всеми своими силами сражаются с вторгшимся в их город злом. Которые каждый день и час выходя из дома рискуют не меньше, чем люди в окопах. Сейчас, когда демократизм позволяет услышать любые взгляды и оценки ТОЙ войны, можно по-разному оценивать её ход и её участников. Но лично для меня каждый житель тогдашнего Минска - самый настоящий Герой. Книга экранизирована В. Четвериковым. Фильм называется "Руины стреляют". Первые две книги "Минского фронта" - "Руины стреляют в упор" и "Дороги скрестились в Минске" - на русском языке вышли в издательстве "Мастацкая літаратура" в 1977 году. Повесть "До рассвета близко" - третья книга о Минском подполье, объединенная общим названием "Минский фронт".

v 1.1 – приобретение оригинала книги, сканирование(фотографирование), распознавание, вычитка, создание структуры fb2, сноски - valerakuh(Либрусек)

## Руины Стреляют в упор

### *Аннотация издательства*

Иван Григорьевич Новиков — видный советский журналист, писатель-очеркист.

Его первая книга — путевой очерк «Десять недель в Соединенных Штатах Америки» — вышла в Белоруссии в 1958 году. Отдельными книгами изданы его очерки «Полесское золото» (1959) и «Рядом друзья» (1960). Славной дочери белорусского народа посвящена документальная повесть «Вера Хоружая» (1962).

Повесть «Руины стреляют в упор» открывает нам волнующие, полные драматизма страницы истории подпольной борьбы в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Используя богатый документальный материал, сочетая труд литератора и исследователя, писатель создал интересное произведение о подпольщиках города Минска.

### *Эпиграф*

Говорят, что камни мертвы.

Нет, это не так, совсем не так!

Камни, политые человеческой кровью на местах боев за великое всенародное дело, оживают. Они вечно напоминают живым о мертвых героях, о тех, чье имя стало бессмертным.

Таковы камни моего Минска.

Когда я иду по его светлым, просторным улицам, люблюсь его чудесными площадями, садами и

скверами, везде слышу голос:

— Вы не забыли нас, живые? Вы помните, как мы здесь боролись и умирали? Мы, коммунисты, горячо любили свою Родину, любили больше собственной жизни и засвидетельствовали это беспощадной борьбой с фашизмом, доказали своей смертью.

Это голос героев минского подполья.

Записывая легенды, передававшиеся из уст в уста, узнавая все новые псевдонимы и подпольные клички, трудными, нехоженными тропинками исследователя пришлось идти от одного события к другому, от одной фамилии к другой. Не сразу открылся взору размах героической битвы, которую вели подпольщики Минска с фашистскими оккупантами.

Потом я почувствовал, что не должен молчать, о чем узнал, что имею право сказать:

— Нет, мы не забыли и никогда не забудем вас, герои минского подполья! Вы погибли за великую идею — за коммунизм, а мы построим коммунизм и тем самым навечно восславим вас! Мы будем помнить каждого из вас — и того, кто после смерти стал знаменитым, и того, кто не оставил нам своего имени, но не меньше достоин славы и почета.

Пусть не обижаются те подпольщики, о ком здесь сказано мало или чье имя совсем не упомянуто. В одной повести нельзя охватить огромной массы людей и подвигов, поставивших Минск в славный ряд городов-героев.

*Автор*

## Часть первая

Кто он, этот таинственный Жан? Его знали все подпольщики Минска, но никто из них не мог назвать ни подлинного имени его, ни фамилии, ни специальности, ни места рождения. Для одних он был просто Жан, для других — Жан Назаров, для третьих — Александр Назаров или Сашка, для четвертых — Александр Бабушкин.

Одни утверждали, что он из-под Москвы, другие — что из Казани, третьи — что из Калининской области, а кое-кто уверял, что Жан — постоянный житель Ленинграда.

Человек-загадка.

Как отыскать его след?

Беседуем с бывшими подпольщиками. Изучаем множество разных документов. Посылаем запросы в соответствующие инстанции. Десятки людей ищут человека, который, по нашим предположениям, должен был жить в том или ином месте семнадцать — двадцать лет назад. Человек ведь не иголка... А он не оставил следов, будто призрак.

Временами казалось, что напрасны наши поиски. Разве можно найти того, кто не оставил ни своего настоящего имени, ни сведений о месте довоенной работы? Не лучше ли изучать дела других подпольщиков Минска? Тем более, что и героев здесь было много, и дел сделано столько, что многие тома повестей, очерков не расскажут обо всем.

Но как же отступить от того, что считаешь своим долгом, не рассказать о человеке, который показал чудеса героизма и погиб как герой?

Поиски продолжались.

И вот среди других документов найдена докладная записка, подписанная младшим лейтенантом Кабушкиным. Рядом с его собственноручной подписью в скобках стояло коротенькое слово: «Жан». Это была, пожалуй, самая важная находка при изучении минского подполья, та чудесная ниточка,

при помощи которой начал разматываться таинственный клубок. Теперь уже искали младшего лейтенанта Кабушкина. И нашли в списках одной из партизанских бригад, действовавшей в Логойском районе и державшей связь с минским подпольем. Иван Константинович Кабушкин числился помощником начальника штаба по разведке. В списках значилось, что он пропал без вести. Теперь, когда собраны многие документы, когда разысканы десятки бывших подпольщиков, которые остались в живых, расшифрованы записки Жана из застенков СД, когда развеяна тень, долгие годы лежавшая на героической деятельности минского подполья, перед нами встала величественная картина самоотверженной борьбы коммунистов и беспартийных большевиков Минска против фашистского нашествия.

Стены наполовину разрушенных домов, заборы, ограды были облеплены объявлениями на белорусском и немецком языках. Высокий, статный хлопец в новеньких серых, старательно отутюженных брюках и голубой безрукавке медленно шагал по Червенскому тракту и время от времени останавливался возле объявлений:

«За укрытие беглых военнопленных — смерть».

«За укрытие оружия, боеприпасов, радиоприемников — смерть».

«За оскорбление немецкой армии — смерть».

Было трудно понять, как относится парень к этим объявлениям: одобряет, осуждает или безразличен к ним. Правда, голубые, довольно глубоко запрятанные глаза его, казалось, чуть темнели, когда останавливались на слове «смерть».

Прочитав все, парень пошел дальше. Пустынные улицы Минска страдальчески горбились перед ним. Кое-где от руин поднимался еще дымок, пахло горелым. Жаркое августовское солнце струило над городом трепетное марево.

Парень шел спокойно, уверенно, даже тихонько насвистывая мотив какой-то песенки. На скрещении улиц неподалеку от гостиницы «Беларусь» его остановил немецкий патруль:

— Мандат!

Два солдата и ефрейтор держали пальцы на курках автоматов. Высокий конопатый ефрейтор взял паспорт, посмотрел на фото, а потом на парня.

— Где работает?

— Парикмахер, — спокойно ответил парень, ловко проведя по щеке ладонью.

Эта точная имитация развеселила немцев. Они громко захохотали. От парня пахло хорошим одеколоном. Сомнений не могло быть: он действительно парикмахер.

— Гут, гут, шпацир!

Парень напоследок еще подмигнул патрульным и, приветственно помахав рукой, пошел дальше. По всему видно было, что документы у него в порядке. Об этом он не беспокоился. Совсем иные мысли тревожили его.

Когда приблизился к Советской улице, услышал приглушенный говор, шарканье многих ног.

Свернул в руины. Отыскал щель в заваленном обломками окне и глянул на улицу. По ней — видно, со станции — вели пленных красноармейцев. Серые, будто посыпанные пеплом, заросшие лица угрюмо склонены, глаза запали.

Глядя на бесконечную колонну пленных, парень чувствовал, какую душевную тяжесть несет каждый в себе, какую нестерпимую физическую боль приходится каждому переживать.

Вдруг один из пленных, раненный в голову, повалился на мостовую, под ноги своим товарищам по несчастью. Те, что шли позади, споткнулись о него и тоже попадали. Конвоир дал по ним длинную очередь из автомата. От неожиданности колонна шарахнулась в стороны. Тогда открыли огонь другие конвоиры.

Колонна растянулась до самой Комаровки, и стрельба слышалась по всему городу.

Пленные бежали кто куда, но всюду их догоняли фашистские пули.

Парень, притаясь в руинах, прижался к высокой толстой кирпичной стене. Сюда, наверно, никто не заглянет. Но не о себе он думал теперь. Нет, его сердце было по ту сторону стены, где текла кровь его братьев, его товарищей.

Совсем недавно, так же как сейчас их, вели его по этой улице незнакомого города. И он шагал, обшарпанный, обросший, голодный и униженный. Какая ненависть родилась тогда у него в душе! Никогда в жизни он не переживал с такой силой этого чувства. Всегда веселый, беззаботный, он мог иногда обидеться, разозлиться на кого-нибудь, даже очень разозлиться, но спустя короткое время забывал и о своих обидах и о своей злости. Как всякий физически здоровый человек, которого природа наделила красотой и большой силой, он не имел оснований быть чем-нибудь недовольным, а тем более ненавидеть кого-нибудь. Жизнь улыбалась ему даже тогда, когда порой своевольно подставляла ножку.

С детских лет приученный к преодолению трудностей, к физическому труду, он не обращал внимания на мелкие житейские неполадки.

«Тяжело сегодня? — рассуждал он обычно. — Ну так что же, переживем, а завтра легче будет».

Потому и любили его товарищи и на работе и в армии.

Совсем недавно, несколько недель назад, началась война. И за такое короткое время он хорошо изведal науку ненависти.

Их часть разбили еще за Барановичами, неподалеку от его родных мест. Мать в то время как раз гостила у брата, жившего под Барановичами. Давно она не виделась с ним: судьба бросала мать по белому свету, и только в старости довелось попасть в родную деревню Грабовец.

Попала, да в лихое время.

Неожиданно грянула война, и сын даже не простился со своей доброй, нежной старенькой матерью. В первый же час боя на самой границе младший лейтенант Иван Кабушкин урвал минуту, чтобы забежать домой и сказать молодой жене:

— Бросай все, дорогая, да быстрее выбирайся на восток. Сейчас отходят последние автомашины с семьями... Береги себя, Томочка...

Она обняла его за шею:

— Не оставлю я тебя, Жан, не оставлю... Медсестрой останусь, Жан...

Всегда она так ласково звала его — Жан. И он привык к этому новому имени.

— Нельзя, родная, никак нельзя. И раздумывать некогда. Добирайся до Казани, там устраивайся на старой нашей квартире или где-нибудь поблизости. Война окончится, там буду искать тебя... А теперь беги быстренько, беги...

Он схватил ее своими сильными руками спортсмена и, поцеловав в глаза, губы, щеки, шею, отнес к машине.

Густой столб пыли, поднявшийся за кузовом, скрыл ее...

Иван бросился к своим позициям. Бой заканчивался. По приказу командира часть отходила. Зацепившись за выгодный рубеж, снова заняли оборону. Два дня слились тогда в один нестерпимый, душный, кровавый гул. Кто остался жив, кто погиб — Иван не знал. Все было окутано багровым туманом. И солнце было ярко-красное, и небо, и лес. Оглушенный взрывом снаряда, Иван ожесточенно стрелял в метавшиеся перед ним фигурки.

Из его подчиненных уже никого поблизости не было. Последний уцелевший пулемет с патронной коробкой он оттянул за небольшой пригорок, пристроился там и снова стрелял, с тревогой наблюдая за тем, как кончаются патроны. Ждать боеприпасов было неоткуда — кругом враги.

И не слышал, как сзади на него навалилось несколько гитлеровцев. Рывком стряхнул их с себя, но врагов, видимо, прибавилось, они снова навалились на лейтенанта и прижали к земле. Один из фашистов ударил его прикладом автомата по голове.

Потом его повели. Вот так вели, как этих, которые полегли только что на улице. Под палящим солнцем, в изорванном обмундировании, покрытого соленой от пота пылью, голодного. Гнали не на запад, а на восток, к Минску. Фашисты были уверены, что Минск займут с ходу, и заранее наметили там лагерь для военнопленных.

Пригнали в Минск через день-два после того, как здесь обосновались штабы. Иван Кабушкин был в Минске впервые. Он не знал ни названий улиц, ни плана города. Запомнилось только, что вели как раз по той улице, на которой фашисты теперь расстреляли сотни пленных.

Город напоминал разворошенный, подожженный муравейник. Бесконечные бомбежки превратили его улицы и кварталы в груды руин. Люди метались, не знали, как и где избавиться от беды, которая свалилась так неожиданно-негаданно. Одни выбирались на восток, другие нескончаемым потоком заполняли улицы, ища здесь хотя бы временное пристанище.

Горе, тяжелое, нестерпимое горе обжигало сердце. Иван Кабушкин впервые по-настоящему узнал тогда, что такое ненависть.

А потом лагерь возле Парка челюскинцев, за колючей проволокой, где с пленными обращались хуже, чем со скотиной. Правда, в первые дни охмелевшие от победы фашисты, пытаясь подкупить местное население, отпускали домой военнопленных-минчан. Нужно было только, чтобы какая-нибудь женщина пришла в лагерь и признала пленного своим мужем, братом или отцом.

Иван познакомился со многими пленными. Как бы тяжело ни было, он не мог оставаться без друзей, замкнуться в себе. Рядом с общей бедой его собственная казалась маленькой, мизерной.

Нашлись бойцы родом из Минска. Одного из них, которого тоже звали Иваном, отыскала жена. Почерневший, запыленный, с пересохшими губами, солдат порывисто обнимал молодую женщину, и скупые мужские слезы падали на ее щеки, на чистенькую, беленькую кофточку. Иван Кабушкин посматривал на них сбоку, и вдруг у него родилась смелая мысль.

— Добрый день! — приветливо поздоровался он с молодой женщиной после первых минут ее свидания с мужем. — Поздравляю вас со встречей.

Женщина подозрительно посмотрела на него: есть с чем поздравлять! Разве так мечтали они встретиться? Хоть и то верно — большое счастье, что муж живой и почти здоров. Очень исхудалый, правда, но это ничего, лишь бы забрать его отсюда. Все это Иван Кабушкин прочитал на лице молодой женщины.

— Это Жан, — сказал солдат. — Так все его зовут.

Они пожали друг другу руки: женщина — робко, Иван, или Жан, как он назвал себя, — решительно, крепко, так, что она чуть не вскрикнула.

— У меня к вам просьба, — тихо проговорил он. — Сделайте, чтобы и меня вывели отсюда, когда за Иваном придете... И за меня попросите начальство...

И отошел в сторону, не ожидая ответа. Солдат Иван попросил жену:

— Сделай, Марыся, парень он товарищеский, надежный...

Когда она ушла, Кабушкин отвел Ивана в сторону и спросил:

— Найдет она мне родственников в Минске?

— Найдет! Она у меня такая: если нужно, так из-под земли найдет. Дай бог каждому...

На другой день Мария пришла в лагерь с двумя девушками. Одна из них, постарше, с черными бровями и черной длинной косой, внимательно приглядывалась к пленным и, когда Иван Кабушкин стал рядом со своим новым другом, взяв его за локоть, с криком-причитаниями бросилась к Кабушкину:

— А мой же ты дорогой, а мой же ты родненький!.. — и повисла на шее у Ивана, спрятав лицо на его широкой груди. — Наконец-то я встретила тебя... Если бы не добрые люди, не нашла бы...

Услыхав этот крик, стали оглядываться и пленные и немцы. Обняв девушку и целуя ее, Иван сказал ей на ухо:

— Немного меньше пыла... Слишком уж много шума... Вон все смотрят...

— Это хорошо... Пусть смотрят, — тихо ответила она и снова громко заговорила: — Я уж и не надеялась тебя увидеть. Какое ж это счастье, что мы встретились!..

В тот же день его выпустили из лагеря. Об этом позаботилась новоявленная жена. Она привела его к себе на квартиру, в деревню Столовую, на самой окраине города. Через знакомых отыскали ему хорошую гражданскую одежду: два костюма — светлый и темный, туфли, сорочки.

Нелегко было подобрать одежду для такого богатыря. Но односельчане и хорошие знакомые из Минска помогли. Никто не спрашивал, для кого эта одежда. Если просят, значит, нужно.

В тот же день Жан (так называл он сам себя и так звали его другие) совсем переменялся: старательно побрился, помылся, наодеколонился, чисто оделся. Теперь трудно было в этом красивом парне узнать того младшего лейтенанта, который с окровавленной головой понуро шагал в колонне пленных красноармейцев.

Кажется, и характер его теперь изменился. Снова улыбкой светились голубые глаза.

Веселый характер помогал ему быстро знакомиться и близко сходить с людьми, завоевывать их симпатии. Осторожно, но неуклонно расширял он круг новых знакомых.

Вскоре в кармане у Ивана Кабушкина уже лежали документы на имя Александра Бабушкина.

Теперь он целыми днями ходил по городу, изучая обстановку, присматриваясь к людям, отыскивая нужные связи. Одна мечта владела им — перебраться за линию фронта. Но фронт с каждым днем отодвигался все дальше и дальше, а товарищей себе для задуманного дела Иван никак не мог найти: тот ранен, этот здоровьем слаб, а тот не доверяет незнакомому человеку.

Правда, последняя помеха не представлялась ему особенно серьезной. Попутчиков найти можно было: в городе осталось много народу, в том числе бойцов и командиров Красной Армии, которые попали в окружение и переоделись в гражданскую одежду. Среди них сотни, тысячи таких, которые страстно желали перейти фронт. Только попробуй догони его. Выйдешь на дорогу, попадешь на

фашистский патруль — и могила.

В город с востока все еще возвращались неудачники беженцы-минчане.

Однако нужно было собирать, сплачивать надежных людей. Не сидеть же сложа руки, когда враг лютует в нашем доме.

Жан отправился на свидание с лейтенантом-летчиком, жившим недалеко от Дома правительства. Познакомился он с летчиком с помощью хозяек своей квартиры. Те ходили к родственникам в город и, возвратясь, сказали ему по секрету, что видели летчика Леню, сбитого «мессершмиттами» вблизи Минска. Переодевшись в одной деревне в гражданскую одежду, Леня с потоком беженцев пришел в Минск и устроился на квартире у хороших людей. Он подыскивает надежных хлопцев, с которыми можно было бы перейти линию фронта.

Хозяйка рассказала об этом Ивану, потом познакомила его с Леной на улице. Тогда и договорились они собраться и основательно обсудить план дальнейших действий.

И вот — этот зверский расстрел военнопленных. Иван стоял, тесно прижавшись к стене в углу разрушенного дома, и напрягал все свои силы, чтобы сдержать нервную дрожь. Он не раз видел смерть в бою. Еще зимой 1939 года был ранен на финском фронте. В него стреляли, и он стрелял. Бил врага беспощадно, не думая, что и самого могут убить.

Здесь же шли обессиленные, раненые люди, шли с одной мыслью: скорей где-нибудь упасть и забыться в голодном сне. За что же их расстреливают? Зачем нужно превращать улицу в бойню? Нет, человек так не сделал бы. Фашисты — звери, безжалостные, жаждущие крови звери. Таких ничем не проймешь. На их действия может быть только один ответ — пуля.

Ненависть снова трясла его лихорадкой. До боли сжав кулаки, он прижимался то одной, то другой щекой к холодным кирпичам изувеченной стены.

А там, на улице, слышались стоны раненых и одиночные выстрелы — палачи добивали тех, кто еще дышал и стонал. И вот он был совсем рядом со своими родными братьями и ничем не мог им помочь. Долго стоял так Иван, окаменевший, наэлектризованный могучим зарядом ненависти.

Пробиваться ли за линию фронта? Разве здесь не на каждом шагу враги, которых нужно уничтожать, как бешеных собак? Теперь нет у него другой цели.

Из руин вышел не сразу на улицу, а пробрался между разрушенными домами всего квартала, подальше от того места, где еще недавно корчились в предсмертных судорогах пленные красноармейцы. Повернул направо и по безлюдной улице пошел в обход этого ужасного побоища. Леню нашел на квартире. Тот с нетерпением ждал его.

— А я думал, Жан, с тобой что-нибудь случилось. Такая стрельба слышалась в той стороне...

На высокий лоб Ивана легли глубокие борозды. Погасла голубизна глаз. Они вдруг стали необычно серыми, еще глубже спрятались в тень глазниц.

— Запомни, друг мой, что со мной никогда, до самой смерти, ничего не случится. Но только что я видел такое, что и рассказать не могу...

— Что там за грохот был?

— Лучше бы не видеть... На моих глазах столько людей убито! Слабых, безоружных, раненых. И добивали, гады, с холодным равнодушием мясников. Нет, такое не забывается и не прощается. — Говорил отрывисто, грудным голосом, будто произносил слова клятвы. — Если ты, Леня, действительно тот, за кого выдаешь себя, незачем рваться на восток. Догонишь ли ты фронт или нет

— неизвестно, а если догонишь, то как пробьешься через него? А здесь враги, лютые враги на каждом шагу. Давай вместе будем уничтожать их!

Летчик задумался. Иван ждал ответа.

— Так-то оно так, но это же анархия. Я привык к дисциплине, к армейскому порядку... Да и что мы сделаем вдвоем?

— При чем тут анархия? Бить фашистов нужно! Ведь к этому зовет нас партия... Кстати, я познакомился уже со многими минчанами, изучаю их настроение.

На всякий случай Иван вышел из каморки, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. В хозяйской комнате никого не было. По просьбе Лени хозяйка, когда пришел Иван, вышла и теперь копалась в палисаднике. Возвратясь в каморку, Иван достал из потайного кармана небольшой измятый листок бумаги.

— Вот листовка... Почитай и все поймешь.

Леня прочитал раз, другой, третий. Бережно свернул листочек и отдал Ивану.

— Где ты нашел ее?

— Да вот нашел... Самолеты ночью сбросили.

— Кстати, почему у тебя такое имя — Жан? Ты француз, что ли?

— Давай, дружок, договоримся не интересоваться тем, что не относится к делу, — ответил Иван. — Мы с тобой теперь так живем, что чем меньше будем знать о прошлом каждого из нас, тем лучше. В случае провала, если и захочешь что-нибудь сказать врагу, — не скажешь. Ты понял меня? И не обижайся, пожалуйста, что я ничего не скажу тебе о своем прошлом. И тебя не буду спрашивать. Вижу, парень ты неплохой, воевать хочешь, и этого достаточно. Договорились?

— Согласен. Извини за нетактичный вопрос. Но если нас задержат вместе, о тебе что-нибудь спросят, что я должен сказать?

— Каждый раз я тебе буду сообщать, кто я. Сегодня я — парикмахер. Стригу и брею... Разве не похож на парикмахера?

И впервые на его лице Леня увидел веселую улыбку.

— Очень похож, — Леня даже удивился. — Я, по правде говоря, даже подумал об этом. Кстати, и пахнешь ты, как парикмахер.

— Назвался груздем — полезай в кузов... Как у тебя с документами?

— Пока никак. Будто кукушка в чужом гнезде.

— Это никуда не годится. Завтра же нужно сделать тебе хорошие документы. Кем ты хочешь назваться?

— Мне все равно, лишь бы фашисты не прицепились.

— Нужно сделать твое фото для документов. У меня есть знакомый парень, умеет фотографировать. Сейчас пойдешь к нему и скажешь: «Одолжи Жану корзиночку, пожалуйста». Он ответит: «Это можно» — и поведет тебя в хлевок. Там и сделает все, что нужно. Если же какая помеха будет, то он скажет: «К сожалению, наша корзиночка сломалась». В таком случае давай обратный ход. Запомни адрес...

На прощанье Иван сказал Лёне:

— Завтра в полдень я принесу тебе документы. Тогда и договоримся о дальнейшем. А пока, всего хорошего и не вылазь без особой надобности, не мозоль глаза фашистам. Нас ожидают серьезные

дела. Нужно хорошо подготовиться к ним.

Лето давно уже минуло. Желтыми и серыми сделались загородные просторы. Поле лежало грустное, сиротливое. Пригорки белели песчаными лысынами.

Иван пробирался ярами к ближайшему лесу. Одет он был в густо простроченный ватник, такие же брюки, неуклюжие сапоги, белесую чуприну прижимала здорово поношенная суконная шапка. За широкой сгорбленной спиной болтался засаленный рюкзак.

В нем — килограмма два соли, кусок самодельного мыла и еще кое-какие вещи.

Во внутреннем кармане ватника лежали завернутые в старенький носовой платочек документы на имя Александра Назарова, крестьянина из Логойского района: сделанный по всем правилам немецкий «аусвайс» и трудовая книжка колхозника. Одним словом, крестьянин отнес в город продукты и выменял их на промышленные товары. Обычное дело.

Даже хорошие знакомые, пожалуй, не узнали бы теперь Ивана Кабушкина. Это был совсем другой человек: голова втянута в плечи, руки болтаются как-то спереди, шаги тяжелые, но быстрые. И шел он напрямик, выгадывая путь, как делают это заботливые крестьяне.

Только что рассвело. По небу плыли низкие облака. Земля дышала осенней терпкой прелью.

Пожелтевшая трава, примятая тяжелым сапогом, влипала в сырую землю, не выпрямлялась.

На пригорке темно-зеленой стеной стоял лес. Стройные, высокие сосны, молодые кудрявые елки.

Оголенные озорником ветром березы жалостно стонали в его неласковых объятиях.

Лес манил к себе, обещая приют, возможность укрыться, безопасность.

Став за молодую елку, Кабушкин осмотрелся. Кругом безлюдье. Значит, никто не следит. Можно идти смело.

Набрякшие сучья глухо хрустели под ногами. В стороне, испуганная шагами человека, взлетела стайка крикливых соек. Они быстро скрылись в глубине леса. Вслед за Кабушкиным, будто качаясь на волнах, летела и стрекотала сорока. Противная это птица! Найдя большую шишку, Иван запустил ее в стрекотуху, и та метнулась за густые елки.

Не впервые уже Кабушкин был в этом лесу. Несколько раз с Леней Виноградовым, Иваном Ломакой и другими друзьями приходил он сюда на разведку. Здесь прятали найденное на поле оружие, боеприпасы, медикаменты, создали свой партизанский «тыл». Отсюда решили ходить на боевые операции.

Удивительно складывалась судьба Ивана Кабушкина. Никогда не думал он, что ему придется быть артистом, да не на сцене, а в жизни. И не каким-нибудь артистом. Здесь игра необычная: чуть сфальшивил — сразу засыплешься. Если кто вспомнит, так не Ивана Кабушкина, а Жана или Сашку Бабушкина, а может быть, Александра Назарова — это смотря по тому, кто вспомнит. Никому, даже самым близким друзьям своим, не говорил он настоящего имени и фамилии.

Зачем? Где-то совсем недалеко, около Баранович живет его мать. Если бы кто-нибудь выдал гестаповцам Ивана Кабушкина, то они нашли бы и старуху. Ведь фамилия у них одна.

Нет, лучше для друзей остаться Жаном. Да и помирать он не собирается, пока не уничтожит последнего фашиста на родной Беларуси. Зачем думать о смерти?

Ветер с тоскливым шумом раскачивал вершины деревьев, а внизу было тихо. От земли шел густой грибной запах.

Залопотало вдруг что-то, захлопало над головой. Это пронеслась стайка рябчиков. Иван с

любопытством проводил их взглядом. Он не был охотником, и красавцы рябчики вызывали в его душе только сочувствие и восхищение.

Наконец в лесном сумраке одна за другой показались фигуры людей. Их было четверо. Видно, встретились где-то на опушке. Они не разговаривали. Даже в лесу нужно было сохранять тишину — враг мог появиться везде.

Когда сошлись вместе, Иван сказал:

— Сейчас пойдем к тракту. Прошлый раз я подыскал удобное местечко: высокий обрыв над дорогой, на самом повороте. Хорошо видно во все стороны, а самим можно замаскироваться в кустах.

Деревень поблизости нет. Предупреждаю еще раз: без моей команды не стрелять. Начинаю я. Удар должен быть быстрым и решительным. Если появится больше двух машин, не трогать. Будем бить одиночные, преимущественно легковые. Каждому иметь по гранате. Все понятно?

— Все, — тихо подтвердил Леня Виноградов.

— Тогда пошли. Идти друг за другом через десять шагов, оставлять как можно меньше следов.

Подойдя к обрыву, я подниму руку, и тогда последнему — посыпать следы махоркой. Будем идти обратно — также посыпать следы махоркой. Пошли!

Место для нападения было выбрано действительно отличное. Обрыв почти козырьком нависал над дорогой. Густой кустарник давал возможность хорошо спрятаться всей группе.

Залегли, прикрывшись сосновыми ветками. Молчали. Серые тучи цеплялись за вершины деревьев.

Немного моросило. Через толстые ватники до самого нутра пробирала зябкая сырость.

Иван тихо наломал можжевельника и густо подстелил под бок. Глядя на него, так сделали и остальные. Стало теплей, меньше тянуло сыростью от набрякшей земли. Пахло можжевельником и смолой.

А дорога была пустынна. Только однажды протарахтела по ней подвода — какой-то крестьянин вез картошку. Но и он исчез за далеким пригорком.

Тот, что лежал на правом фланге, тихо вскрикнул:

— Идет! Легковая. «Опель»... Накроем, Жан?

— Подготовиться! — скомандовал Кабушкин.

Он вытащил из кармана гранату-лимонку, поставил ее на боевой взвод и весь напрягся. Машина приближалась. Издали нельзя было рассмотреть, кто в ней сидит, но, конечно, рядовой немец не будет кататься в такое время на легковой машине далеко от фронта.

Не доезжая до поворота, шофер затормозил. За высоким пригорком, на котором лежали хлопцы, ему не видно было, что делается впереди. В этот момент Иван изо всей силы метнул гранату под машину. Послышался приглушенный взрыв. Машину подбросило и наклонило набок. Хлопцы дали по ней несколько очередей из автоматов и затем по команде Кабушкина бросились вниз.

Шофер и офицер были прошиты пулями и осколками гранаты. Быстро забрав документы, оружие, захватив небольшой чемодан с офицерским обмундированием, лежавший на заднем сиденье, подожгли машину и нырнули в лес.

— Не забудь посыпать следы, — напомнил Иван. — Нас обязательно будут искать с собаками.

Всем вместе, тем более теперь, идти в город нельзя было. Уже вечерело — дни в октябре короткие. А до Минска не близко.

— Вот что, хлопцы, — сказал Кабушкин на прощанье, когда оружие было снова спрятано. — Сейчас

разойдемся, пересидим дня два-три у своих знакомых колхозников, пока стихнет шум, который поднимут фашисты. Потом нужно будет возвращаться в Минск. Оттуда пойдем в другой район. Нельзя топтаться на одном месте. Документы у всех в порядке? Фрицы и полицаи не прицепятся?

— Да, видно, все в норме. Работа чистая, — за всех ответил Ленья.

— Ну, так всего, друзья, поработали вы сегодня хорошо. В Минске я скажу, как действовать дальше. Пожав всем руки, он исчез, будто растаял в лесной чащобе.

По городу ползли слухи: кто-то на дорогах Минск — Логойск и Минск — Столбцы постреливает гитлеровцев. Слово «партизан» стало самым популярным у местных жителей, его часто повторяли и оккупанты.

А вскоре и в самом Минске стало беспокойно фашистам. Сначала они держались нахально: разгуливали ночами по улицам, пьяные бродили среди руин, даже не допуская мысли, что в городе, в глубоком тылу, кто-то осмелится покушаться на их жизнь. Но вот все чаще и чаще офицеры и солдаты начали как-то бесследно исчезать. Пойдет фашистский вояка вечером куда-нибудь пировать и не вернется.

Только трупный запах в руинах давал знать порой о бесславной гибели еще одного гитлеровца. При нем обычно не находили оружия, документов, а иногда и обмундирования.

После каждого такого убийства фашисты устраивали погромы в ближайших к месту происшествия кварталах, безжалостно уничтожали сотни «заложников». А это в свою очередь вызывало лютую ненависть минчан к оккупантам.

На стенах домов, на заборах, на досках фашистских объявлений начали появляться листовки. Они были разные — и написанные чернилами, и напечатанные на машинке. Это были в подавляющем большинстве сводки Советского Информбюро. Днем фашисты и их прислужники срывали, соскребали эти разноцветные листочки, которые несли правду людям, а наутро листовки вновь привлекали внимание людей. Гитлеровцы бросали в застенки СД тех, кто осмеливался читать листовки.

Замешательство и страх, вызванные в первые дни оккупации быстрым продвижением гитлеровцев, держались в городе недолго. Все крепче в сознание людей входило слово «война». Растерянность, которая охватывает молодого солдата в первом бою, проходила. Не только Иван Кабушкин, сотни минчан внимательно присматривались друг к другу, старались определить, у кого хватит мужества, выдержки, ловкости, чтобы схватиться с лютым врагом здесь, в стенах родного города.

Нет, Минск не опустел, как казалось на первый взгляд в начале оккупации. Он только затаил дыхание. В нем еще сильнее и горячее бились сердца коммунистов и беспартийных патриотов, не успевших эвакуироваться в советский тыл или уйти в армию. Сотни членов, кандидатов партии и комсомольцев по разным причинам остались в оккупированном Минске. Вокруг них были десятки тысяч патриотов без партийных или комсомольских билетов. Двадцать четыре года Коммунистическая партия воспитывала в них любовь к Родине, советский характер, и вот началось испытание этой любви огнем.

Каждый своим путем шел на подвиг.

Володя Омелянюк вернулся домой, еле переставляя ноги. Голова его была обернута обрывками рубашки, на них чернела запекающаяся кровь. Мать испуганно всплеснула руками:

— Сыночек, мой родной, что с тобой?

По широкому морщинистому лицу матери потекли слезы, крупные, частые.

— Ничего страшного, не волнуйся, — обнимая сгорбленные плечи матери, успокаивал ее Володя. — Под бомбежкой несколько раз лежал, вот и царапнуло немного. Не сильно. Устал я ужасно. Три недели ни минуты покоя...

— Переоденься да ляг, миленький, отдохни, пока отец вернется. Он к Степану Ивановичу пошел, о чем-то секретничают старики. Боюсь я за них.

Она захлопотала около сына, помогла ему умыться, начала торопливо готовить обед. Как только Володя сел за стол, сон сморил его. Проглотив кое-что из приготовленного матерью, он свалился на диван.

Проснулся, когда старики сидели возле стола и тихо о чем-то говорили.

— Мое почтение студенту, — с ласковой улыбкой сказал Степан Иванович Заяц, сосед и старый приятель отца, заметив, что Володя открыл глаза.

— Был студент, да весь вышел, — в тон ему ответил Володя, пожимая руки старикам. — А теперь — будущий боец Красной Армии.

— Неужели? — все еще улыбаясь, спросил Степан Иванович. — Ой, не догонишь ты ее, родную. Смотри, куда фронт переместился, давно уже не слышно орудий. Как доберешься к своим?

— Отдохну немного, найду надежных хлопцев — и айда...

Старики посмотрели друг на друга и согласно кивнули головой. У обоих за плечами большая, красиво прожитая жизнь, партийный стаж с первых дней революции. Володя всматривался в их лица, стараясь угадать, о чем думают старики.

— Конечно, было бы неплохо, если бы твои слова сбылись, — включился в разговор отец. — Но разве это единственный выход — пробиваться через линию фронта? Вот мы со Степаном Ивановичем посоветовались и решили, что тебе незачем идти отсюда. В Минске осталось большинство населения. Кроме того, здесь задержались тысячи бойцов и офицеров разбитых частей. Это также армия. Нужно только организовать ее, а вот организация будет зависеть от нас, коммунистов. Ты — журналист, такие люди очень нужны в подпольной работе. Поверь нам...

Володя задумался. Предложение стариков сводило на нет все его планы, созревшие в нем, пока он пешком шел из Белостока, где перед войной проходил производственную практику.

Да, в словах стариков есть свой резон. Жизнь требует, чтоб он стал бойцом подпольной армии большевиков. Невидимой, гибкой, своеобразной армии. Что ж, если так нужно для дела, он готов.

— Мы на это рассчитывали, — довольно сказал Степан Иванович. — Теперь нас уже трое, да и мать можно считать подпольщицей. Вот и четверо. А в подполье четыре бойца — серьезная боевая сила, если они действуют разумно. Давайте понемногу, осторожно изучать людей, привлекать к нашему делу. Только нужно строго соблюдать конспирацию. Это — главное условие нашего успеха.

Доверять — только самым надежным. Попадешься — пощады не жди, враг жестокий и опасный.

Жили тогда Заяц и Омелянюки на улице Чернышевского. Тихая, не очень красивая улица. Фашисты отключили ее от электролинии — никто из гитлеровцев здесь не квартировал.

Домик Омелянюков — небольшой, деревянный. В комнате Володи, выходившей окнами во двор, на стене висело большое зеркало, а возле него стояла тумбочка. На ней обычно лежали разные туалетные принадлежности, стоял флакон одеколона.

Теперь, после разговора со стариками, он смотрел на свое жилье совсем иными глазами.

Прикидывал, что здесь нужно приспособить для подпольной работы.

Вечером позвал к себе соседа — Сашу Цвирко, которому мог кое-что доверить, и сказал:

— Есть у меня одно дело, не знаю, поддержишь ли ты меня.

— Если хорошее дело, то поддержу.

— Конечно, хорошее. До радиозавода не так далеко. Туда дают электричество. Если бы нам удалось провести линию сюда, можно было бы пользоваться электроэнергией. Конечно, это нужно сделать незаметно, чтобы немцы не увидели. Я знаю, у тебя есть «кошки» по столбам лазить. Давай проведем себе линию. Зимой дров не напасешься, а так и погреться и приготовить еду можно. Рискованно, зато выгодно.

Володя знал, что Саша хлопец решительный, потому и рассчитывал на него, и не напрасно. Две ночи не спал тот, пока не провел линию.

За зеркалом в комнате Володи была приделана розетка. В тумбочке стоял небольшой радиоприемник. Включив его, Володя осторожно поворачивал переключатель диапазонов. В приемнике хрипело, трещало, доносились обрывки фраз на немецком языке. Потом зазвучал такой дорогой, родной голос Москвы. Симфонический оркестр исполнял марши. Диктор называл авторов музыки и исполнителей.

Часы показывали без четверти одиннадцать. Выключив приемник, Володя стал ждать, когда наступит половина двенадцатого. Тогда Москва будет передавать сводку Советского Информбюро. Окна в доме были плотно завешены. На тумбочке горел небольшой каганец, лежала чистая бумага и три очиненных карандаша. Откинувшись на спинку стула и сцепив руки над головой, Володя думал. Как перевернула всю его жизнь проклятая война! Он уже заканчивал институт журналистики. Учился отлично. Впереди была интересная работа.

Никто, пожалуй, не имеет такой возможности окунуться в гущу жизни и так много видеть и слышать, как работник газеты. С кем ему только не приходится встречаться, где он только не бывает! Изучать жизнь, изучать людей, писать о их работе горячо, взволнованно — вот заветная мечта Владимира Омелянюка. И что осталось от его мечты? Одни воспоминания.

А может, это и не так? Теперь он также будет писать для советских людей. Оттого, что в наш дом ворвались фашистские разбойники, минчане не перестали быть советскими людьми. Они мстят врагу, не поддаются фашистской пропаганде, хотя она назойливо отравляет головы своей ложью. То тут, то там в руинах находят убитых гитлеровских вояк. Владимир Омелянюк также должен бить врага могучим оружием — правдивым словом коммуниста. Его место в этом строю.

В половине двенадцатого снова включил приемник.

— Говорит Москва. От Советского Информбюро...

Торопясь, писал вместо слов отдельные буквы и слоги, стараясь записать всю сводку.

Она была не радостная, но правдивая. На фронтах шли тяжелые, упорные бои. Противнику в ряде мест удалось потеснить наши войска, но и он понес большие потери. Назывались оставленные нашими частями города, цифры потерь немецко-фашистской армии.

Однако какой утешительной была эта сводка в сравнении с немецкой брехней! Уже давно и фашистские газеты, и радио трубят, что гитлеровцы в бинокли видят Москву. А выходит, что до Москвы им еще далеко!

Володя взял пишущую машинку, подготовил бумагу, копирку и начал печатать сводку. До самого

утра просидел за работой. В конце сводки добавил от себя призывы к минчанам: бить фашистов всем, чем только можно, отравлять им жизнь, чтобы гитлеровским выродкам тошно стало в советском Минске.

Только на рассвете лег спать. А утром все напечатанное отдал отцу.

— Молодец ты, Вова, — похвалил отец парня и, положив листовки в сумку, понес их Степану Ивановичу.

На другой день листовки со сводкой Советского Информбюро Володя видел на телеграфных столбах, на дверях домов, на досках объявлений по всей Комаровке. Видно, Степан Иванович уже имеет группу надежных людей, которые с успехом выполнили такое опасное поручение.

Оттого, что его работа не пропала даром, что она влилась в общее дело борьбы с врагом и что многие минчане успели узнать правду о положении на фронте, на сердце у Володи стало радостно, светло. Хотелось работать лучше и больше, разжигать огонь ненависти к врагу в сердцах советских людей, пламенным словом звать их на беспощадную борьбу.

Однажды Володя шел по Советской улице и повстречал знакомого студента юридического факультета Васю Жудро. Оба приятеля очень обрадовались встрече. На улице разговаривать было небезопасно, договорились, что Вася придет к Володе вечером.

Дома, когда остались вдвоем, внимательно посмотрели друг другу в глаза.

— Как живешь? — спросил Володя.

— А как я могу жить? Разве это жизнь? Воевать нужно, друг, воевать. А ты что, иначе думаешь?

— Почему иначе? Но ведь нужно конкретное что-то придумать. Мы — коммунисты, пропагандисты, а пропаганда среди населения в наших условиях — та же борьба. Нужно поднять людей на партизанскую войну. Читал сводки Советского Информбюро?

— Не читал, а слышал. У моих знакомых приемник есть, слушаем иногда Москву. Я согласен с тобой. Только у нас пока что, кроме желания бороться, ничего нет. Никакой материальной базы.

— Давай обсудим это с некоторыми людьми. Приходи к нам завтра в полдень.

Был конец июля. Над городом висела раскаленная дымка. Все еще пахло горелым, першило в горле. Тяжко было дышать не только от духоты, но и оттого, что по городу разгуливали люди в ненавистных зеленых фуражках с высоким верхом, с кокардой, что на каждом шагу встречалась эмблема — череп, а под ним скрещенные кости, что на каждом столбе можно было прочесть слово «смерть».

Как раз в полдень Вася был у Володи. Здесь уже собралась небольшая группа людей — хозяйка квартиры, Степан Иванович Заяц, Николай Александрович Шугаев, Арсен Викентьевич Калиновский и другие. Володя шепотом сообщил, что почти все присутствующие — старые коммунисты.

— Не может быть, чтобы в таком большом городе не было подпольного горкома партии, — говорил Степан Иванович. — Нужно настойчиво искать. По городу распространяются листовки. Значит, кто-то действует кроме нас, энергично, умело действует. Мы должны найти подпольный комитет и установить с ним тесную связь. Общими силами можно сделать значительно больше.

Володя горячо поддержал его:

— Нам бы теперь типографию... Хотя бы маленькую, на многотиражку. Эх, и писал бы я! Огнем и кровью писал бы, чтоб мертвого расшевелить! Без связи с подпольным горкомом типографии нам не

оборудовать. Это дело размаха требует, а мы пока что ремесленничаем. Я считаю, что нам нужно установить более тесный контакт с предприятиями. Там же работают наши, советские люди, которых гитлеровцы силой согнали к станкам. Мы не имеем права обходить их. Если на предприятиях мало коммунистов, нужно создавать антифашистские группы. Только так мы можем влиять на население. Прежде всего нам нужно наладить связи с Домом печати и радиозаводом. Там мы найдем надежных людей.

Разошлись по одному только под вечер. У каждого на сердце было радостно. Пусть их еще мало и ничего существенного они пока что не сделали, но уже создается какая-то группа, организация. Или от приподнятого настроения, или оттого, что солнце уже склонялось над Сторожевкой и на улице посвежело, — дышать стало легче.

Володя сидел в огорожке и задумчиво смотрел на восток. Там на бледно-голубом небе появлялись тучки. За крышами ближайших домов он не мог рассмотреть: приплывают ли тучки откуда-то издалека, с востока, или вскипают серой пеной здесь, за городом. Прошло каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут, и половина неба уже стала черная. Солнце покраснело и словно расплылось в кипени туч, которые ползли с востока. Сделалось темно, как ночью. Молнии полосовали небо. — Большая гроза будет, — услышал Володя за спиной довольный голос отца. — Это хорошо. Дышать станет легче.

Город в первые дни войны и оккупации будто магнитом притягивал к себе людей. Здесь легче было найти убежище, скрыться от врага, получить помощь, наладить нужные связи.

Неудивительно, что и Бориса Григорьевича Бывалого потянуло сюда, в Минск. Правда, у него и выхода другого не было. А произошло все так.

Был он комиссаром артиллерийского полка. Раненный в бою под Волковыском, очутился в окружении. На хуторе между деревнями Большие и Малые Жуховицы один колхозник увидел обессиленного, окровавленного комиссара и пригласил в свою хату.

На следующий день поблизости начали шнырять немцы.

Глядя на звездочку на рукаве Бывалого, колхозник сказал:

— Переоденьтесь, товарищ комиссар, пока не поздно. Зачем понапрасну жизнью рисковать? Все равно сейчас вам командовать не придется и комиссарская форма не нужна. Вот вам наша домотканая одежка, она лучше подойдет, — и подал довольно поношенную полотняную рубашку, посконные штаны, шапку, старые ботинки.

В печке весело потрескивали еловые дрова. Когда Борис Григорьевич переоделся, хозяин собрал его обмундирование, свернул и бросил в огонь. Языки пламени жадно начали лизать добычу.

— А теперь вам удобней будет спрятаться в гумне. Оно у нас на отшибе, среди поля, километра за два отсюда. Я отведу вас туда, а мой отец будет утром и вечером приносить еду. Там и переждете напасть. Не будут же фашисты торчать у нас всегда, им здесь нечего делать. А потом подумаем, как быть дальше.

Пять дней прошло с того времени, как он обосновался в гумне. Здесь было тихо и безлюдно. Ночью выпала роса, и, когда всходило солнце, на небольшом пригуменье сверкала лучистая, с искристыми переливами радуга. Потом роса исчезала. Выбравшись из гумна, Борис Григорьевич лежал на спине и следил, как спокойно плыло по небу белопенное кудрявое облачко — красивое, но холодное, безразличное ко всему.

Около гумна шумело море колосистой ржи. Над красными шишечками клевера с гуденьем кружили шмели. Под легким дыханием ветра еле приметно трепетали синие лепестки васильков. Однако красота цветов уже не трогала души Бывалого.

Тупо, непрестанно болела рана. Она ни разу не была перебинтована и могла загноиться. Надеяться на какую-либо медицинскую помощь не приходилось — кругом только поле да вдалеке виднелся хутор, откуда вечерами заботливый старик приносил еду и воду.

Вечерело. Борис Григорьевич перешел на свое постоянное место — в гумно. Ворота открывались внутрь. За ними на соломе лежали одеяло и свитка, принесенные ему хозяевами. Примостившись, он уже хотел заснуть, как вдруг услышал шум, громкий крик, а затем и стрельбу. Забыв о своей ране, Бывалый подхватился и припал к щели в стене. В негустых еще сумерках увидел, что напрямик по полю за красноармейцем гонятся два фашиста. Время от времени они останавливаются, чтобы выстрелить, а он бежит по ржи в сторону гумна.

Совсем недалеко от гумна красноармеец вдруг свернул куда-то. Немцы погнались за ним.

Спустя некоторое время послышались их голоса. Снова Бывалый припал к щели. По только что проложенной во ржи тропке гитлеровцы дошли до гумна и остановились. Борис Григорьевич немного знал немецкий язык.

— Пойдем посмотрим, — услышал он предложение одного из фашистов.

— А чего мы там не видели? — возразил другой. — Поздно уже, не трать зря времени.

— Нет, на всякий случай нужно глянуть, — настаивал первый. — Может, там какой-нибудь коммунист прячется. От них всего ожидать можно.

И он направился к открытым воротам, за которыми сидел Борис Григорьевич.

В гумне было уже совсем темно. Прижавшись к стене, Бывалый держал пистолет на взводе. Все внутри у него похолодело, дыхание спирало. С надеждой и страхом смотрел он, как луч электрического фонарика скользил по стенам и углам гумна. Вот он проплыл мимо комиссара и метнулся в другую сторону.

Все обошлось бы тихо, но по своей немецкой аккуратности фашист не мог оставить ворота открытыми. Он начал закрывать их. Луч света упал на Бывалого. Борис Григорьевич выстрелил. Немец, державший фонарик, грохнулся на землю. Выстрелил в другого, но только ранил. Фашист успел схватиться за карабин. Тогда Бывалый выпустил в гитлеровца всю обойму.

Когда стрелял, совсем забыл о том, что это его последняя обойма, и теперь он остался безоружным. Потом спохватился: так ведь у немцев есть оружие! Взял карабин, отполз метров на двести от гумна и лег.

Во ржи стрекотали кузнечики. Тихо шелестели колосья. Слышались какие-то таинственные, приглушенные звуки летнего вечера. А человеческих голосов или стрельбы не было слышно. Так во ржи он пролежал часа два, внимательно прислушиваясь.

Мысли набегали одна на другую. Остаться здесь дольше нельзя. Если не ночью, так завтра гитлеровцы пойдут искать этих двоих. Тогда уже от них не выкрутишься, и хозяев могут схватить. Поднявшись, поковылял к хате. Тихо постучал в окно. Видимо, в хате испугались, заметались. К стеклу припало лицо хозяина.

— Кто?

— Это я, откройте.

Огня, конечно, не зажигали, говорили шепотом.

— Я там, около гумна, двух фашистов прикончил, — сообщил Борис Григорьевич. — Так вы их сейчас закопайте, пожалуйста, чтоб беды не было.

— Куда же мы вас теперь денем? — засуетился хозяин. — В таком разе и спрятать никуда не спрячешь, искать будут внимательно.

Согласились, что нужно идти в город. Там и опасности меньше, и медицинскую помощь можно получить. Хозяйка торопливо налила бутылку молока, положила в торбу большую краюху хлеба. Сын хозяев проводил Бывалого на большак.

— Вот так и держитесь большака, — посоветовал он на прощанье. — На проселки не сворачивайте, — там стреляют сейчас без разбору. А тут по обочине тысячи людей проходят, на вас никто не обратит внимания.

На другой день кое-как добрался до районного центра Столбцы. Узнал, где госпиталь для военнопленных.

Госпиталь находился в здании райкома партии. Он был переполнен ранеными, лежавшими не только на полу в комнатах и коридорах, но и во дворе. От здания несло невыносимым смрадом. Стоял непрерывный стон. От одного раненого к другому бегал военный врач, пленный. Улучив момент, Бывалый подошел к нему и попросил посмотреть рану. Врач вначале разозлился:

— Ходят здесь разные гражданские... И без вас тошно, тут военных полно... Ну хорошо уж, давайте вашу рану...

Осмотрел, обработал, перевязал, а потом уже другим тоном говорит:

— Пустяки, с этим до ста лет доживете. Кстати, я в госпитале вас оставить не могу... Здесь раненые военные.

— Тогда, может быть, поесть дадите?

— Что с вами сделаешь... Идите к заведующему хозяйством, можете пока у него остаться, будете помогать ему.

Заведующим хозяйством был коммунист Микола Требников. Когда немцы начали грузить на машины раненых, он набрал продуктов и предложил Бывалому:

— Давайте добираться до Минска.

В середине июля они были уже в столице. Город еще горел. Он напоминал огромное кладбище.

Бывалый и Требников бродили по опустелым улицам, но не находили не только знакомых людей, но и знакомых домов. Казалось, огромной силы землетрясение разрушило Минск до основания.

Усталые, сели на скамейку в Центральном сквере. Приближался вечер, а у них еще не было угла для отдыха. А как же ночью, куда деться? В конце концов, можно было бы переспать и под этими каштанами и кленами, но фашисты схватят, и тогда все — погибель.

По аллее тихо шел худой, покрытый дорожной пылью человек. Он держал за руку мальчика лет шести-семи, который еле тащил ноги. Поравнявшись с Требниковым, остановился, пристально всмотрелся в него и вскрикнул:

— Микола, здравствуй!

Они горячо поздоровались. Это был старый знакомый Требникова. Он с семьей пытался эвакуироваться, но в дороге его жену убило бомбой, а он с сыном вернулся в Минск. У него здесь были знакомые. Теперь они живут на углу Пролетарской набережной и улицы Кирова.

Туда и направились всей группой. В одной из комнат какой-то бывшей республиканской организации жили три женщины. Война заставила покинуть обжитые, насиженные места десятки, сотни тысяч людей и гоняла их по городу и вокруг города. И эти три имели раньше квартиры где-то в другом районе, но их дома разбомбило, и женщины переселились сюда.

Увидя обшарпанного, заросшего, раненого человека, они сразу же догадались, что это не иначе как командир Красной Армии.

— Пойдемте к нам, отдохнете, — предложили они Бывалому.

— Теперь от этого не отказываются, — сказал он, заходя в комнату. — Но я должен предупредить, что вы рискуете...

— Дважды никто не умирает...

Одна из женщин полезла в чемодан, вытащила одежду мужа, которая как раз подходила Бывалому, прибор для бритья. На примусе нагрели воды, поставили корыто, и впервые за много дней Борис Григорьевич с наслаждением побрился, помылся и переоделся в чистую одежду. Микола Требников, увидев Бывалого после такой обработки, даже ахнул:

— Вот это здорово! Ну, я теперь спокойно могу пробираться к своим. Буду уверен, что вы попали к хорошим людям. Лечитесь, а потом сами увидите, что делать. Будьте здоровы!

И они простились, как братья.

А Бывалый так и остался жить здесь под видом родственника одной из женщин, случайно попавшего в Минск. Вначале выходил на улицу редко.

В скором времени немцы открыли «заявочное» бюро при городской управе. Все местные жители, потерявшие свои документы, должны были подать заявления, чтобы получить временные удостоверения и прописаться в домовых книгах. Только нужно было иметь двух поручителей.

Хозяйки комнаты поручились. Так Борис Григорьевич Бывалый сделался постоянным жителем города Минска. Теперь ему можно было смелей выходить на улицу, встречаться с людьми.

Появились новые знакомые, главным образом командиры, попавшие в окружение.

Собравшись как-то у Бывалого, командиры Бочаров, Бодров, Соколов договорились, что нужно добывать оружие. Взять его можно только у врага.

Бочаров и Соколов однажды вечером пошли в парк имени Горького. Давно уж не было дождей, листья стали серые от пыли, и даже на аллеях дышалось тяжело.

Пройдя по берегу Свислочи, свернули в руины. Несмело проложенная тропинка вилась между огромных груд битого кирпича, мимо уцелевших стен разрушенных домов. Зашли за одну высокую стену, сели.

Золотистым багрянцем налилось солнце за Свислочью. Золото постепенно блекло, приобретало малиновый цвет. Командиры сидели задумчивые и прислушивались. Было тихо, будто на кладбище. Сгущался сумрак, и в его бездонной глубине издали было слышно, как со свистом пролетала над головой летучая мышь. Вдруг где-то в парке послышался надрывный крик совы. Командиры насторожились. Может, это сигнал какой? Откуда же сова в городе?

Крик больше не повторился. Не было слышно и никаких других звуков. Кто его знает, может, война и сову прогнала с насиженного места? Мало ли что может случиться в такую небывалую завируху?

Они уже собирались идти домой, когда услышали неровные шаги и бормотанье. Со стороны Комаровки, шатаясь и размахивая руками, плелся пьяный немец. Он что-то ворчал себе под нос,

видимо проклиная кривую неровную дорогу. Пропустив его, Соколов сзади ударил пьяного тяжелым куском железа по голове. Забрав пистолет, оттащили труп в руины и забросали кирпичом.

Глухими тропинками пробирались на свои квартиры.

В другой раз пошли на добычу оружия в руины возле Театра оперы и балета. Теперь уже у них был пистолет. Но, чтобы не нарушать тишины, расправлялись с фашистами ножами.

Оружия и патронов становилось все больше и больше. Но не всегда везло на пистолеты и автоматы. Часто под руку попадались рядовые гитлеровцы, у которых, кроме тесаков, ничего не было. В укромном местечке собралось уже около дюжины тесаков.

— Когда-нибудь и они потребуются, — подбадривал товарищей Бывалый.

Он тем временем искал подполье. Удалось напасть на какой-то след. Во второй половине сентября 1941 года получил явку, встретился с подпольщиками, которые уже приметили деятельность группы военных.

Встреча произошла на квартире командира Красной Армии Георгия Глухова, проживавшего на Советской улице неподалеку от Дома правительства. Кроме хозяина квартиры здесь было еще несколько человек. Один из них сразу же привлек к себе внимание Бывалого. Это был кавказского типа человек с резкими чертами лица. Большие темные глаза его пронзительно заглядывали в самую душу собеседника. Этот человек напоминал «морского волка», которому довелось многое повидать на своем веку. Знакомясь, он крепко пожал руку и отрекомендовался:

— Славка Победит.

Борис Григорьевич назвал свою фамилию.

— Неплохо, если бывалый, — принимая фамилию за подпольную кличку, заметил Славка. — Ну, а если вы человек бывалый, то и дело с вами легче вести. Мы, — и он показал на присутствующих, — уже некоторое время имеем вас на примете. Ваша группа делает неплохое дело, уничтожая фашистов. Но все, что уже сделано, — только крупица того, что можно сделать и к чему обязывает вас партия.

На душе у Бывалого посветлело. Значит, партия действует! Она внимательно следит за поведением каждого из тех, кто очутился в тылу врага. Глаза ее видят, кто и как ведет себя в эти суровые дни.

— Наша общая первоочередная задача, — продолжал Славка Победит, — установить связь с партизанскими отрядами. Они есть, но, видимо, еще маленькие, неорганизованные. Кроме того, нужно создавать новые отряды. Вы, военные, должны сыграть в этом деле решающую роль. У вас есть соответствующая подготовка, умение руководить людьми в бою. А этого как раз не хватает молодым партизанским отрядам, которые организуются из гражданских людей. Если у вас что-нибудь конкретное наметится, дайте мне знать.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду партизанский отряд. Если вы организуете хорошую группу, обязательно сообщите. У нас найдется кое-что для отряда. В частности, есть у нас оружие, боеприпасы, продукты, медикаменты, одежда. Главное — умело организовать людей в самом начале. Потом недостатка в бойцах у нас не будет, если народ увидит наши дела.

— Хорошо, товарищ Победит, — согласился Бывалый. — Мы будем искать новые связи с бойцами и командирами, которые застряли в Минске. Потом, по-моему, нужно активней выводить командиров и бойцов из лагерей военнопленных...

— Это уже делается. У нас есть все данные считать, что это дело организовано неплохо. Но и вы действуйте более энергично.

Первая встреча с подпольщиками подбодрила группу Бывалого. Была найдена ниточка, которая должна была оторванных пока что от всего мира, но до конца преданных Родине людей связать с партией, а значит — со всем советским народом.

В скором времени к Бывалому зашел политрук Бочаров. Он был чем-то озабочен.

— Борис Григорьевич, я напал на следы какого-то полковника, который уже организовал партизанский отряд, и находится он в Минске. Мне говорили, что полковник охотно возьмет нас к себе.

Партизанский отряд в Минске? Небольшая группа — иное дело, а то — целый отряд! Правда, в городе часто рассказывают об убитых ночью немцах, о минах, которые взрываются то в фашистских учреждениях, то на железной дороге. По всему видно, что действуют партизаны и подпольщики.

— Ты уверен, что это не провокация?

— Конечно, гарантии дать не могу, но с полковником многие держат связь и никто еще не провалился. Можно попробовать.

— Хорошо. Назначим ему встречу в руинах возле Театра оперы и балета послезавтра в три часа дня. Посмотрим, что там такое.

Большой группой идти нельзя — заметят фашисты. Отправились вчетвером. Бывалый, и Бодров шли впереди, а позади, на определенном расстоянии, держались вооруженные пистолетами Бочаров и Соколов. В случае провокации Бочаров и Соколов должны были огнем прикрывать отступление Бывалого и Бодрова.

Среди руин стояла небольшая деревянная хатка. Из-за нее навстречу Бывалому и его друзьям вышел высокий худой человек. Гражданская одежда не могла скрыть от опытного глаза безукоризненную выправку профессионального военного. За ним, держа руки в карманах, также на некотором расстоянии, шли еще двое. Они внимательно следили за группой Бывалого, как видно готовые в любой момент пустить в ход оружие.

— Кто вы? — строго, требовательно спросил, будто скомандовал, стройный худой человек, сверля Бывалого суровым взглядом черных глаз.

— А вы кто?

— Нет, я первый спросил, вы должны и ответить.

— Почему я? Назовите вы себя, тогда я скажу.

— Что же, мы так весь день будем торговаться? Если вы всерьез хотите, иметь дело со мной, то должны ответить на мой вопрос.

— Как же я могу ответить на ваш вопрос, не зная, кому я отвечаю?

Минут десять прошло в таких спорах. Охрана, одна и другая, начала нервничать. Тогда незнакомец сказал:

— Я — командир двести восьмой стрелковой дивизии полковник Ничипорович.

— Из чего это видно?

— Вот мое удостоверение...

Он достал из нагрудного кармана и, не выпуская из рук, показал свой документ.

Бывалый назвал себя, добавив:

— Ну, а у меня нет никаких документов, все уничтожил. Зато меня знают люди. Я пришел к вам потому, что слышал, будто у вас есть отряд. Хочу совместно биться с врагами.

— Да, отряд есть, — подтвердил Ничипорович. — Только он еще не действует.

— Сколько у вас людей?

— Не считал. Человек пятьдесят.

— Все военные?

— Почти что. А у вас сколько?

— Около этого. Человек тридцать.

— Вот что, товарищ Бывалый, давайте мы завтра еще раз встретимся на Червенском рынке в это же время. Согласны?

— Хорошо.

После того как пришли фашисты, рынки стали самыми многолюдными местами в городе. В магазинах ничего не было. Рынок спасал город от голода и холода. Здесь кишели спекулянты, перекупщики, гестаповцы и полицейские шпики. Рыночной суетой часто пользовались и подпольщики.

В толчее крикливой, горластой толпы Бывалый еще издали увидел высокого, статного Ничипоровича, который азартно торговал что-то у спекулянта. Подойдя, Бывалый вмешался в разговор. Он нарочно давал никчемную цену за товар, который ему совсем был не нужен. Сделав вид, что они оба разозлены упрямством торгаша, Бывалый и Ничипорович отошли, ругая скупердяя. Так вместе и пошли с рынка. Время от времени Бывалый незаметно оглядывался — не следит ли кто-нибудь за ними. Но все было спокойно.

Зашли к одному знакомому. Там Ничипорович признался:

— Вы меня простите, что я вчера немного соврал. Отряда у меня еще нет. Я так сказал на случай провокации. Если бы на вашем месте был провокатор, он побоялся бы тронуть меня, думая, что в руинах целый отряд. А мы можем создать отряд. Давайте вместе займемся этим. Если сами не создадим, то хотя бы установим, связь с партизанами и перейдем к ним.

Это признание немного разочаровало Бывалого, но ведь все-таки несколько командиров держалось возле Ничипоровича. Славка Победит прав: партизанам нужны командные кадры.

Нужно было посоветоваться с партийной организацией, что делать дальше. Направился на квартиру Глухова. Там уже было несколько подпольщиков, которых он видел в прошлый раз. Только одного не знал. Это был высокий, молодой, атлетического склада человек, с красивыми волнистыми волосами. Добродушные голубые глаза смотрели весело, по-юношески задорно. На нем был новенький, отутюженный, модного покроя коричневый костюм с кончиком белого платочка в карманчике на груди и безукоризненная белая сорочка с модным галстуком. Еще издали от него тянуло запахом хорошего одеколona.

Держал себя парень свободно. Разговаривал легко обо всем, что только ни затрагивали в разговоре. Весело смеялся, шутил. Стоило хозяйке зайти в комнату, как он подчеркнуто начал увиваться возле нее, сыпал как из мешка комплиментами. Женщина отвечала на них теплой улыбкой.

Поведение парня никак не совпадало с общим настроением.

Знакомясь с Бывалым, он назвал себя коротко:

— Жан.

Улучив момент, когда Жан, весело смеясь, заговорил о чем-то с хозяйкой, Бывалый, поморщившись, кивнул в его сторону и спросил у хозяина:

— Почему вы ему доверяете? Видно птицу по полету...

— Его многие знают. Все говорят, что человек надежный, действует умело и многое делает. Не обращайтесь внимания на внешний вид...

Поговорив о своих делах, Бывалый направился домой. Все время его тревожила мысль: зачем к подпольной работе допускают таких легкомысленных болтунов, как этот Жан? Долго ли такому погубить дело? Ведь не в игрушки играть собрались...

Спустя некоторое время Победит пригласил Бывалого к себе на квартиру. И снова там Бывалый встретился с Жаном. Был тот уже в другом костюме, но такой же выглаженный, надушенный и такой же разговорчивый.

— Простите, товарищ Победит, но меня удивляет легкомыслие этого молодого человека, — с раздражением заметил Бывалый, когда Жан вышел. — Как можно иметь дело с таким болтуном? Большие карие глаза Славки засветились улыбкой.

— Не беспокойтесь, товарищ Бывалый. Это наш товарищ, надежный. Вы еще увидите, чего он стоит. Что делается там, на востоке? Где теперь линия фронта? Уже через неделю после оккупации Минска гитлеровцы начали трубить, что захватили Москву. Но с востока в Германию шли и шли эшелоны с ранеными солдатами и офицерами гитлеровской армии. Значит, где-то Красная Армия перемалывает фашистские полчища. Хотя бы краем уха послушать сводку Советского Информбюро!

Некоторым из тех, кто жил на Чкаловской улице, стало известно, что у уборщицы Авгины Баран есть радиоприемник. Когда в шесть часов утра немцы давали ток в депо, жители барака, в котором жила Баран, собирались послушать последние известия из Москвы. Приемник был неисправный — в нем нельзя было регулировать громкость, и кричал он на весь поселок. Передачу можно было слышать издалека. А гитлеровцы в первый же день оккупации, угрожая смертью, объявили, что все жители города обязаны сдать оружие и радиоприемники.

— Погибнешь ты, Авгинья, да и нас погубишь, — говорили соседки.

— Мне все равно, — отвечала она. — Погибну так погибну. Немцы мне не принесли счастья. Рано или поздно придется помирать: я одинокая, больная...

Спустя некоторое время она решила уехать в деревню, а приемник передать подпольщикам, которые часто приходили записывать сводки. Последний раз послушав Москву, Авгинья Баран помогла Апанасу Балашову переправить приемник на Чкаловскую улицу.

Установили его в первой квартире дома № 26.

Там же, на первом этаже, в помещении бывшего магазина немцы оборудовали обувную мастерскую и провели туда электрический свет. Электрик Андрей Остроух подключил ток и к квартире подпольщиков.

Все было подготовлено для того, чтобы послушать Москву. Но приемник так кричал, что включать его было очень опасно — фашисты обязательно услышали бы. Нужно было что-то придумать.

Послушать передачу пришли Балашов, Вагабов, Кузнецов, Куприянова, Степура. Занавесили окна и двери ватными одеялами, попробовали включить — ревет как ошалелый. Тогда мужчины склонились над приемником, а Куприянова набросала на них груды одеял и подушек. Звуки приглушились.

Включили еще раз. Сквозь шум и писк прорвались слова русской песни. Надрывный мужской голос пел:

Машинушка, трогай, трогай,

Я пошел своей дорогой...

— Нет, это — паскудство, ищи Москву! — тихо, но требовательно сказал Балашов чуть ли не в самое ухо Вагабову.

Снова русские слова... И снова не Москва...

— Что ты все фашистскую брехню ловишь, — не унимался Балашов. — Москву давай!

— Давай, давай... Будто я могу достать ее из кармана и положить тебе на ладонь... Потерпи немножко...

— Да и так уж давно терпим.

— Ну, хватит, — примирительно заметил Кузнецов. — Не нужно горячиться. Ищите Москву.

И вот Москва отозвалась. Родные, знакомые голоса передавали последние известия. Только послушали сводку, как кто-то начал сильно барабанить в дверь. Быстро все собрали, спрятали приемник в диван. А тот, за дверью, стучал все сильнее и сильнее...

Красные, потные вылезли из-под одеял и подушек. Опытный глаз сразу заметил бы, что здесь происходило что-то необычное. Открывать дверь было опасно, но еще опасней не открывать. А что, если полицаи? Не откроешь — сломают дверь.

Вошел штатский.

— Пань, я из городской управы. Собираю пожертвования. Минск разрушен, выбиты почти все окна. Нужно организовать производство стекла. Управа обращается с просьбой к панам минчанам помочь средствами... Мы пытались купить стекло в Варшаве, но там запросили столько золота...

— Какие у нас средства? — нашелся Степура. — Нам самим даже курить нечего. Мы вот сейчас в карты играли на махорку.

Чиновник управы попробовал уговаривать «панов», но ему решительно отказали, и он ушел...

Так принимать сводки было весьма опасно. Подпольщики ломали голову над тем, где найти исправный приемник.

С группой железнодорожников установил связь один бывший торговый работник. Он раздобыл приемник в гетто. Нужно было только забрать его оттуда. Четырнадцатилетняя дочка этого человека перенесла приемник из гетто на Суражский рынок. Там был магазин, где заведующим и продавцами работали свои люди. В подвале магазина сделали склад, прятали там имущество подполья, принимали сводки.

Держать приемник на одном месте было рискованно. Балашов переносил его из квартиры в квартиру. Некоторое время сводки принимались в одном из домиков Грушевского поселка. Репродуктор заменили наушниками, это уменьшило опасность провала.

Записывали сводки и передавали по цепочке — от одного надежного человека к другому. А чтобы легче было переписывать, бухгалтер Степанов передал подпольщикам пишущую машинку.

Балашова начали посылать в дальние рейсы. Рядом с ним для контроля всегда был немецкий машинист. Но как он ни следил, опытный мастер своего дела Балашов находил способ задержать поезд. На каждом перегоне он долго чистил топку, выводя состав из графика. Ни разу не возвращался из Орши в Минск на исправном паровозе. Все это делалось так, чтобы фашисты не

могли прицепиться.

В первые же дни оккупации подпольщики поручили слесарю И. В. Гомельскому привести в негодность восстановительный поезд. Группа рабочих под его руководством незаметно забрала все дефицитные детали. Поезд вышел из строя. Много времени потребовалось гитлеровцам, чтобы кое-как отремонтировать его. Потом вывели из строя кран, который подавал уголь. Мастер вагонного депо Вадковский систематически направлял исправные вагоны на электросварку, лишь бы только не могли их использовать.

К тому же многие рабочие совсем не выходили на работу.

В депо была уже довольно большая группа надежных людей, выполнявших все указания подпольной организации.

Руководитель подпольщиков Федор Кузнецов заинтересовался Константином Девочкой. Нужно было познакомиться с ним. Придя однажды утром к Константину, Кузнецов увидел в комнате кроме его жены еще одну молодую женщину.

— Это моя сестра Лида, — представил ее хозяин. — Можете говорить при ней смело, она сама уже кое-что делает для нашего общего дела.

— Что именно?..

— Случалось, листовки находила за городом, так разбрасывала их в городе. Но все это мелочи.

Бессистемно. Она хочет более активно включиться в наше дело.

— А что вы можете делать? Какая у вас специальность? — спросил Кузнецов Лиду.

— Фармацевт.

— Так это же чудесно! — обрадовался Кузнецов. — Ведь нам такие люди очень нужны. Обязательно устройтесь в какую-нибудь аптеку.

— Работать на врага?

— Почему на врага? Вы будете на нас работать.

Да еще какую пользу приносить советским людям! И не задумывайтесь, немедленно идите работать в аптеку.

Странное дело: как раз об этом же говорил ей недавно еще один человек — Георгий Глухов, который жил в квартире ее хорошей знакомой, Алены Яцевич. Георгий Глухов был командиром Красной Армии, попал в окружение. Обо всем этом Лида узнала от Лены.

Георгий внимательно присматривался ко всем, расспрашивал Лиду, где она работала до войны, что пережила за время оккупации, есть ли у нее надежные люди. Вот тогда и предложил ей:

— Вам обязательно надо идти работать в аптеку, чтобы иметь доступ к медикаментам. Да и место в аптеке чрезвычайно удобное для разных встреч, для знакомства с людьми.

А теперь вот и Кузнецов говорит о том же.

Через день Лида Девочко снова встретила с Глуховым. Он что-то делал во дворе.

— Работаете? — спросил как бы между прочим.

— Нет еще.

— Давайте зайдем ко мне.

А когда вошли в дом, тихо сказал:

— Сюда придет один мой знакомый. Поговорите с ним.

Вскоре вошел человек, которого ждал Глухов.

— Знакомьтесь. Это Лида Девочко.

— Славка.

На Лиду испытующе смотрели внимательные черные глаза.

— Лида — моя соседка, — объяснил Глухов. — Брат ее работает слесарем в депо, а она пока что ничем не занимается. Человек она надежный и специальность имеет хорошую — фармацевт. Только вот не хочет работать на немцев.

— На немцев? — переспросил Славка. — Почему на немцев? Вы работайте для советских людей. Думаете, больше пользы принесете Родине, если ничего не будете делать? Глупости. Мы должны приспособиться к новым условиям и как можно больше вредить врагу. Где же мы возьмем медикаменты, если в аптеках не будет наших надежных людей?

— Все как сговорились, — тихо сказала Лида. — И Федор Кузнецов говорит то же самое.

— Какой Федор Кузнецов? — спросил Славка.

— Начальник депо.

Глухов и Славка переглянулись.

— Это очень хорошо, что и он советует вам устраиваться в аптеку. Надо учесть это...

А потом, обратившись к Лиде, Славка сказал:

— Идите работать фармацевтом. Считайте это поручением партии. И собирайте все, что может понадобиться партизанам: медикаменты, оружие, одежду... Мы дадим вам адреса и пароли, чтобы вы могли передавать все добытое куда нужно.

Так Лида Девочко начала работать в аптеке.

Больница на углу улиц имени Горького и Пролетарской была заполнена ранеными командирами и бойцами Красной Армии. Они прибывали со всех сторон города — кто пешком, кого несли на плечах свои же товарищи по несчастью, кого везли на подводах.

Несли сюда и гражданских, в которых угодила осколок вражеской бомбы или снаряда.

Медицинского персонала почти не было. Только раненые военные медики помогали товарищам. Но много ли они могли сделать, если их мучили собственные раны и под руками не было никаких медикаментов.

Главным врачом больницы фашисты назначили привезенного из Берлина белогвардейца Зубарева, который люто ненавидел коммунистов. Разве можно было людям ждать от него сочувствия? Во всех зданиях больничного городка непрерывно слышались стоны, крики, плач тяжелораненых.

Даже по коридору пройти было невозможно. Нужно было осторожно переступать через людей, которые в предсмертных мучениях с надеждой и отчаянием смотрели на Викторию Рубец и тоскливо просили:

— Сестрица, милая, дорогая, помоги!

— Не чурайся нас, мы ведь советские люди, сжался!

— Золотце, солнце ты наше, хоть облегчи наши страдания! Живыми гнием...

— Целую неделю никто рану не перевязывал...

Сердце Вити — так ласково звали Викторию Рубец — словно кто-то сжал клещами. За время работы в больнице она привыкла и к стонам, и к воплям, и к человеческой крови, — лишь бы только после всего этого дело шло на поправку. А что ждет теперь этих несчастных? Только одно: смерть. Не заживут раны — смерть, заживут — тоже смерть. Фашисты расстреливают военнопленных на

каждом шагу.

А руки, обессиленные, худые, тянулись к ней, цеплялись за юбку, за ноги, и жалобные, по-детски беспомощные голоса молили:

— Родненькая, миленькая, помоги, не бросай нас!

— Нет, не брошу. Я скоро приду. Только вот оформлюсь на работу — и приду к вам.

— Спасибо, сестричка, будем ждать...

Зубарев никак не мог понять, почему такая интеллигентная женщина решила работать в этом гнойнике. Не скрывая своего восхищения, он любовался ею. Небольшого роста, стройная, с пушистыми черными волосами и большими черными глазами, она невольно привлекала к себе взгляды людей. Ведь недаром когда-то в театре Владислава Голубка Витя считалась одной из самых красивых артисток.

— Вы это серьезно? — спросил Зубарев, когда она попросила принять ее на работу.

— Серьезно.

— Пожалуйста... А вам у нас не опротивеет? Есть у вас медицинская специальность?

— Я медсестра. Работала здесь много лет. Разве моя специальность опротивеет мне лишь потому, что в больнице стало больше изувеченных людей?

— О, если так, я с удовольствием возьму вас. Вы уже видели, работы вам хватит.

— Вот и договорились. Дайте мне халат, медикаменты — и я пойду делать перевязки.

— Пожалуйста. Очень рад иметь в своем штате такую очаровательную женщину.

— Это к делу не относится, господин главный врач, — сразу же оборвала его Витя.

Переодевшись, снова пошла к раненым. Они приветствовали ее радостными восклицаниями.

Работала она весь день. Маленькие ловкие руки нежно прикасались к ранам, нарывам, гнойникам, и раненым от ее ласковых прикосновений становилось легче. Беспомощным, обессиленным людям казалось, что это руки матери утоляют боль, заживляют раны.

И только вечером усталая Витя пришла домой. Сестра, Мария Федоровна, спросила:

— Витя, почему ты так долго задержалась?

— Если бы ты знала, что там делается! Это ужасно! Люди гниют заживо, и никто за ними не ухаживает. Я теперь вижу, что мое место там, среди них.

Каждый раз она приходила из больницы подавленная, со слезами, жаловалась сестре и артисту и художнику Ивану Козлову, который был их квартирантом:

— Мне кажется, сердце не выдержит, глядя на страдания раненых. Многие умирают с голоду...

Маруся, давай мы приготовим им хоть какую-нибудь баланду. У нас же есть небольшой огородик, картошка растет. Не могу я так жить, не могу!

Глядя на сестру, тяжело переживала и Мария Федоровна. Витя похудела. Большие черные глаза ее стали еще больше, в них застыла боль чуткой, отзывчивой к чужим страданиям души.

— Что же, если надо помочь людям, то поможем. Много я не сделаю, но кое-что приготовлю.

Накопали молодой картошки, достали маленький кусочек сала, поджарили на нем зеленый лук, приготовили большую кастрюлю супу. На работу Витя не шла, а бежала. Она представляла, с какой радостью встретят ее раненые. От кастрюли шел вкусный, приятный запах.

За все дни оккупации ее маленькие, слегка пухлые, будто выточенные губы впервые осветились улыбкой. Раненые заметили, как похорошело похудевшее лицо, какими лучистыми стали большие

черные глаза.

— Сестрица, вы так хорошо улыбаетесь, — сказал один боец. — Даже у нас на душе посветлело.

— К сожалению, очень мало оснований для улыбок и у вас и у меня...

— У вас тоже, видать, большое горе? — спросил боец.

— Большое. Я пробовала выйти из города на восток. Условилась с мужем встретиться под Минском, но разминулись. Потом я узнала, что шли мы с ним совсем рядом и не знали об этом. Даже ночевали в одной деревне — я в крайней хате, а он через три двора, по другую сторону Могилевского шоссе. В одной толпе даже были на станции. А потом начали бомбить немецкие самолеты. Не знаю, как я осталась жива... А его, говорят, убили. Будто бы видели мертвого... Ну, а нас фашистские десантники задержали и погнали обратно в город. Вот я и пошла в больницу, в которой работала до войны. Людям же надо помогать...

Слова, даже самые теплые, самые сердечные, не в состоянии передать чувств в таких случаях.

Потому все молчали.

— Что же, мое горе, — тихо проговорила Витя, — только ничтожная капля в море общей беды. Не нужно говорить об этом.

— Да, беда наша общая, и выбраться из нее нелегко, — заговорил один командир, который до этого молча лежал в самом углу палаты. — В одиночку из нее не вылезешь. А если выкарабкаешься, то уже не человеком...

Все поняли, о чем он говорит. Как только у пленных немного заживут раны, фашисты погонят их в лагерь. Гитлеровцы пока что не знают, кто тут гражданский, кто военный. Да и вообще до больницы как следует еще не добрались. Бросили всех в эту яму, и кончено. А как проверять начнут, половину, если не больше, потащат на расстрел. Только предательством можно купить себе жизнь. А предатель разве человек?!

Однажды, придя домой, Витя увидела, что Иван Харитонович возится с чем-то в спальне возле комода. На комодке мигала керосиновая лампа, окна были тщательно завешены одеялами. В руках Ивана блестело лезвие бритвы. Витя тихо подошла и, став на цыпочки, заглянула через плечо. Иван лезвием бритвы осторожно подчищал чей-то паспорт.

— Что ты делаешь?

— Сложную операцию, — шутливо ответил Иван. — Старую женщину превращаю в молодого человека. Вы, медики, еще не дошли до этого, а я вот пробую... Может, и получится...

— Нет, правда, что ты надумал?

— Видишь паспорт? Он принадлежал какой-то старухе. Я подчищу его и сделаю документ Михаилу Львовичу.

В те дни на квартире Марии Федоровны Калашниковой прятался ее знакомый Михаил Либантов, еврей. Он не пошел в гетто и хотел выбраться из города, чтобы как-нибудь попасть в партизанский отряд. Но с его документами невозможно было показываться на улице. Иван Козлов решил сделать ему паспорт на имя русского.

Витя долго любовалась ловкой работой Ивана Харитоновича. Лезвие незаметно, микрон за микроном, снимало с бумаги написанные тушью буквы. Никогда в жизни не видела Витя такого.

Тушь словно таяла, не оставляя после себя следов.

— Ты чародей, Ваня! — восторженно проговорила она, глядя на тонкую работу художника.

Она знала Ивана Козлова как хорошего артиста, талантливого художника-карикатуриста. Но о том, что он умеет делать такие дела, не догадывалась.

На другой день Иван Харитонович показал ей паспорт. Со снимка смотрел Либантов. Печати, штампы и подписи были точно такие же, как и на другом паспорте, который взяли для образца у знакомого. Витя вертела в руках документ, разглядывала его на свет и не могла заметить подделки.

— Ты, Ваня, и не представляешь, как нам пригодится твое мастерство! — обрадовалась она.

— Представляю. Теперь ты дашь мне работу.

— Наверно, дам. Только посоветуюсь...

В больницу откуда-то из леса привезли на машинах много раненых. Витя заметила, как один мужчина с забинтованной выше локтя рукой нес на спине в палату товарища. Потом осторожно опустил на пол и отдышался. Тот, которого несли, тяжело стонал. Когда Витя подошла к ним, чтобы сделать перевязку, человек с забинтованной рукой многозначительно подмигнул ей и показал на своего товарища:

— Сначала, сестрица, его... а я и подождать могу.

Рана в плечо была не тяжелая. Стонать не было причины. Когда Витя наклонилась, чтобы лучше завязать бинт, раненый тихо сказал ей:

— Мой товарищ все объяснит. Дайте ему белый халат.

Витя вышла и принесла халат. Мужчина быстро надел его.

— Вы, видно, еще можете ходить, — обратилась она к более здоровому. — Помогите носить раненых.

Мужчина быстро вышел в коридор. Витя еле поспевала за ним. Оглянувшись, не следят ли за ними, он сказал ей:

— Мы в лесу попали в окружение, выхода не было. После боя гитлеровцы сгоняли раненых. Чтоб не попасть в лагерь пленных, мы тоже решили прикинуться ранеными. Теперь нам нужно как-то выбраться отсюда, достать документы и одежду. Помогите, пожалуйста.

Витя, не задумываясь, ответила:

— Сделаю. А пока что вам придется побыть здесь. Немцы нас еще не проверяли. А что вы могли бы делать в больнице?

— Все, что скажете. Здесь, я вижу, стекла все выбиты, оформите меня стекольщиком.

— Хорошо. Это можно. Я попрошу врачей, и мы зачислим вас на работу как стекольщика. А документы вам и вашему другу я добуду. Во всяком случае, буду искать.

Так легко раненный Василий Соколов и совсем здоровый Григорий Бочаров неожиданно для себя получили надежду выбраться на волю.

Бочаров, которому Витя принесла добытый с огромным трудом алмаз, угольник и даже несколько целых стекол, ходил от окна к окну, переставляя одни и те же стекла с места на место. На него никто не обращал внимания — возится человек, что-то делает, ну и пусть себе делает.

А у Вити хлопот прибавилось. Нужно было раздобыть документы. Только как? И вдруг совсем неожиданное открытие: мастер документов рядом — Иван Харитонович!..

Он охотно согласился помочь Соколову и Бочарову. Каким-то образом разыскал старые паспорта и сделал из них совсем новые. Под видом санитаров Бочаров и Соколов пришли на квартиру Марии Федоровны Калашниковой. Здесь Иван Харитонович и вручил им право на постоянное жительство в

Минске.

Несколько недель Бочаров и Соколов жили на квартире у Калашниковой. С помощью своих новых друзей наладили они связь с Бывалым, а потом и с другими подпольщиками.

Спустя некоторое время Витя сказала Ивану:

— Срочно нужно сделать пять паспортов и столько же аусвайсов. Сможешь?

— Если нужно, смогу. А кому это?

— Все равно ты их не знаешь. Военнопленные. Из нашей больницы. Они скоро поправятся, а документов никаких нет. Люди честные, надежные, воевать хотят. Партизанами могут стать.

— Таким я сделаю документы. Только где взять их фотокарточки и старые паспорта?

— Об этом мы позаботились. К тебе придет «Девочка». Это кличка Лиды Девочко, нашей знакомой. Помнишь ее?

— Помню.

— Так вот она принесет тебе чистые бланки паспортов. Нужно только заполнить их и поставить печати, подписи, штампы.

— Да-а! — задумчиво протянул Иван Харитонович. — Дело понятное. Только нужно где-то взять образцы этих штампов и подписей... Подожди, подожди... У меня есть идея! Мария Федоровна, прошу сюда на минутку!..

Мария Федоровна весь день если не ходила по городу, добывая еду, то копалась на огороде, выжимая из маленького клочка земли как можно больше картошки, огурцов, луку, свеклы и других овощей. Семья была не маленькая — пять своих хороших едоков да ежедневные голодные гости. Сколько их приходило сюда, ища приюта, спасения от опасности! Не отказать же хорошему человеку в ложке затирки. Иван знал заботливый характер, отзывчивость Марии Федоровны, видел, как она старается обеспечить семью питанием, и старался не беспокоить без надобности. А если позвал, значит, дело серьезное.

— Чем кончились поиски Ольги Александровны? — спросил он.

Ольга Александровна — пианистка, их старая знакомая. Во время бомбежки Минска погиб ее муж, под руинами дома задохнулся маленький сын. Откопали его уже мертвого. Тяжело переживала женщина свое горе. Только поддержка Калашниковой и Козлова облегчала моральные муки этой женщины.

Ольга Александровна долго искала работы.

— Она уже устроилась в городской управе, — сообщила Мария Федоровна. — Взяли ее потому, что хорошо знает немецкий язык.

— Чудесно... — потирая руки, прошелся Иван по комнате. — Это чудесно! Она и обеспечит нас подписями и печатями...

— Только согласится ли? — сомневалась Витя.

— А почему бы ей не согласиться? Разве фашисты ее осчастливили? Странно было бы, если бы она не помогла нам...

Вечером, когда Ольга Александровна пришла к Марии Федоровне, Иван обратился к ней со своим предложением. Женщина ответила не сразу.

— Не осмеливаетесь? — спросил Иван. — Или, может, не хотите с хозяевами портить отношений?

— Как вы могли такое подумать? — обиделась она. — Что я — изменница какая? Но мне трудно

доставать образцы подписей и печатей. Они не попадают мне в руки. Правда, я знаю одного чудесного парня, который, наверно, сделает для нас все, что нужно...

— Кто такой?

— Зорик. Так мы все зовем его. Захар Галло. Он в городской управе заведует выдачей пропусков. Иван поморщился, будто от зубной боли.

— Что-то не нравится мне ваше предложение... Может, лучшее что-нибудь придумаете?

— Зачем лучшее? Не нужно лучшего. Не сомневайтесь, я все время присматриваюсь к этому хлопцу — наш... Мать его — уборщица в школе, рос он без отца, в труде, в бедности. А воспитали его школа и комсомольская организация. Мне кажется, неплохо воспитали. Попробуйте проверить. В его руках и печати и пропуска.

— Что ж, если вы так уверены, рискнем. Приведите его, поговорим.

— А я вам помогу, если нужно будет что-нибудь писать по-немецки. Можете рассчитывать на меня.

— Спасибо. Обязательно попросим вас.

На другой день она пришла с Зориком. Это был совсем молодой хлопец, в котором удивительно сочетались физическая сила и нежность. Со всеми он был очень ласковый, услужливый. Можно было подумать, что он выпестован богатыми родителями, с первых жизненных шагов приучен к деликатному обхождению и не имеет никакого представления о суровых условиях действительности. Своей внимательностью к людям, милой приветливостью он сразу же завоевывал симпатии тех, с кем встречался.

Когда их начали знакомить, Зорик признался Ивану Харитоновичу:

— А я вас знаю. С большим удовольствием всегда слушал вас в театре и, откровенно скажу, очень рад познакомиться...

— Благодарю, мне также приятно познакомиться с вами. Скажите, давно вы работаете в управе?

— Начал вскоре после ее организации.

— Ну и как вам нравится ваша работа?

Зорик весело засмеялся:

— Очень нравится. Будто в театре сатиры и юмора сижу. Что ни минута, то новая интересная сценка. Таких дураков, как мой шеф Тумаш и его друзья, во всем мире не найдешь.

— Почему вы считаете, что они дураки?

— Мне Ольга Александровна сказала, что все в вашей семье — честные советские люди, поэтому я буду говорить откровенно. Если бы вы хоть часок побыли с Тумашом, сами увидели бы, какая это никчемность. Сдается, что его только что вытащили из консервной банки и, даже не отряхнув, так мокрого и пихнули в кресло городского головы.

Потом Галло рассказал, какие тупые и ограниченные люди все эти белорусские националисты. От них отрекся народ, проклял их, и они чувствуют это, а потому ненавидят весь свет. Кроме ненависти, у них ничего за душой нет.

— Гитлеровцам они нужны временно, пока те «осваивают» Беларусь, — уже взволнованно говорил Зорик. — Я уверен, что скоро и фашисты дадут им коленом под мягкое место. Зачем Гитлеру такая бездарь? Они даже белорусского языка не знают. Разве язык, на котором разговаривают между собой Ивановский с Акинчицем, можно назвать белорусским?

— Извините, Зорик, за нескромный вопрос. Почему вы все же пошли туда работать?

Хлопец посерьезнел, помолчал. Затем ответил:

— Так нужно было. Я — комсомолец.

В других условиях такой ответ удивил бы. Теперь же Иван Харитонович понял его правильно.

— Вот это другой разговор. В таком случае и мы будем рассчитывать на вашу помощь.

— Охотно помогу, чем только сумею.

— Для начала мне нужны образцы подписей, штампов и печатей на аусвайсы. Передадите мне их?

— Обязательно. Буду сообщать, если они будут меняться.

Иван Харитонович горячо пожал Зорику руку:

— Спасибо. Большое спасибо. Вы очень облегчите мне дело.

Лида принесла бланки паспортов и фотокарточки незнакомых мужчин. Зорик сразу же передал через Ольгу Александровну все необходимое для оформления документов. Сама Ольга Александровна написала текст по-немецки. Теперь оставалось все это перенести на бланки так, чтобы ни фашисты, ни их холуи полицаи не могли заметить подделки.

Снова окна были тщательно завешены, двери закрыты и в спальне на комод замигала керосиновая лампа. Иван Харитонович работал почти целые сутки, не сходя с места, и паспорта и аусвайсы на следующий день были готовы. Виктория забрала их с собой на работу. Вечером вернулась радостная, довольная. С нею пришли трое мужчин, которым Иван только что сделал документы. Худые, одна кожа да кости, они тем не менее держались бодро.

— Дважды вы, Виктория Федоровна, спасли нас от смерти, — говорили они. — Чем мы можем отблагодарить вас?

— Чем? — спросила она. — Меня ничем не нужно благодарить. Родину свою благодарите. Народ свой. А я ничего особенного не сделала, просто выполняю свой долг. И вы свой выполните.

— Но как выполнить? Мы ведь совсем оторвались от своих. Фронт далеко...

— Зачем далеко ходить? И здесь найдется дело. Об этом мы позаботимся, если будет ваше согласие.

— Конечно, мы согласны.

— В таком случае раздевайтесь и отдыхайте. Скоро я приду и скажу вам, что делать дальше.

Оставшись с незнакомыми, Иван начал расспрашивать их, кто они и откуда. Все были командирами Красной Армии. Ранеными попали в плен и, к счастью, очутились в больнице, где работает Виктория Федоровна. Когда они уже выздоравливали, стало известно, что фашисты хотят расстрелять их как коммунистов и командиров Красной Армии. Тогда Виктория Федоровна с помощью доктора Афонского исключила их из списков, словно бы умерших, передела, вывела из больницы и дала необходимые документы. Двоих она отвела в другое место, а этих трех пригласила к себе. Вот и вся их история.

— Что будет дальше, знают только всевышний да Виктория Федоровна, — шутиливо заключил один из командиров. — А вы кто будете, если не секрет?

— Квартирант... — тихо ответил Иван Харитонович.

Скоро пришла Витя. Она сообщила:

— Ночевать придется у нас. В тесноте, да не в обиде. Хозяйка наша, — она имела в виду Марию Федоровну, — не будет возражать, я попрошу ее об этом. А завтра утром вы пойдете. Куда — не спрашивайте. И вообще не проявляйте любопытства к тому, что вас непосредственно не будет касаться. Согласны на такое условие?

— Конечно, согласны.

Накануне знакомые Виктории Рубец повели Ивана Харитоновича за город и познакомили с одним человеком.

— Если вам будет поручено выводить людей из города, — сказали Козлову, — то дойдите с ними до этого места. Здесь он заберет их от вас.

Теперь нужно было выполнить первое поручение подпольщиков — в роли связного. Вышли из дома на рассвете, как только кончился комендантский час. Документы были надежные, в этом Иван Харитонович не сомневался. Зорик передал самые последние штампы и подписи, а в безукоризненной точности их написания Козлов был уверен. Главное в том, чтобы среди людей, которых ему придется вести, не нашелся предатель.

Из дому выходили по одному. На улицах держались на значительном расстоянии друг от друга. Обитатели города начинали жизнь рано. Голод не давал спать. Люди спешили. В общей суете четверо прохожих, пробиравшихся за город, не привлекали ничьего внимания. Только на самой окраине их остановил полицейский пост. Но документы были в порядке, за плечами — разные вещи, предназначенные для обмена на продукты: одежда, довольно поношенные сапоги, несколько килограммов соли, самодельное мыло, дрожжи — у каждого свой товар, которым обеспечили их подпольщики. Так и дошли до условленного места, где их встретил связной.

Сдав ему людей, Иван Харитонович направился в город, обходя Логойский тракт, чтобы не попасть на глаза тем полицейским, которые только что проверяли у них документы.

Как-то под вечер Витя привела на квартиру незнакомого хлопца. Внешность его с первого взгляда поразила Ивана Харитоновича. Как художник, он не мог не залюбоваться веселым, красивым, со вкусом одетым молодым человеком. Назвал себя хлопец почему-то по-французски:

— Жан.

Но ничего французского в нем не было. Обычный славянский тип лица: светлые волосы, голубые глаза, глубокая волевая складка возле губ.

Через пять минут молодой человек чувствовал себя совсем как дома. Наговорил целую кучу комплиментов хозяйкам, рассказал несколько анекдотов о националистах, которые будто бы разговаривают по-белорусски, но минчане не понимают их, и на этой почве возникают смешные недоразумения. Потом уже серьезно обратился к Ивану Харитоновичу:

— Мне известно ваше искусство делать документы.

— Откуда вы знаете?

— Земля слухами полнится... Приходилось видеть вашу работу. Отличная, ничего не скажешь.

Хлопцы гуляют по городу и плюют на всякие проверки и облавы. Но нам нужно больше такой липы. Я подготовил к бегству из лагеря с дюжину пленных, а документов нет. Без документов же рискованно выводить хлопцев — постреляют как куропаток. Помогите нам.

Неожиданная просьба совершенно незнакомого человека озадачила Ивана Харитоновича. Он колебался. Витя, которая до этого времени не вмешивалась в их разговор, заметила нерешительность Козлова и сказала:

— Не сомневайся, Ваня, это наш человек. Я не привела бы его сюда, если бы не была уверена.

— Ну, если так, — сдался наконец Иван Харитонович, — то я согласен. Только у меня нет ни старых паспортов, ни чистых бланков. Это же не шуточки — сразу более десяти штук... Да и снимки

нужны...

— Об этом не беспокойтесь. Это уже моя забота. Завтра получите все необходимое.

Вежливо простившись, Жан заторопился:

— Простите, меня ждут...

А на следующий день Лида Девочко принесла на квартиру Калашниковой чистые бланки паспортов и фотокарточки людей, которым нужно было подготовить документы. Зорик прислал образцы новых подписей. Так готовился побег новой группы пленных из лагеря в партизанский отряд.

Накануне Октябрьского праздника по городу разнеслись слухи, что фашисты в Центральном сквере и возле городской управы казнили группу партизан. Мария Калашникова услышала, что среди первых повешенных есть медицинские работники.

Вечером Витя пришла домой сама не своя. Она ни с кем не разговаривала, неохотно ела, хотя до этого на аппетит не жаловалась.

— Чего ты загрустила, Витя? Может, заболела? — встревоженно спросила Мария Федоровна.

— Нет, я совершенно здорова.

И больше — ни слова.

А ночью слышно было, как ворочалась она с боку на бок, часто поправляла одеяло, глубоко вздыхала.

Утром после завтрака сказала Марии Федоровне:

— Пойдем смотреть повешенных.

— Что ты надумала! — удивилась та. — Нашла что смотреть. И не думай, я не пойду!

— Я прошу тебя, идем.

— Нет, не хочу. Боюсь.

— Мне нужно сходить, слышишь! Нужно! Товарищи поручили уточнить, кто казнен.

В голосе ее звучала решимость — она не только просила, но и требовала. Мария Федоровна очень любила сестру и не могла отказать, если та что-нибудь настойчиво просила.

— Но я боюсь, что мне станет там дурно.

— Возьми себя в руки и держись. Мы должны подготовиться ко всему... Время такое...

Быстро одевшись, они пошли в самый центр города.

Стояла пора листопада. Осенний ветер сгибал оголенные ветви могучих деревьев в сквере. Мария Федоровна и Витя издали увидели, что на суку под напором ветра качаются двое повешенных. От этого жуткого зрелища у женщин подкосились ноги. Витя первая опомнилась, крепко сжала локоть сестры и зашептала:

— Держись, не дай бог, заплачешь — смерть! Не подавай вида, что взволнована, за нами следят.

По боковым аллеям сквера прогуливались какие-то типы. Они подозрительно, внимательно присматривались к тому, как пешеходы реагируют на увиденное: а может, кто-нибудь не выдержит и выдаст себя. Так и есть: одна молодая женщина остановилась возле покойников, подняла вверх голову, и по ее щекам покатались крупные слезы. Сразу же со стороны цветочного магазина подскочили два шпики. Они подхватили женщину под руки и повели по направлению к театру имени Янки Купалы. Женщина отбивалась, плакала, кричала, а они закрыли ей рот и толкали, тащили. Все это произошло на глазах у сестер.

— Видишь, что ждет нас, если не выдержим, — снова прошептала Витя. — Идем скорей, скорей!

На суку висели женщина и мальчик лет тринадцати. Тоненькая, худая шея мальчика была почти совсем перерезана проволочной петлей. Лицо трудно было разглядеть, так его изуродовали фашисты перед повешением. А внизу, возле фонтана, одной рукой обхватив за шею бронзового лебедя, а другой будто защищаясь от удара, глядел на виселицу маленький бронзовый мальчик.

Одежда на женщине была изорвана. Виднелись раны. К груди прицеплена дощечка с надписью: «Мы партизаны, стреляли по германским войскам».

Пройдя почти возле самых ног повешенных, сестры, задыхаясь от горя, ужаса и слез, поспешили дальше от этого места.

Когда вышли из сквера, Витя сказала:

— Так и есть, это она, Ольга Щербацевич. Секретарь парторганизации инфекционной больницы. А вместе с нею — сын. Теперь пойдём к городской управе.

Возле управы гитлеровцы повесили родственников и хороших знакомых Ольги Щербацевич. Одного из них узнала Витя:

— Обрати внимание на того, который в сером костюме. Я его хорошо знаю.

Это были первые повешенные в Минске.

Ольга Федоровна Щербацевич, как и многие другие минчане, не раздумывала над тем, что делать в тяжёлую для Родины годину. Хотя белорусскую землю топтали вражеские солдаты, люди не переставали быть советскими. Для Ольги Федоровны было ясно, что ее задача — всемерно помогать советским людям уничтожать врага.

Работая в больнице, она присматривалась к раненым командирам и бойцам Красной Армии. В скором времени значительная группа командиров перебралась из больницы на квартиру Щербацевич и ее родственников Янушкевичей, а также к Константину Трусу, хорошему знакомому Ольги Федоровны. У многих еще гноились раны, но полного выздоровления ждать было нельзя, ведь, как только советский боец вылечивался, его направляли в лагерь для военнопленных. Оттуда две дороги: одна — в лагеря смерти, другая — в рабство в Германию.

Из больницы Ольга Федоровна регулярно приносила бинты, медикаменты, сама лечила раненых. Избавившись от ежеминутной угрозы быть направленными в лагерь, они быстро поправлялись. А когда раны зажили, одна группа договорилась перейти линию фронта. Вместе с ними решила идти со своим сыном Володей и Ольга Щербацевич.

Из города выходили по двое-трое. Первыми шли Борис Рудзянко и Володя Щербацевич. Около сорока километров прошли без каких-либо происшествий.

И только в одной деревне полицейский патруль задержал Рудзянку и Володю — документы их вызвали подозрение. Беглецов арестовали.

Сердце матери изболелось в тревоге. Все валилось из рук, и днем и ночью перед ее глазами стоял сын. То он представлялся веселым и своевольным, каким она видела его не раз накануне войны, то тревожным, молчаливым, каким он стал после первых бомбежек; то представлялось, как в полиции издеваются над ним, слабым, беспомощным мальчиком. Она гнала от себя такие мысли, а они все чаще и настойчивей лезли в голову.

Потом ночью на квартиру явилась полиция безопасности и СД. Ее привел Рудзянко. Пряча взгляд от людей, с которыми он совсем недавно собирался перейти линию фронта, предатель называл фашистам фамилии всех, кто кормил, поил, одевал его, кто помогал ему и другим командирам

убежать из больницы, чтобы пробраться на восток. Показал квартиры родственников и знакомых Ольги Щербацевич, и тех сразу же арестовали.

Всю группу Ольги Щербацевич жутко истязали. На глазах у матери издевались над Володей, полосая резиновыми плетками худенькое мальчишеское тело. Она бросалась к палачам, чтобы подставить себя под удар, прикрыть сына. Тогда били ее изо всей силы, приговаривая:

— У нас хватит плетей для всех.

Только возле виселицы она снова увидела сына. Его привезли в кузове грузовой автомашины.

Связанный проволокой, он не мог стоять на ногах, палач держал его за воротник.

— Сыночек, родненький, любимый мой... — Рванулась к Володе, но другой палач стукнул ее пистолетом по голове и потащил назад.

Володя поднял опухшие веки и слабо, беспомощно улыбнулся.

— Выродки, звери, — кричала Ольга Федоровна, — дайте мне хоть с сыном проститься...

— Ничего, на том свете встретишься, — издевательски проговорил палач, набросив ей петлю на шею.

В то же мгновение другой фашист затянул петлю на шее мальчика. Машины рванулись с места, и двое безвинных — мать и сын — судорожно затрепетали в воздухе.

А неподалеку, на боковой аллейке, стоял предатель Борис Рудзянко со своим шефом из Абвера — военной фашистской контрразведки. Шеф говорил новому холую:

— Любуйся на дело своих рук и хорошо запомни, что коммунисты не простят тебе этого. Теперь у тебя только одна дорога — с нами. И служить ты будешь всей душой. Если что-нибудь сделаешь не так, я собственной рукой с наслаждением застрелю тебя. Заруби себе это на носу.

Предатель ничего не ответил. Он знал, что шеф выполнит свое обещание.

В вершинах могучих тополей, кленов и ясеней пронзительно свистел ветер. По небу плыли низкие, грязные тучи, начал моросить мелкий холодный дождь вперемежку со снежной крупой.

Город коченел от холода и бесприютности.

Трудно определить, что наложило свой отпечаток на юго-восточную окраину Минска за Червенским рынком: может, река Свислочь, которая прихотливо вьется в низких, заросших осокой берегах, может, железная дорога, что проходит почти по самым огородам. Такая же окраина, как все, и вместе с тем не похожа на другие. Тут господствует какая-то особенная тишина, провинциальность.

Кажется, что это не часть города, а большая старая деревня с одноэтажными домами, заборами, цветами и садиками. Окна в домах — с украшенными узорной резьбой наличниками. С первого взгляда дома здесь как близнецы, но если внимательно присмотришься, то увидишь, что все они совершенно разные, как и их хозяева.

Особенно сильно напоминает деревню Луговая улица. Незамощенная, с травой на обочинах, она неожиданно упирается в самую Свислочь, затем круто поворачивает вдоль берега. Володя Омелянюк должен был хорошо присматриваться, чтобы не минуть дом, куда его пригласили подпольщики.

Вот и нужный номер. Через калитку Володя попадает в небольшой тесноватый двор. Настороженный взгляд замечает все, что может пригодиться в трудный момент. Возле сарайчика — запасной выход.

В случае налета полиции можно прыгнуть через изгородь в сад, а оттуда — на берег Свислочи.

День стоял серый, холодный. Сырой ветерок пронизывал насквозь. Но Володя не обращал внимания

на это. На душе было светло, радостно. Наконец установлен контакт с подпольщиками других районов Минска. Сегодня — первое объединенное собрание, на котором силы коммунистов города будут собраны в единый кулак.

Не один Володя ждал наступления такого момента. Много раз об этом говорил он со Степаном Зайцем, с Николаем Шугаевым, Арсеном Калиновским, Василем Жудро. Рассуждали и так: пока не установится связь с подпольным горкомом партии, взять на себя его функции и самим возглавить борьбу советских патриотов Минска.

Хотя домик, куда шел Володя, находился в городе, он очень напоминал чистенькую деревенскую хату. Сразу же из коридорчика Володя попал в столовую. Здесь разделся, повесил шляпу на длинный гвоздь, торчавший в стене, пригладил волосы. Почти вся стена была обвешана мужскими пальто, ватниками, куртками.

«Неужто опоздал? — подумал Володя. — Это уже совсем негоже...»

— Пожалуйста, туда... — показала хозяйка еще на одну дверь, из-за которой доносился приглушенный говор.

Володя открыл ее. Она вела в небольшую комнату, видимо спальню. Там уже сидели люди.

Некоторых он хорошо знал: были здесь Степан Заяц и неразлучные друзья Вася Жудро и Саша Макаренко. Но некоторых он видел впервые. Ни с Константином Григорьевым, ни с Георгием Глуховым, ни с Николаем Демиденкой прежде ему не приходилось встречаться.

Пожав всем руки, он примостился возле Васи Жудро на кровати. Кровать была большая, на ней сидело большинство присутствующих. За столом еще стоял диван, но на него никто не хотел садиться — это было как бы председательское место.

Почти следом за Володей в комнатку вошли еще три человека. Первый из них — смуглый, атлетического склада мужчина — сразу бросился в глаза Володе. Во всей его фигуре, в уверенных движениях, в пронизательном взгляде больших черных глаз чувствовалась крепкая воля и большая физическая сила.

Это был, как потом узнал Володя, Исай Казинец. С ним пришли Вячеслав Никифоров и Василь Бурцев. Молча пожав всем руки, Казинец сел за стол. Рядом с ним на диван опустился высокий белесый Никифоров. Он вытащил из кармана какие-то бумаги и начал писать.

Казинец окинул присутствующих вопросительным взглядом.

— Ну, товарищи, пора начинать...

Никто не возражал, но и не выразил своего согласия. Все молчали, ведь только Казинцу и Никифорову было известно, кто приглашен на эту встречу и все ли пришли.

— Для конспирации давайте установим для каждого из нас кличку. Моя будет — «Победит»... и еще «Славка». В дальнейшем звать друг друга будем только по кличкам...

И против этого никто не возражал — предложение правильное.

— Уже много времени и я и товарищи, с которыми я тесно связан, ищем подпольный горком партии. Не может быть, чтобы в таком большом городе, в котором осталось сто пятьдесят тысяч населения, не эвакуированные на восток предприятия с их большими рабочими коллективами, не было оставлено подпольное партийное руководство. Наши поиски не дали пока что никаких результатов. Однако в городе кто-то действует кроме нас: распространяет листовки, уничтожает фашистов, выводит из строя связь и паровозы. До сих пор мы выявили только небольшие группы советских

патриотов, действующие без единого плана. Теперь почти все эти группы объединены. Поэтому я говорю не только от своего имени. Лично я налажил связь с гетто, где создана довольно большая партийная группа. Между прочим, там есть один товарищ — «Скромный» [1], который когда-то работал в Коминтерне. Он познакомил меня с принципами организации подпольных коммунистических партий в капиталистических странах. Мне кажется, что мы можем использовать этот опыт.

Говорил Славка спокойно, ровно. В его голосе чувствовалась большая внутренняя сила.

— Нам необходимо самим создать централизованное руководство, обеспечить строгую конспирацию в подпольной организации.

— Но будет ли правомочной наша организация? — неожиданно прервали его товарищи. — Ведь ее никто не утверждал, никто не давал нам никаких полномочий...

— Полномочия? — переспросил Славка и горячо продолжал: — Вот они, наши полномочия! Он вытащил из бокового кармана пиджака сложенный вчетверо листок пожелтевшей бумаги, осторожно разглядел его на ладони и показал всем. Это была листовка, сброшенная советским самолетом.

— Вот он, наш мандат. Мы нашли листовку, напечатанную в Москве.

Славка прочитал вслух то место листовки, где говорилось, что на оккупированной фашистами территории необходимо создать подпольные парторганизации, партизанские отряды, диверсионные группы, все делать для того, чтобы у врага земля горела под ногами.

— Какая другая директива нам нужна? Разве не все ясно? Неужели мы должны сидеть и ждать, пока нам пришлют какое-то постановление за подписями, с гербовой печатью? Партия призывает нас, коммунистов, беспощадно бить врага.

— Славка говорит правильно, — поддержал Казинца Володя Омелянюк. — Мы обязаны организовать борьбу. Мне кажется, что на этот счет не должно быть иного мнения...

— Еще раз подчеркиваю, — снова заговорил Славка, — мы должны иметь централизованное партийное руководство, строго законспирированное. Основа организации — партийные десятки во главе с секретарями. Принимать будем только хорошо знакомых и надежных людей, по рекомендации членов организации. Все это я излагаю в общих чертах. Детали можно доработать, додумать...

Никто не возражал против такого предложения.

— Хочу сообщить вам, товарищи, — добавил Славка, — что мы наладили связь с военными работниками, главным образом с командирами. Я обращаю особое внимание на это. Командиры нужны нам, чтобы возглавить партизанские отряды. Пройдет немного времени, и Красная Армия погонит фашистов с нашей земли. Враг уже захлебывается своей кровью. Посмотрите, сколько эшелонов с ранеными ежедневно проходит через Минск на запад. Приближается время, когда орудия снова загремят под Минском. Вот тогда мы и ударим по врагу с тыла. Силами партизанской армии мы должны очистить путь для Красной Армии от Борисова до Минска и дальше — до Баранович, чтобы она прошла через столицу Белоруссии триумфальным маршем.

Володя Омелянюк отчетливо представил себе, как он, вооруженный трофейным автоматом, овеянный пороховым дымом, стоит возле Парка челюскинцев и приветствует воинов Красной Армии, которые торжественным маршем, с развернутыми знаменами проходят мимо него. Разве мог

он в тот осенний день 1941 года предвидеть, какие великие испытания ждут и его самого и весь советский народ, прежде чем над столицей Белоруссии снова взвьется красное знамя!

О деятельности подпольной группы Комаровки рассказал Степан Иванович Заяц.

— Наша Комаровская группа сложилась еще в начале августа. Мы уже наладили выпуск листовок, сбор сведений о враге... Наши люди есть во многих учреждениях фашистов. В последнее время мы связались с Логойским партизанским отрядом и направили туда нескольких человек. Один из присутствующих — комиссар этого отряда.

Старик хитро глянул на Сашку Макаренко, и тот утвердительно кивнул головой.

Когда все представители групп доложили о своих делах, было решено создать дополнительный горком партии. Дополнительный потому, что были уверены в существовании основного, оставленного Центральным Комитетом КПБ (б).

— Нужно создать руководящий орган, — сказал Славка. — Какие будут предложения?

Тогда Никифоров, который в течение всего заседания не промолвил ни одного слова и только писал, поднял голову и тихо, но решительно сказал:

— Ведь мы договорились о руководящем органе? Предлагай, кого мы рекомендуем...

Казинец начал читать:

— Константин Григорьев, Георгий Семенов...

Никифоров снова поднял голову:

— Почему же ты себя забыл? Тебя же первого рекомендовали.

— Ну и я. Согласны?

Снова никто не возражал. Секретарем единодушно выбрали Исаю Казинца.

Таким образом был создан городской партийный комитет, центр, мозг подполья. Теперь уже можно было идти в бой не ошупью, а под руководством оформленной организации.

Жила Глафира Васильевна Суслова по-над Свислочью, на Садовой улице. Двухэтажный деревянный домик, окрашенный в грязно-зеленый цвет, смотрелся окнами в зеркало тихой речки на самом ее повороте. Со второго этажа, из квартиры молодой женщины, было хорошо видно громадное неуклюжее здание Театра оперы и балета, а за ним — красивый дом бывшей Объединенной Белорусской военной школы.

Вот туда и собиралась Глафира Васильевна.

Вчера к ней пришел хороший знакомый, друг свекра, старый наборщик Осип Каплан. Жил он в гетто, работал в здании школы, где разместилась типография одной немецкой газеты.

Фашистская типография очутилась в этом доме не случайно. До оккупации здесь печаталась красноармейская газета. Немцам пришлось только заменить русские шрифты на свои. А рабочих они подобрали из местного населения, преимущественно евреев, которые хоть кое-как знали немецкий язык. Заставили они работать здесь и опытного мастера-наборщика Каплана.

Старику дали аусвайс, и он изредка мог выходить на улицу один, даже за пределы гетто. Вот он и зашел к Глафире.

Знакомы они были давно, доверяли друг другу, поэтому теперь говорили открыто.

— Я за помощью к вам, Глафира Васильевна, — сказал Осип Каплан, сидя на самом кончике стула и настороженно посматривая из-под очков выпуклыми черными глазами. — Крайняя нужда заставила меня прийти. Я знаю, что у вас маленькие дети, опасность...

— Пожалуйста, я с радостью помогу вам, если только сумею...

— Нет, не о себе я прошу. Со мной в типографии работает один командир Красной Армии. Конечно, немцы не знают, что он был командиром. Попал он к ним уже переодетый. Но все же задержали его как пленного и к нам привели. Так вот, он хочет к партизанам податься. А одежда на нем — одни лохмотья, сами увидите. Может, у вас от мужа осталось что-нибудь?.. Ну, брюки, костюм и, может, пальто какое-нибудь... Так не пожалейте для хорошего человека. Знаю, он в самом деле хороший, наш, советский человек.

Глафира Васильевна ни минуты не колебалась. Разве можно было поскупишься, ответить отказом на такую просьбу, если речь шла о жизни человека? Заглянув в шкаф, она ответила:

— А как же передать ему? Или вы отнесете?

— Нет, давайте условимся так. Завтра перед концом работы вы подойдете к воротам школы. Я покажу вас ему, он выйдет, и вы с ним поговорите.

Сегодня Глафира Васильевна собиралась встретиться с неизвестным ей командиром Красной Армии. Она немного волновалась: чего не бывает, можно наткнуться на неприятность... Фашисты бросают в тюрьму каждого, кто только покажется им подозрительным. Но и не пойти на это свидание она не могла. Отказать человеку, попавшему в беду, — значит опозорить себя в своих же глазах.

— Быстрее одевайся, — торопила она шестилетнюю дочку Зою. — Нас там, может быть, ждут...

— А кто нас ждет, мама?

— Увидишь. Только о том, что узнаешь, никому, совсем никому ни слова... Слышишь? А то немцы схватят и тебя и меня и замучают.

— Нет, мамочка, я никому ничего...

С девочкой идти было безопасно. Кто мог подумать, что женщина с ребенком что-то замыслила против фашистов?

Подошли к Татарскому мосту, как раз против здания школы. Возле ворот немного замедлили шаги и потихоньку пошли вверх, в сторону Театра оперы и балета. На углу улицы Горького и Коммунистического переулка оглянулись.

Из ворот вышел высокий и с виду сильный человек. Шел он, гордо подняв непокрытую голову, будто на этой земле не немцы, а он был хозяин. Первое, что бросилось в глаза Сусловой, — это его не по обстоятельствам гордая осанка.

Но разглядывать некогда было. Глафира Васильевна, взяв Зою за руку, медленно направилась к Театральному проезду. Человек догнал ее:

— Глафира Васильевна? Я — по рекомендации Каплана. Андрей Иванович Подопригора.

И крепко пожал руку.

«Да, фамилия очень подходит тебе...» — подумала Глафира Васильевна, окидывая взглядом могучую, гордую фигуру нового знакомого.

Теперь она могла спокойно рассмотреть его. Виски Андрея Ивановича посеребрила седина.

Выразительные серые глаза светились лаской и доброжелательностью. А одежда действительно вызывала удивление и подозрение. Черная сатиновая рубашка с белыми пуговицами, казалось, вот-вот расплзется на широченных плечах. Рукава ее едва прикрывали Андрею Ивановичу локти.

Темно-серые кортовые брюки спускались только немного ниже колен. Щиколотки были обернуты портянками, заправленными в солдатские ботинки.

Все было с чужого плеча, это мог сказать и ребенок. Не дураки же немцы, чтобы не заметить этого.

— Нам нужно поговорить спокойно, Глафира Васильевна, — сказал Подопригора. — Где мы можем сделать это?

— Зеленый домик за речкой видите? — спросила она.

— Вижу.

— Приходите туда. На втором этаже я живу. Вон мои окна...

— Ждите через час-другой... Если можно, поищите, будьте добры, мне белье. Очень в баню нужно...

— Приходите, приходите...

Кивнув головой, она пошла домой, а он повернул назад.

Часа через два он, как и обещал, пришел к ней. Еще раз поздоровался:

— Добрый день в дом... Давно уж мне не приходилось видеть обычный семейный угол.

— Какая здесь семья! Половина семьи — муж...

Она осеклась. И без того ясно, где теперь мужчины, если их нет дома. И, может, чужая, неизвестная ей женщина, как вот и она сейчас, подбирает ее мужу одежду, которая осталась от мужа-фронтовика.

Она уткнулась в шкаф и выбирала, выбирала сорочки мужа, белье, брюки, складывая все это на стул.

А он сидел возле стола, посматривал в окно на улицу и говорил, будто угадав ее невеселые мысли:

— И у меня есть жена, мать, сестры... Они не знают, где я, — наверно, считают, что погиб. И как же теперь известишь. Где-то слезами обливаются...

— А давно вы с ними расстались?

— Перед самым началом войны. Нашу часть как раз перевели из Гомельщины на границу. Жену забрать не успел. Она там служит в военной части.

— И дети с ней?

— Детей у нас нет.

— Так вы из Гомельщины?

— Нет, я киевлянин. Там работал в одной типографии, пока не призвали в армию. Я с тридцать второго года служу. Как видите, я откровенен с вами, ведь Каплан только хорошее говорил о вас.

— Можете не сомневаться, я не подведу. А теперь собирайтесь. Прикиньте, подойдет вам одежда моего мужа? Он тоже рослый, крепкий...

Он встал, чуть не подпирая чубом потолок, примерил бостоновые темно-синие брюки, а также рубашку со множеством пуговиц от воротника до подола. На белье только бросил беглый взгляд...

— Полотенце не забудьте, — напомнила хозяйка.

— Не знаю, как отблагодарить вас, Глафира Васильевна...

— Да чего там благодарить! Все равно носить некому. А вернется муж — не такое наживем. Только бы вернулся живой... Померяйте еще вот это пальто...

Она вытащила из шкафа новое, красиво сшитое теплое пальто мужа.

— Нет, спасибо, это уж я не возьму. Зачем же вас грабить? У вас дети, им есть нужно. Продадите, продуктов купите.

— Тогда пиджак хоть возьмите. На дворе холодно, простудиться ничего не стоит. А лечить вас, должно быть, некому...

— Да это верно, но я и так многое взял у вас.

— Не обеднею, берите.

Он надел еще совсем крепкое полупальто, пошевелил плечами и от удовольствия тряхнул лопаточкой бороды:

— Как на меня сшито...

— Вот и носите на здоровье. А шапки нет. Чего нет, того нет.

— Найду как-нибудь. В конце концов, голова не отмерзнет, был бы сам тепло одет.

С того дня Подопригора стал все чаще заходить к Глафире Васильевне.

Зайдет, сядет все на том же месте, возле стола, и, посматривая в окно на улицу, расспрашивает, расспрашивает:

— А кто из ваших знакомых остался в Минске? С кем вы встречаетесь, когда бываете в городе? Что рассказывают ваши знакомые?

И про себя открылся смело:

— Фамилия моя не Подопригора, а Иванов. И настоящее имя — Николай. А чтобы от немцев скрыться, я взял имя и фамилию своего друга, с которым когда-то работал в типографии в Киеве. Так легче привыкнуть к новому имени. Только вам я открылся. Если что со мной случится, дайте знать моим родственникам и жене. Вот их адреса...

Я был начальником штаба артиллерийского полка, — продолжал он спокойным голосом, будто сказку рассказывал. — От самой границы мы отступали с боями. Поколошматили нас здорово, от полка осталось каких-нибудь два десятка человек, и те не люди, а тени. Окружили нас. Хорошо, что леса начались, глухие, бесконечные. Фашисты туда не лезли, но и нам не сладко — хоть волком вой. На ягодах да грибах силу не нагуляешь. И на восток нужно пробиваться. Выбрались мы из пуши, хутора начались. Двигаться дальше решили мелкими группами, так как отряд в пятнадцать — двадцать человек фашисты легко заметили бы.

Со мной шел заместитель командира полка по комсомолу Кузьма Кузьмич. Вместе с ним я закопал в лесу штабные документы, попросил у крестьян гражданскую одежду, а свою им оставил. Как меня одели, вы видели. Пугало, да и только. И не удивительно, на мой рост нелегко подобрать.

Идем, а сами не знаем куда. Кругом, видим, немцы. Ночами шли, а днем отсыпались. И все же наткнулись на фашистов. «Хальт! — кричат. — Кто? Откуда?» — «Из тюрьмы», — говорим. На арестантов мы здорово похожи, но фашисты не поверили, загнали в лагерь. Здесь, в Минске.

Держались мы небольшой группой, четыре человека, обдумывали, как бы удрать из лагеря. Были там канализационные колодцы. Конечно, они высохли. Мы залезли в них и шли, пока можно было.

Думали, что выйдем за пределы лагеря. Но напрасно!

Как-то выстроили нас в лагере и спрашивают: «Печатники среди вас есть?» Я тут как тут: «Есть!»

Смотрю, и комсорг мой откликается, и еще два моих товарища.

Повели нас на территорию школы. Пока мы там работали (а мы не торопились чистить типографию), лагерь расформировали. Немцы так и оставили нас здесь, рабочими типографии. Даже документы выдали...

Глафира Васильевна сидела по другую сторону стола, опершись щекою на ладонь правой руки. Все, о чем рассказывал ей этот бородатый человек, могло произойти и с ее мужем. И он где-то пригоршнями хлебает горе горькое, ходит по незнакомым дорожкам, а может, и сложил свою голову в неравном бою. В сердце сильнее загоралась ненависть к тем, кто пришел на советскую землю и разоряет ее, топчет солдатским сапогом то, что мы, миллионы людей, создали своим упорным

трудом, недоедая и недосыпая. Бессильная злоба к врагу охватила Глафиру Васильевну.

— Неужели так долго будет? — вырвалось у нее. — Неужели наши не наберутся силы, чтобы разгромить фашистов? Перед войной столько писали и говорили, что будем бить врага на его земле, а сейчас что?..

— Ничего, Глафира Васильевна, у фашистов успех временный. Перелом будет, поверьте моему слову. Я уверен в этом. Так, как мы с вами, думают все советские люди. Все ненавидят фашистов. А если так, перелом будет.

— Когда же он будет? Сколько хороших людей перебьют тем временем выродки эти... Видели, сколько пленных наших на улицах расстреляли? Жутко!

— Я не видел, но слышал. Ничего, отольются им наши слезы и кровь. Глафира Васильевна, может, вы знаете кого-нибудь из коммунистов, кто остался в городе? Нужно и нам братья за дело. Не сидеть же тут сложа руки, пока победа сама придет. Бороться нужно.

— Нет, Андрей Иванович, — она, как договорились, называла его не настоящим именем, а кличкой, — никого я не знаю. Мне и самой тяжело сидеть без дела. Но что я могу одна?

— Нас уже двое, да хлопцы мои надежные. Нужно только установить связь с подпольной организацией. Не может быть, чтобы не было ее в Минске. Город большой. Давайте будем искать. В следующий раз он сказал:

— Мне очень неприятно, но я должен опять просить вас, Глафира Васильевна, помочь. Один наш хлопец в лохмотьях ходит, а зима на дворе. Вы не нашли бы и ему что-нибудь?

— Почему вы раньше не сказали?

— Стыдился. Я и так много взял у вас.

— Пусть придет, поищем и ему. Найдем что-нибудь.

Андрей Иванович привел молодого человека, лет двадцати пяти, с интеллигентным лицом. Был он чисто выбрит, небольшие черные усики старательно приглажены, волосы аккуратно подстрижены. Тряпье, которое болталось на нем, действительно нуждалось в замене. Огромные рыжие заплатки светились на некогда черных штанах, в светлой старенькой рубашке, поверх которой была натянута маленькая, почти детская курточка, чернело много дырок.

— Кузьма Кузьмич Кузнецов, — представил его Андрей Иванович. — О нем я вам говорил. Это мой товарищ, с которым мы вместе служили. — Для других Кузнецов, а для вас — Трошин. Такова его настоящая фамилия. Но мы уже договорились, что настоящих фамилий наших вы не знаете...

— Понимаю...

Кузьма, видимо, стыдился своей «экзотической» одежды, он сразу словно приклеился к скамеечке у порога да так и не вставал. А Андрей Иванович держался более свободно — прохаживался по комнате, время от времени заглядывал в окно. Он все расспрашивал Глафиру Васильевну.

Чувствовалось, человек ищет, душа его неспокойна.

Глафира Васильевна уже привыкла к его вопросам. Рассказывала спокойно, подробно обо всем, что слышала и видела, а тем временем тихонько перебирала одежду в шкафу. Оттуда из ее рук ложились на стул белье мужа, темно-синий костюм, демисезонное пальто.

— Это вы мне все? — спросил от порога Кузьма.

— Ну конечно!

— Что вы, неужели я пришел грабить вас? Мне разве только белье сменить да брюки... А остальное

не нужно...

— Вы не стесняйтесь, теперь время не такое, чтобы стесняться. Примеряйте — и кончено.

— И примерять не буду. Не нужно. Немцы увидят на мне такое хорошее пальто и разденут еще.

Хозяйка на минутку вышла из комнаты, пока Кузьма торопливо переодевался. Одежда была ему великовата, но зато новая и чистая, и хлопок ожил. Он даже перешел к столу. Когда Глафира Васильевна вернулась, они снова начали обсуждать, с кем бы связаться, чтобы начать подпольную работу.

— Я слыхала, в деревне Даниловичи, за Дзержинском, партизаны появлялись, — сообщила хозяйка. Лицо Андрея Ивановича просияло.

— Почему же вы сразу не сказали?!

— Так ведь это в деревне, далеко...

— Ну и что же! Только были бы партизаны. Обязательно искать нужно, раз уж на след напали.

Оставив двухлетнего Валерика и шестилетнюю Зою соседям, Глафира Васильевна собрала узелочек со старой одеждой и выпросила пропуск — разрешение сходить в деревню, будто бы для того, чтобы обменять одежду на продукты. Не было ее два дня, на третий вернулась. Усталая и разочарованная, сообщила Андрею Ивановичу:

— Больше не были. А где искать их — не могла добиться. Никто не знает, или сказать бояться.

Тогда Андрей Иванович сам пошел в деревню Гореновку Дзержинского района. Там жили родственники одной знакомой Глафиры Васильевны. Придумали какую-то причину и пошли по соседям.

Крестьяне Гореновки еще ничего не слыхали о партизанах. Самого Андрея Ивановича они приняли за партизанского разведчика или, может быть, даже командира. В хате, где он остановился, собралось много людей, не продохнуть. Почти до утра проговорили. Андрей Иванович рассказал, что сам знал, о положении на фронте. А знал он не мало, так как в ту пору в комнате, где жил со своими товарищами, под полом уже наладил радиоприемник.

— Так что же нам делать? — спрашивали его крестьяне, будто он обязан был, как представитель власти, дать им руководство в жизни.

— Что делать? Бороться. Всеми средствами. В первую очередь — создать партизанский отряд.

— Дело серьезное, нужно, чтобы кто-то организовал отряд, командовал.

— А разве среди вас не найдутся командиры? Еще какие найдутся!

Так и вернулся тогда Андрей Иванович, не напав на след тех людей, которых искал.

Однажды прибежал к Глафире Васильевне радостный, даже светился весь. Казалось, он стал еще выше, прямее.

— Нашел! Нашел! Слышите?

— Как же это вы?

— Осип Каплан познакомил... Ну и черт старый, тянул сколько времени! Душу вымотал. Все присматривался, можно ли довериться. А теперь поверил и познакомил с подпольной парторганизацией гетто. Даже задание дали.

О задании он сообщил так, словно это была великая награда. Странно было видеть детскую радость бородатого человека.

— Шрифтов и типографских материалов требуют. Без вас мне трудно справиться — шрифты нужно

будет прятать у надежных людей, от них будут забирать в гетто. Если вы не возражаете, я буду приносить к вам.

— Ну что вы говорите! — даже возмутилась Сулова. — Сколько времени вместе искали работу, а теперь убежать от нее? Все, что нужно будет, я сделаю.

— На всякий случай лучше прятать шрифты не в одном месте. Может, вы знаете еще кого-нибудь, надежного, кто согласился бы помочь нам?

Глафира Васильевна задумалась, перебирая в памяти знакомых. Вспомнила молодую высокую круглолицую женщину, свою давнишнюю знакомую Софью Антоновну Гордей.

— Есть одна. Я познакомлю вас. Живет здесь, недалеко, на Лавской набережной. Это за Свислочью, вон за теми высокими деревьями...

Дюжий, рослый мужчина вышел из красивого многоэтажного здания, расположенного как раз напротив Театра оперы и балета, и направился к центру города. Вечерело, и никто из прохожих, торопившихся после работы домой, не обращал внимания на человека с бородкой, в пестрой шапке-ушанке, который шагал вниз, к Свислочи, а затем повернул на площадь Свободы. Шел он неторопливо, твердым, уверенным шагом натренированного в походах человека. В зубах у него торчала большая трубка, из которой он попыхивал серым едким дымком. Это был капитан, бывший начальник штаба артиллерийского полка Николай Иванович Иванов, а теперь Андрей Иванович Подопригора — рабочий немецкой типографии «Прорыв».

Однажды, уловив момент, когда они остались вдвоем, старый наборщик Осип Каплан шепотом сказал Андрею Ивановичу:

— Вас хочет видеть один хороший человек. Вы можете посетить его завтра вечером?

— Могу. А куда нужно идти?

Старик назвал номер дома на улице Берсона.

— Только не запутайтесь и не заблудитесь. Деревянный одноэтажный домик в глубине двора. Вход со стороны улицы. Когда войдете, скажите: «Я ищу Славку». Вам ответят: «Славка живет здесь». И только после этого познакомят с нужным человеком. Будьте осторожны...

Быть осторожным! И без этого предупреждения он не стал бы необдуманно рисковать жизнью.

Обходя кварталы, где можно было бы подцепить «хвост» — шпики СД, спокойным, медленным шагом приближался он сейчас к центру города. Вот и Советская улица. Дом правительства. А рядом с ним — небольшие деревянные домики. В один из них и зашел Андрей Иванович.

В передней его встретила невысокая, еще довольно молодая брюнетка. Она смотрела на него удивленными черными глазами.

— Что вам нужно?

— Я ищу Славку.

— Славка живет здесь. Заходите, пожалуйста.

Они вместе вошли в комнату. Навстречу им из-за стола поднялся дюжий, но меньше Андрея Ивановича ростом, молодой человек с пышной, черной как смоль чуприной.

— Я и есть Славка. Очень рад познакомиться с вами, Андрей Иванович. Как раз таким я и представлял вас.

— Откуда же вы знаете меня? — удивился Подопригора.

— Да уж знаю кое-что. Надеюсь, что мы не ошиблись, рассчитывая на вас. Товарищи заверяют, что

вы честный советский человек. Разве не так?

— Так.

— В таком случае разговор наш будет совсем откровенным. Давайте пройдем вон туда.

Они вошли в маленькую боковую комнатку, в которой стояла чисто прибранная кровать, ночной столик и два стула. Попросив гостя сесть, Славка закрыл форточку и сел, почти упираясь коленями в колени Подопригоры.

— Дело вот в чем, дорогой Андрей Иванович, — спокойно начал хозяин. — В Минске действует подпольная партийная организация. Она должна выпускать листовки, а если будет возможность — и газету. Для этого необходима типография. Ее у нас нет. Однако ее можно иметь, если этого захотят честные советские патриоты. Товарищи, работающие вместе с вами, сообщили, что в типографии есть русские шрифты, на которые немцы не обращают никакого внимания. Не согласились бы вы перенести эти шрифты на нашу квартиру?

В памяти Андрея Ивановича сразу возник темный подвал типографии со штабелями наборных касс. Их можно все забрать, и никто не спохватится даже через год. Но как их вынести за ворота, охраняемые эсэсовцами?

Андрей Иванович в раздумье, теребил бороду, комкал пеструю шапку-ушанку, непрерывно попыхивал трубкой...

— Да, задали вы задачу...

— Конечно, нелегкую, как и вся наша борьба. Каждую минуту ходим будто по острию бритвы. На то и борьба.

— Хорошо, я посоветуюсь с хлопцами. Что-нибудь сделаем.

— Нам нужно точно знать. Это во-первых. А во-вторых, с кем вы предполагаете советоваться, надежные ли это люди?

— За них я ручаюсь. Это мои друзья по несчастью. Вместе в лагере были, вместе оттуда выбрались. И Андрей Иванович рассказал, каким образом он с тремя товарищами попал в типографию.

— Одному такое дело трудно осилить. А вместе — сможем. В них я уверен, хлопцы надежные.

На прощанье Славка крепко пожал руку Андрею Ивановичу.

— Полагаюсь на вас, товарищ Подопригора.

— Будет сделано!

Легко сказать: «Будет сделано!» А как сделать все это под пристальными взглядами фашистов и их холуев?

Андрей Иванович возвратился домой озабоченный, суровый. Долго ходил по комнатке, потом сел на свои нары и задымил трубкой. Товарищи видели его необычное настроение и не приставали с вопросами. Знали: придет время — сам скажет.

Уже собирались ложиться спать, когда он жестом позвал к себе хлопцев.

— Мне сегодня предложили одно очень трудное дело, и я не решился отказаться. Надеюсь, вы поддержите меня.

— Что за дело? — в один голос спросили товарищи.

— Предупреждаю: если у кого духу не хватит, сразу отказывайтесь — здесь кровью пахнет... Жизнь ставим на карту.

— Нечего пугать, — сказал Полонейчик, один из товарищей Андрея Ивановича. — Сколько раз мы

ставили жизнь на карту... Было бы за что рисковать! Правду я говорю, хлопцы?

— Да, конечно! — откликнулись Трошин и Удод. — За хорошее дело рискнуть можно.

— Тогда слушайте, — продолжал Иванов. — Подпольщики Минска просят достать им русские шрифты и типографское оборудование. Понятно?

— Почему не понятно, — ответил Удод. — Если нужно, сделаем...

— Начнем сегодня. Сначала упакуем шрифт в небольшие пакетики. Каждую букву отдельно. В карманах понесем.

...И вот они в типографии. Подвал встретил их необычной теменью. Казалось, вот-вот стукнешься о стену лбом и из глаз посыплются искры. Одно хорошо, что здесь за тобой не следят вражеские глаза. Ощупью нашли бумагу, кассы со шрифтами и начали делать пакетики. Сколько букв в алфавите, столько и пакетиков. Сначала опорожнили одну кассу, потом другую.

Все это вынесли наверх, спрятали под матрацы и легли спать. Но сон не приходил: сделана только часть работы, притом не главная. Самое трудное — пронести шрифт мимо эсэсовцев через проходную будку.

Дня через три, еще до конца работы, Михаил Полонейчик направился на разведку. Ему, уборщику, можно было ходить по двору, не вызывая подозрений у эсэсовцев. Не раз он ходил там и собирал окурки, которых немало валялось около проходной. Случалось, часовой сам бросал окурки, чтоб дать работу уборщику. На этот раз часовой даже не посмотрел на Полонейчика. Он сидел на скамеечке, положив автомат на колени, и играл на губной гармонике какую-то немецкую песенку. Вернувшись в свою комнату, Полонейчик сообщил:

— Кажется, сегодня можно рискнуть.

Шрифт разровняли в пакетиках и начали запихивать в карманы. Отяжеленная грузом одежда чуть не трещала на худых плечах.

— Съезжают, лихо их матери, — гудел Удод, то и дело подтягивая штаны. — Хоть гвоздями прибивай...

— Да и гвоздей в такой скелет не загонишь, — шутил Трошин.

— Действительно опасно, — сказал Полонейчик, самый маленький и самый худой из всех. — Как бы вдруг не потерять штаны возле проходной. Шутки не веселые...

Пришлось так затянуть пояса, что аж дышать стало трудно.

И вот вместе с толпой рабочих к проходной направились Полонейчик, Трошин и Удод. Возле часового рабочие шли не торопясь, и он холодно и подозрительно осматривал их с головы до ног.

Хоть бы не протянул руку, не дотронулся до карманов...

Первым прошмыгнул маленький, живой Полонейчик, за ним — Удод и Трошин.

Вздохнули, когда прошли квартал и очутились около больничного городка, где ждал Подопривога.

— Еще одно такое испытание — седой станешь, — признался Трошин.

— Ничего, привыкнешь, — шуткой утешал его Удод, подкручивая усы. — И каким еще героем будешь...

Принесли пакетики на Садовую набережную. Глафира Васильевна уже ждала их на улице. Кивком головы позвала в сарайчик. Они оглянулись. На улице совсем пусто. И соседей — ни души.

Дверь в сарай была открыта. В полумраке можно было разглядеть большой штабель торфа. Он лежал здесь, видимо, давно.

— Туда, к стене, — показала Сулова. — Складывайте, я засыплю торфом, чтоб не видно было. Вывалили на торф свою опасную, тяжелую ношу и сразу же пошли в типографию. А Глафира Васильевна осталась в сарае.

На другой день по паролю Андрея Подопригоры к ней пришли связные из гетто. Она не знала их имен. Слышала только, что одного из них, видно старшего, хлопцы звали Борисом.

А Подопригора прямо-таки горел. Дело наладилось, разве можно теперь успокоиться? И он торопил других и сам торопился.

— Глафира Васильевна, помогайте, — просил он. — Хлопцы не часто могут выходить. Но я имею возможность вынести шрифты за ворота. Приходите на Татарский мост в двенадцать часов, заберите у меня...

— Приду, — коротко ответила она.

И пришла. Не одна. Взяла с собой Зою. Девочка уже понимала, что мать делает какое-то очень опасное дело, вредит вон тем наглым фашистам, которые попадают на каждом шагу. Девочка не умом, а маленьким сердцем своим чувствовала врагов. Шла она, боком прижимаясь к матери и с любопытством озираясь по сторонам.

На Татарском мосту долго ждать не пришлось. Из ворот типографии спокойной, уверенной походкой вышел Подопригора. Он всегда ходил так: самоуверенно, твердо, с высоко поднятой головой, отчего лопаточка бороды немного выторкивалась вперед. Вот эта самоуверенность, решительный взгляд действовали на немецких часовых больше, чем аусвайс. Подопригору никогда не задерживали в воротах.

Издали увидев Глафиру Васильевну, весело закивал головой. Раньше он никогда не подходил к ней ближе чем на три-четыре шага, держался скромно, а на этот раз взял под руку и громко сказал:

— Пройдемся немного!..

На ходу вытаскивал из кармана пакетики со шрифтом, передавал их из рук в руки, под муфтой.

А она сначала запихивала пакетики в муфту, а когда та стала полная — перекладывала в карманы, наклонялась к Зое и той насыпала в карманы.

Забрав все, что принес Андрей Иванович, они разошлись. На прощанье Подопригора попросил:

— Придете еще через два часа...

Оставив шрифты в торфе, в другой раз пошла одна, без Зои. Боялась, как бы не накликать беду на дочку. Если уж придется погибнуть, то лучше одной.

— Теперь будем в другие места носить, а то у вас много набралось... Да, пожалуй, и рискованно в одном месте весь шрифт хранить, — сказал ей Подопригора.

А спустя день Трошин, Удод и Полонейчик прошли Театральный проезд — глухую улицу, которая упиралась в речку Свислочь на самом крутом ее повороте, затем берегом направились вниз, мимо старых деревянных домиков. Вскоре Подопригора, шедший впереди, остановился возле двухэтажного дома, внимательно огляделся, потом вошел в дверь. Через несколько минут в одном из окон показалась его борода, глаза весело улыбались.

— Прошу заходить, полиграфисты.

Встретила их хозяйка.

— Пожалуйста, пожалуйста, — приветливо пригласила она.

— Знакомьтесь, хлопцы, это Софья Антоновна, — сказал Андрей Иванович. — Следующий раз вы и

без меня найдете сюда дорогу. А сейчас выворачивайте свои карманы...

Корзинку со шрифтом Софья Антоновна засунула под кровать.

— Вот какие женщины у нас есть! — восхищенно сказал Полонейчик, когда «полиграфисты» вышли на улицу. — Ведь она хорошо знает, что ожидает ее, если фашисты найдут наш товар. И ничего себе.

— А мы перепугались, — насмешливо заметил Трошин. — Не доведется ли мужества у женщин занимать...

— Довольно самокритику наводить, — примирил их Удод. — Еще не раз нужно будет мужество свое показать. Вон сколько шрифта осталось в немецкой типографии. Да еще верстатки, да валики... Все это нужно вынести...

Да, нужно. И все это они приносили на квартиры Глафиры Васильевны Сусловой и Софьи Антоновны Гордей, ежеминутно рискуя своей жизнью. Через несколько дней наборщик Борис Чипчин в районе гетто, в одном из домиков на улице Островского, набирал первые листовки, а затем и небольшую газету «Вестник Родины». Слова большевистской правды искрами вспыхнули в оккупированном городе, кипевшем лютой ненавистью к врагам.

Они считались земляками. Неважно, что один родился в Батуми, другой — в Воронеже. Исай Казинец перед войной работал инженером в Белостоке, Сережа Благоразумов — в Ломже, пионервожатым в третьей средней школе. Дороги отступления свели их вместе и сразу же разлучили. Только спустя несколько месяцев, после того как Сережа освободился из лагеря гражданских пленных, они снова встретились, на этот раз уже на Советской улице в Минске.

Хоть и мало довелось им вместе побыть на военной дороге, да еще в такое время, когда огненные дни и ночи сливались в один непрерывный гул, они хорошо запомнили друг друга. Исаю понравился этот высокий, спокойный, молчаливый хлопец с детскими пухлыми губами, большими задумчивыми глазами и черным чубом, спускавшимся на левый висок. Сережа в свою очередь среди тысяч людей узнал бы волевое, мужественное лицо Исаю.

— Живой? — спросил Казинец.

Живой.

— Работает где-нибудь?

— Пока что нет. Собираюсь.

— Дело есть. Приходи сегодня же.

И дал адрес одной явочной квартиры.

— Надеюсь, ты комсомольцем остался? — испытующе глядя Сергею в глаза, спросил Казинец, когда они очутились вдвоем на явочной квартире. — Все, что случилось, не сломило тебя?

Сережа даже обиделся:

— Ну, что придумали!

— Ты не обижайся. Разные люди бывают. Теперь иногда такую метаморфозу увидишь, что даже ахнешь. Поэтому я и интересуюсь, как на тебя подействовал огонь: закалил или расквасил.

— Вы о каком-то деле хотели сказать. Говорите.

— Подожди. Не сразу. Дело серьезное, подход требуется.

Сережа нетерпеливо мотнул головой:

— Вы будто дипломат какой. Говорите, я без подхода пойму. Серьезное дело и решать будем серьезно, без оговорок. Я буду делать любую работу, если она пойдет на пользу Родине.

— Любую?

— Да, любую.

— А хватит у тебя духу на любую?

— Если я сказал — хватит, значит, хватит. Только чтобы смысл был... Чтобы я видел, что действительно помогаю Родине.

Казинец, которого теперь уже все звали не иначе как Славкой, словно размышляя вслух, медленно сказал:

— А если предложим тебе пойти в полицию служить?

Сережа даже изменился в лице. Глаза его загорелись настороженностью и неприязнью.

— Больше вы ничего не могли придумать?

— Нет. Иначе нельзя. Ты сам говорил, что хорошо знаешь немецкий язык. Об этом больше никому не говори. Пусть все думают, что ты не понимаешь по-немецки. Ты будешь служить у них и следить за всем, что там будет твориться. Ты будешь нашими глазами и ушами в их стане. Мы начинаем бороться, серьезно бороться. А для этого нужно знать врага.

Недовольство, разочарование не сходили с лица Сережи, но он не возражал, слушал.

— Я знаю, — продолжал Славка, — что тебе будет нелегко. Потому я выбрал для такого трудного дела именно тебя. Мне сразу же, как мы встретились, бросилось в глаза, что ты человек серьезный, сильный, способный перенести огромные трудности ради великого дела. А тебе будет тяжело, очень тяжело. Придется видеть зверства врагов, их издевательства над нашими людьми, а может, еще хуже — участвовать в карательных операциях. Конечно, ты не должен сам убивать своих людей, но и фашисты не должны заподозрить тебя. Понял, в каких сложных условиях будешь работать?

— Понял.

— Согласен?

Что ему оставалось сказать? Что испугался трудностей? Что не хватило силы стать разведчиком?

Ведь он с детства мечтал о сложном и трудном деле, которое даст ему возможность показать свою преданность Родине, силу воли, ловкость, сообразительность и отвагу. Нет, отказываться от такого задания было бы преступлением.

А Славка будто читал его мысли:

— Ну вот, я так и думал, что ты согласишься. И товарищи так считали. Значит, принципиально дело решено? Теперь давай начнем конкретно... Нужно написать заявление и автобиографию, чтобы тебя приняли в шуцполицию. Для начала расскажи мне свою автобиографию. Только подробно, о всех родственниках расскажи. Это требуется для дела.

Они сидели за столом, друг против друга. Славка следил за тем, что происходит на душе у Сережи. И думал довольный: «Молодец хлопец, умеет держаться».

— Можно покороче рассказать?

— Нет, давай подробно.

— С чего же начать? У меня родословная весьма запутанная. Долго придется рассказывать...

— Ничего, у нас времени хватит. Рассказывай.

— Подождите, дайте собраться с мыслями. Сейчас сами увидите, что мне нелегко рассказывать о своих родственниках.

О ком же первом? Разве о фон Мантейфеле? Эта фамилия в таких обстоятельствах может

пригодиться.

Когда-то в Москве жил потомок давних немцев-колонистов по фамилии фон Мантейфель. От немцев у него только и осталась фамилия с горделивой приставкой «фон». Во всем остальном это был самый обычный русский человек, со всеми чертами характера, которые присущи русским. Только была у него одна странность — не хотел жениться. Может, потому, что много учился и работал, некогда было искать жену... Был он известным в то время профессором-хирургом, и даже прославленный академик Бурденко учился у него.

Хотя профессор и не женился, но сына ухитрился прижить от своей служанки. Когда мальчик подрос настолько, что пора было отдавать в школу, профессор официально усыновил его.

Сына он баловал, позволял ему много лишнего, и Николай фон Мантейфель вырос красивым, беспечным франтом, которому море по колено. Выпивоха и дуэлянт, он не раз попадал в неприятные истории, но, пользуясь добрым именем своего отца, выходил сухим из воды. С горем пополам он стал военным врачом.

С этим франтом в 1907 году познакомилась мать Сережи, Любовь Васильевна Карташева.

Происходила она из старинной дворянской семьи, но до того бедной, что о дворянстве ее свидетельствовали только засаленные бумаги давних времен. Красивая девушка с детства попала в среду знаменитых людей. Через свою родственницу, известную артистку Комиссаржевскую, она познакомилась с Федором Шаляпиным, Леонидом Андреевым, Иваном Буниним.

У нее был светлый, тонкий ум, хороший вкус, чувство юмора, доброжелательность. Вместе с этим уживались у нее и такие черты характера, как чрезмерная впечатлительность, эксцентричность, влечение к острым ощущениям, к экзотике.

Какими-то путями она связалась с социал-демократической организацией и в 1905 году участвовала в руководстве забастовкой воронежских железнодорожников. Жандармы здорово отлупцевали ее тогда шомполами — на всю жизнь на спине остались рубцы.

Ей приглянулся гуляка и франт Николай фон Мантейфель. И когда у них в 1908 году родился сын Алексей, это не очень обрадовало и отца и мать. Родился, ну и пусть себе живет на здоровье, пусть с детства заботится о себе. А у них и своих дел хватало.

В августе 1914 года Николай фон Мантейфель погиб на фронте. Жена его горевала или не горевала, но до смерти не убивалась. У нее были новые интересы, новое поле деятельности.

В общественной работе она также не отличалась особенной последовательностью. На некоторое время отошла от партийных дел.

Но Великую Октябрьскую революцию встретила всей душой и снова загорелась огнем борьбы, снова окунулась в общественную работу.

Как-то однажды она встретила с фельдшером Алексеем Благоразумовым, служившим в армии Буденного. Вместе с Конной армией Алексей Иванович прошел весь путь гражданской войны. Веселый, разговорчивый, остро слов, он целыми днями угощал своих слушателей, среди которых была и Любовь Васильевна Мантейфель, все новыми и новыми интересными историями из жизни буденновцев. Любовь Васильевна умела не только рассказывать, но и слушать и высоко ценила талант рассказчика. Она искренне полюбила Алексея Благоразумова.

Ее не остановило то, что он имел жену и детей. В 1921 году родился Сережа. Его ждала судьба старшего брата Алексея — забота о себе с первых самостоятельных шагов по этой довольно

неустойчивой и колючей земле.

Жили они тогда на высоком обрывистом берегу реки Воронеж. Дом принадлежал какому-то бывшему купчику, и тот сдавал его в аренду. Вокруг дома — большой сад. Между яблонями и грушами сплошной невысокой стеной переплелась веточками малина. Хозяин поручал ухаживать за ней тому, кто занимал дом. А в семье Любове Васильевны обстоятельства складывались так, что сама она на малину и смотреть не хотела, Алексею некогда было, и все хлопоты ложились на маленького Сережу. Он не опозорил звания садовника. Малина росла чистая, каждая ягода — почти как слива. Соседи не раз приходили посмотреть на такой редкостный урожай.

Внизу, возле самой реки, к обрыву лепились еще два-три домика, а за рекой, как взглядом окинуть, на десятки километров расстилался простор заливных лугов. Только далеко-далеко, на самом горизонте, чуть заметно чернел зубчатый край леса.

В зарослях малины и смородины попадались уютные тенистые прогалины, где очень хорошо было прятаться, когда играешь в разбойники. Но самые захватывающие игры происходили на руинах и в полуразрушенных подземельях старого, заброшенного монастыря, построенного еще в XII—XIII столетиях. Стоило только перебраться через овраг — и ты уже как бы в средневековье. Кругом — разрушенные дождями и ветрами стены, таинственные уголки, полузасыпанные склепы. А рядом — замок Петра Первого, яхт-клуб. Сколько простора для детской фантазии!

Само собой получилось так, что он стал атаманом среди мальчишек ближайших улиц. Выросший без отца (который вскоре после рождения Сережи вернулся в свою первую семью и ни разу не поинтересовался сыном), без материнских забот и ласки, он чувствовал себя самостоятельным во всех своих поступках и действиях. Все, что он делал, — делал без всякого постороннего влияния, на свой риск и страх. Это ставило Сережу на целую голову выше многих его ровесников и даже старших по летам товарищей.

Только одним мать щедро одаряла мальчика: интересными рассказами о своей подпольной борьбе против царизма, о героических делах его отца-конноармейца. И хотя Сережа никогда не видел своего отца, в представлении мальчика сложился образ славного, смелого, веселого человека, который никогда не жаловался на трудности и в любой момент готов был, блеснув саблей над головой, броситься в атаку на врагов советской власти.

Зная множество разных героических историй, Сережа в своих играх повторял то, о чем так красочно рассказывала ему мать. Как бы его ни поколотили во время игры, сколько бы синяков и шишек ни принес он вечером домой, мать и брат ни разу не слышали от него жалоб или стога. Он умел терпеть. Очень любил Сережа ездить километров за тридцать от Воронежа, в лес, который назывался Графское. Вековые дубы и клены поднимались своими могучими кронами в самое небо, а внизу, в тени, даже в сильную жару было прохладно и сыровато. Густо перемешанные острые запахи лесных трав дурманили голову.

С увлечением собирал Сережа грибы и ягоды, наблюдал за тем, как расчетливо, умно строят свое жилище бобры. Жизнь леса очаровывала его.

Учился он хорошо, даже после того, как старший брат переехал к дяде в Ленинград и все заботы по хозяйству легли на Сережины худенькие плечи, — мать по-прежнему домашними делами не занималась. Немецкий язык давался ему особенно легко, он учил его без всякого напряжения.

Общественная работа в школе сильно увлекала Сережу. Дети охотно признавали его авторитет,

уважая его самостоятельность, не по возрасту зрелый ум, большую смелость и силу.

Четырнадцатилетним мальчуганом он вступил в комсомол, стал пионервожатым.

Вокруг школы несколько гектаров занимал сад. Хороший сад, краса города. Мальчишки летом часто лазили в него, рвали яблоки и груши, ломали деревья. Сережа организовал отряд школьников по охране сада. Вскоре мать стала часто замечать на его лице синяки. Но он не сдался, отучил охочих до школьных яблок лазить через садовую ограду.

Ученик девятого класса, комсорг школы Сережа Благоразумов стал одновременно работником райкома комсомола. Перед ним открылась широкая дорога в жизнь.

После освобождения западных областей Белоруссии и Украины от польских панов Центральный Комитет комсомола направил Сергея Благоразумова комсоргом в одну из школ города Ломжи.

— Ну, остальное вы знаете, — закончил он свое повествование. — Кое-что я уже рассказывал вам, когда шли от Белостока.

— Кто у тебя из родственников имеется? Ты упоминал какого-то дядю...

— Дядей у меня хватает, — засмеялся Сережа. — И все довольно известные. Вообще мне везет на именитых родственников... Дядя Павел Васильевич Карташев работал инженером-экономистом в одном научно-исследовательском институте в Москве. Участвовал в создании проекта Магнитогорского комбината. Недавно умер, во время войны с Финляндией.

Николай Васильевич Карташев по специальности инженер-геолог, специалист по аэрофотосъемкам. Теперь, наверное, где-нибудь на фронте. Если не погиб уже.

Третий дядя — Тихон Васильевич — меньше по чину, только преподаватель фехтования. Воевал в гражданскую войну в армии Буденного. Через него мать и познакомилась с моим отцом. А воевал он хорошо. Награжден орденом Красного Знамени.

Четвертого дядю — Петра Васильевича — я ни разу не видел. Он все время жил в Англии. Работал в торговом представительстве СССР. Женился там... Ну и пятый дядя — Михаил Васильевич Карташев, штабс-капитан царской армии, а потом, с тысяча девятьсот девятнадцатого года, — военспец в нашем штабе в Ленинграде. Этот умер, не помню, в тридцать первом или в тридцать втором году...

— Нет, хватит, — засмеялся Славка. — Родственников у тебя действительно на четверых хватило бы. Теперь давай придумаем тебе такую автобиографию, чтобы фашистам понравилась. Бери бумагу, пиши.

Сережа взял широкий сероватый лист бумаги, обмакнул ученическое перо в чернильницу-непроливашку и поднял глаза на Славку. А тот задумался, потом заговорил:

— Пиши. «Родился я в тысяча девятьсот двадцать первом году в Воронеже...» Написал? А теперь быка за рога бери. Дядя... Как там твоего первого дядю зовут? Павел Васильевич? Пиши: «Дядя Павел Васильевич Карташев был обер-прокурором синода во Временном правительстве и членом Комитета министров...» Написал?

— Написал. А что такое обер-прокурор синода? — спросил Сережа.

— Аллах его знает. Я читал, что был такой чин.

— Нет, так опасно. Раскроют ложь — да на виселицу.

— Не раскроют. Здесь же полицию возглавляют такие дурни... Не догадаются проверить... Откуда им знать, кто был обер-прокурором синода? А звучит это солидно. Если же попадешься, скажешь, что

тебе родственники нагнали, а ты и поверил. Давай чеши дальше, не оглядывайся... Что мы еще об этом дядьке скажем? После Октябрьской революции сбежал за границу с товарищем министра финансов, доходили известия о том, что проживал до последнего момента в Париже. Пусть поищут его там, если не поверят. А теперь давай возьмемся за второго дядю...

Потеребив свой черный курчавый чуб, Славка снова глянул на Сережу — глаза его весело засветились.

— «Второй дядя, Николай Васильевич Карташев, был расстрелян советской властью за принадлежность к немецкой разведке вместе с немецким офицером...» Ну, каким там офицером? Давай придумывай, наконец! Что я — должен сам всю твою биографию сочинять?

— Шульцем, — подсказал Сережа самую популярную немецкую фамилию.

— Пусть Шульцем, лихо с ним, пиши дальше: «...Шульцем в городе Ленинграде в тысяча девятьсот двадцать девятом году».

С двумя дядями было покончено. Славка вздохнул с облегчением. Потом продолжал диктовать:

— «После Октябрьской революции моя мать работала счетоводом на Юго-Восточной железной дороге в Воронеже, отец — ветеринарным врачом.

Я с тысяча девятьсот двадцать девятого года учился в средней школе номер шестьдесят в городе Воронеже, которую окончил. В тысяча девятьсот тридцать девятом году призывался в армию, но был зачислен в запас. С тысяча девятьсот сорокового года работал в качестве учителя начальных классов средней школы номер три в городе Ломже...»

— Но это могут проверить. Тогда узнают, что я был комсоргом.

— Я уверен, не будут проверять. Подумаешь, важная персона — агент шуцполиции. Таких чинов, как ты, у них найдется среди бывших уголовников немало. Разве они будут проверять каждого бандита и вора? Нет, они поверят на слово! А для благонадежности напиши еще: «В жидовско-комиссарских холуях не числился...»

— Нет, я такую мерзость писать не буду! — решительно запротестовал Сережа. — Мне противно писать так.

— Ничего, пристраивайся к их терминологии. Тебе нужно хорошо овладеть ею, чтоб не выдать себя. Побольше таких мерзких слов — больше верить будут. Пиши...

Сережа крепко стиснул зубы, так, что на висках выступили желваки, но написал. И добавил в конце: «Имею родственников в Германии, которые носят фамилию фон Мантейфель и служат в немецкой армии».

— Ну что, хватит? — спросил у Казинца.

— Пожалуй, хватит. Теперь пиши заявление, проси зачислить тебя полицейским. Пиши, не скупись на мерзостные выражения. Они как раз по вкусу фашистам и их холуям.

Через пять дней он пришел на явку уже в форме полица. Странно и неприятно было подпольщикам видеть на нем эту черную форму. Будто подменили хлопца. Только глаза остались те же: большие, немного грустные и внимательные, глаза честного человека. Из-под полицейской черной пилотки на правую сторону лба выбивалась кудрявая черная прядь волос, придававшая Сереже ухарский вид.

— Вот теперь ты при деле... — приветствовал его Славка. — Ну, рассказывай, как приспособился, что узнал, как приняли твои бумажки.

— Вы правду говорили — фашисты ни в чем не усомнились, всему поверили. Направили в школу

агентов шущполиции.

— О, это совсем хорошо! — радостно проговорил Славка. — Очень, очень хорошо! Мы хоть частично будем знать агентуру шущполиции, а это важно! Да и ты сможешь глубже проникнуть в их среду. Кроме того, агенты могут ходить по городу свободно, а это для тебя также важно. Одним словом, считай, что тебе привалило счастье.

— Лихо ему, этому счастью. Как посмотришь да послушаешь, что там творится!.. Будто в зверинец попал. Друг друга сожрать готовы, а не только честных людей загубить...

— Терпи, братец, терпи. Партия приказывает терпеть и работать. Завтра принеси список всех, кто учится с тобой в школе шпионов. Постарайся каждому дать хотя бы коротенькую характеристику: кто, откуда, кем был до войны, приметы, черты характера. И сообщай обо всем, что услышишь и узнаешь, особенно если речь будет идти о подпольщиках.

— Это я понимаю.

— Завтра же пойдешь к одной молодой женщине. Ее зовут Лидой, кличка — Девочка.

Славка дал ему адрес Лиды Девочко.

— Прежде я познакомлю тебя с одним хлопцем. Жаном его зовут. Хороший хлопец — смелый, решительный, веселый. Вам придется с ним часто встречаться. Он и поведет тебя к Лиде. У нее еще одна подружка есть. Вчетвером вы должны разбросать листовки. Вечером пойдете в кино, там часть оставите, а что успеете — на стены прилепите. Одним словом, листовки нужно донести до читателей, а как это лучше сделать — сами смотрите.

— Вот это другое дело, не то что среди мерзавцев отираться.

— И то нужно, и другое. С тобой смелее распространять листовки: кто подумает на полицаю!

С той поры Сергей Благоразумов подружился с Жаном и стал постоянным гостем Лиды Девочко.

Все, что делалось в шущполиции, было известно подпольщикам.

В середине января 1942 года Сережа, взволнованный, встревоженный, разыскал Жана.

— Надо что-то делать! — выпалил он. — Фашисты готовят карательную экспедицию в лес к деревне Клинок, Червенского района. Говорят, что там расположились партизаны. Решили окружить их и уничтожить.

— Откуда узнал?

— Слыхал, как фашистский офицер, говорил начальнику полиции. Приказал подобрать группу самых надежных полицаев. Их также включают в карательный отряд.

— Ты уверен, что это не провокация, что каратели действительно собираются в поход?

— Уверен. Фашистскому офицеру нет смысла давать ложные приказы. Полицаи уже готовятся в поход.

— Ну хорошо, что-нибудь придумаем. Надя Голубовская только что пришла оттуда. Ей следовало бы отдохнуть, но придется послать назад...

— Пусть торопится. Пока они соберутся, она успеет предупредить.

По извилистой подпольной цепочке весть о том, что фашисты собрались уничтожить 208-й партизанский отряд, долетела до командования отряда. Партизаны быстро подготовили удар по врагу. Детально был разработан план операции, расставлены люди, каждый знал свою задачу. Карательный отряд фашистов был разгромлен. Партизаны не понесли потерь.

Карательный отряд фашистов был разгромлен. Партизаны не понесли потерь.

А Сережа продолжал служить в полиции. Много раз он порывался уйти оттуда, но Славка

приказывал:

— Держись!

И он держался еще долго, до июня 1942 года. Глаза и уши подпольщиков неустанно следили за врагом в самом гнезде шущполиции.

Из тех, кто стоял в толпе возле Червенского рынка, мало кто видел членов горкома. Но каждый знал, что он выполняет распоряжение подпольной организации. Это по ее решению они покидали город.

Для маскировки пришли сюда будто на работу — с лопатами, с кирками в руках. Одеты были в теплые ватники и такие же ватные штаны, в сапоги или валенки, на головах были шапки-ушанки. В толпе стояли и две женщины с лопатами. Вскоре подъехала грузовая автомашина. Мужчины побросали в кузов лопаты, кирки, помогли сесть женщинам, потом забрались сами.

— Все сели? — высунувшись из кабины, громко спросил шофер. — Пусть кто-нибудь пересчитает, а то, не дай бог, не хватит одного, что я скажу хозяину?

Кто-то начал пересчитывать. Возле самого грузовика промчалась легковая автомашина. В ней сидел длинный, надутый фашистский офицер с гестаповскими знаками отличия. Он презрительно глянул на тех, кто сидел в кузове, и отвернулся.

Василь Соколов, который пристроился возле самой кабины, хитро поглядел ему вслед, потом подмигнул Бочарову и Бывалому:

— Знал бы герр офицер...

— Хватит тебе... — оборвал его Бочаров. — Шутки сейчас некстати.

— Да что ты... Я со всем почтением к пану офицеру...

— То-то же! Начальство уважать надо! — назидательно заметил Бывалый и сам весело захохотал. Засмеялись и остальные. И как же не засмеяться, если все идет, как задумано. Даже гестаповский офицер и тот ничего не заподозрил. Значит, можно надеяться на успех.

— Ну, как там у вас, все? — снова спросил шофер.

— Все, чужих нет, своих не забыли, — весело отозвался Соколов. — Погоняй, Кирила, если бегают кобыла...

Машина рванула с места и помчалась в сторону Червеня. Пассажиры прятались от холодного, пронизывающего встречного ветра, который проникал даже сквозь толстые ватники.

Пропуском на выезд из города были лопаты, кирки, носилки. Пассажиры держали их высоко над кузовом: мол, ничего подозрительного здесь нет.

На окраине Минска полицейские остановили машину, но, увидя рабочие инструменты, крикнули:

— Поезжайте!

Шофер прибавил газу. На ухабах пассажиров высоко подбрасывало, но они терпеливо мирились с этим. Каждому хотелось как можно скорей отъехать от города. По обеим сторонам дороги мелькали белые березы, стройные сосны, зябкие осины. Проехали километров тридцать. В лесу машина остановилась. Из густого кустарника на дорогу вышел худой высокий бородатый человек. Он обменялся с шофером паролем.

— Ну, товарищи, слезайте, — сказал шофер пассажирам. — Дальше — пешком, а мне нужно возвращаться. Вот этот человек поведет вас. Будьте здоровы, всего вам наилучшего! Бейте крепче фашистских гадов, а мы вам будем помогать.

Бочаров, Соколов, Бывалый, Иванов, Кудинов и другие пошли лесом за проводником. Шли молча,

след в след. Деревья угрюмо молчали. Только изредка с пригнутых еловых веток мягко падали большие хлопья снега.

Зимний день будто одеяло у бедняка — серый да короткий. Не успели подпольщики утром выбраться из города, проехать каких-нибудь полтора-два часа да пройти несколько километров по лесу, как начало смеркаться. Кажется, и шорохи стали громче, и деревья толще. Снег приобрел какой-то голубовато-фиолетовый оттенок.

А на сердце у людей было радостно и светло. Они вырвались из города, где на каждом шагу — враг, где каждый камень напоминает тебе, что ты угнетенный, униженный. Здесь же все свои.

В этих лесах действовали первые партизанские отряды под командованием Покровского и Сергеева. Они были маленькие, плохо вооруженные и не могли наносить ощутительные удары по врагу.

Коммунисты обоих отрядов решили объединиться. Партизаны поддержали это предложение. А когда к ним прибыла группа советских офицеров во главе с полковником Владимиром Ивановичем Ничипоровичем, объединились все наличные силы в один отряд. Партизаны единодушно выбрали полковника командиром объединенного 208-го отряда, а комиссаром — Покровского. Отряд стал силой, которая не раз громила фашистские гарнизоны в Червенском районе. Боевая слава партизан эхом отозвалась по всей Минской области.

Чем активнее действовал отряд, тем больше помощи требовалось от города: и людьми, и оружием, и медикаментами. Зима стояла лютая. Отряд не мог размещаться по деревням — фашистские каратели жестоко расправлялись с мирными жителями. Поэтому было решено базироваться в лесах и жить там в шалашах и палатках. Сюда, когда уже смерклось, и прибыла новая группа минчан в сопровождении разведчика.

Через несколько дней Ничипорович позвал к себе Васю Соколова. По тому, как тот медленно шел к командирскому шалашу, можно было подумать, что это ленивый и неуклюжий человек. Однако перед самым шалашом высокая, слегка сутулая фигура вдруг выпрямилась, вытянулась и будто стала еще выше. Быстрым движением обеих рук Василь разгладил сборки пальто под ремнем, поправил шапку-ушанку, чуть сдвинув ее с уха на макушку, и громко спросил:

— Товарищ командир, разрешите войти?

— Заходите, — глухо послышалось из-за дверей, завешенных плащ-палаткой.

Сразу после солнечного света в шалаше, кроме тускло мигавшей керосиновой лампы, ничего не было видно. Потом глаза стали привыкать, и в полумраке стали вырисовываться все предметы.

Посреди шалаша, около сбитого из досок столика, сидел Владимир Иванович. Перед ним лежала топографическая карта.

— Садитесь, пожалуйста, — показал Ничипорович на земляной выступ, который служил и креслом и кроватью. — Я позвал вас, товарищ Соколов, чтобы поручить, как способному разведчику, очень ответственное дело. Вам придется снова вернуться в Минск...

Сказал это и смолк, чтобы посмотреть, как Соколов будет реагировать на сказанное. Но тот молчал и слушал, и по его лицу нельзя было понять, доволен он таким поручением или нет.

— Что же вы не спрашиваете, с каким заданием?

— Надеюсь, вы сами скажете...

— Конечно, скажу. Так вот. Не хватает теплой одежды, медикаментов, продуктов. Нужно просить помощи у минских подпольщиков. Пусть соберут среди населения. Кроме того, нам нужна

типография, хотя бы маленькая. Мы бы тогда забросали листовками не только Червенский район, но и Минск. Ведь здесь легче печатать, чем в городе. Одним словом, требуется помощь. Ваша задача — договориться об этом с горкомом партии.

— А как же я его найду?

— Вы Жана знаете?

— Знаю.

— Передайте ему все, что я вам сказал. Он все сделает.

Владимир Иванович назвал явочную квартиру и на всякий случай запасной адрес.

— Потом передайте ему, что нам нужны бланки паспортов и аусвайсов. Пусть перешлет.

— А не слишком ли много для одного?

— Поручений? Нет, это не много. Он знает, как их выполнить. В отряд, скажите, ему еще рано, там он больше нужен. Запомнили все?

— Кажется, все.

— Повторите.

Соколов почти слово в слово пересказал их разговор. Владимир Иванович с довольным видом пожал ему руку.

— Отлично! Сегодня же получите документы у начальника разведки, и дня через два — в дорогу.

Будьте осторожны. Дело рискованное. Начальник разведки расскажет вам, как нужно держаться.

Теперь вы — крестьянин одной из ближайших деревень. Запомните несколько фамилий крестьян, точные сведения о старосте, — словом, все, что нужно на случай, если вас задержат.

Соответствующую одежду получите у начальника разведки. Не забывайте, что теперь вы обязаны бить врага не оружием, а обманом.

На рассвете мохнатая рыжая лошаденка бежала рысцей по Могилевскому шоссе в сторону Минска.

В широких крестьянских розвальнях, зарывшись в сено, лежал Василь Соколов, одетый в поношенный черный кожанок; на ногах — теплые черные валенки.

Все эти дни Василь не брился, щеки покрылись щетиной, лицо стало серым, невыразительным.

Одним словом, выглядел он как обычный крестьянин, озабоченный нелегкой жизнью.

В сене был запрятан небольшой мешок с ветчиной и колбасой.

Постегивая лошаденку вожжами, Василь приговаривал:

— Но, Бурый, чтоб ты здоров был! Но, трясца твоей бабке, орех тебе под хвост, но!

Навстречу ехали легковые и грузовые машины, подводы, но никто не обращал внимания на крестьянина, который то и дело дергал вожжами и сыпал поговорками:

— Но, богова ошибка, чертова затычка! Чтоб ты до сена так бежал, мешок с соломой!

Около самого Минска, в Красном урочище, на него неожиданно гаркнул полицейский:

— А ну, останови, огородное пугало! Куда прешься?!

— В город еду, паночек, как видите, — изменив голос и сделав вид, что испугался, проговорил Василь.

— Что на возу?

— Да ничего такого нету, паночек, одни пустяки, говорю — одни пустяки...

— А ну, показывай!

— Пожалуйста, паночек, пожалуйста. Это я на рынок выбрался, кое-что продать да соли, керосину

купить, ну и, если попадутся, подметки достать... Может, вы, паночек, подскажите, где подметки купить, вся семья босая, как есть босая... Я отблагодарю, паночек, как есть отблагодарю...

Развязав мешок, Василь сунул полицейскому ладный кусок ветчины и два кольца колбасы.

Полицейский взял все это, а потом заревел:

— Иди, а то я тебе дам такие подметки, что свои тут оставишь... Чтоб через минуту твоего духу здесь не было!

Василь прыгнул в сани, схватил кнут и так хлестнул лошаденку, что она рванула с места как ошалелая, галопом.

Сразу же после приезда в Минск Василь Соколов зашел к Ивану Козлову. Тот за последнее время сильно похудел, глаза ввалились. Видно, человек живет голодно. Вошла Мария Федоровна.

— Вы, наверно, сегодня не ели? — спросила она Василя. — Я сейчас затирку приготовлю, у меня еще есть немного муки...

— Спасибо, большое спасибо, я только что пообедал у знакомых, не беспокойтесь, пожалуйста. У меня есть дело к Вите. Когда она будет дома?

— Только вечером, — ответил Козлов. — Может, я помогу?

— Не знаю, — замаялся Василь. Он помнил, как Иван сделал ему и Бочарову хорошие документы, но стоит ли выкладывать, для чего приехал сюда партизанский связной?

— Если можете подождать, ждите, — сказал Иван без тени обиды за недоверие.

— Скажите, вы знаете Жана? — после раздумья все же спросил Василь.

— Жана? Да, знаю.

— А могли бы найти его?

— Сейчас? Трудно сказать. Но можно попробовать.

— Попробуйте, пожалуйста. Передайте ему, что нам нужно срочно увидеться.

— Хорошо.

Быстро одевшись, Иван вышел. Василь остался ждать. Прошло часа два. На душе у Василя стало тревожно: зачем впутал в это дело человека? Как бы беды какой не случилось...

Но беспокоился он напрасно. Козлов, тяжело дыша после быстрой ходьбы, ввалился в хату с утомленным, но довольным лицом.

— Еле отыскал. Просит вас на Подлесную...

Козлов подробно объяснил, как, не спрашивая никого, попасть на явочную квартиру.

Жан внимательно выслушал поручение партизанского отряда, которое передал ему Соколов.

— Та-а-ак! — задумчиво протянул он. — Тут, братец, посоветоваться нужно. Жди меня завтра здесь в двенадцать. Принесем бланки паспортов и аусвайсов. А теперь всего. Мне нужно торопиться.

На другой день в полдень они снова встретились.

— Так вот какие дела, — сообщил Жан. — Надежным людям поручено добывать типографское оборудование. Когда оно будет готово — известим. Одежда будет через неделю-две. Сейчас многим женщинам поручено шить ватные куртки, штаны, теплые рукавицы, шапки. Работать будут и днем и ночью. Сахарин и медикаменты также получите. Скажи Ничипоровичу, чтобы за всем этим прислал надежного человека, хорошо знающего город. Славка просит прислать Бывалого: и его здесь знают, и он знает, куда обратиться. Вот бланки...

Он вытащил из-за пазухи чистые бланки аусвайсов и паспортов.

— Но это не все. В скором времени я передам еще... Если у вас некому оформлять их, то скажите, у нас мастера есть — любой документ так оформят, что ни один полицейский не заметит подделки.

— Хорошо, передам. Ну, будь здоров, Жан. Мне нужно возвращаться.

— Счастливого пути. Может быть, скоро увидимся... Я собираюсь к вам.

— Нет, Владимир Иванович сказал — ты пока что нужен здесь.

По лицу Жана пробежала тень.

— Что ж, если Владимир Иванович так считает, побуду и здесь. Дело везде найдется. Передай ему сердечный привет и скажи: пусть не сомневается. Жан его не подведет...

Горком партии решил собрать сведения о военных укреплениях наиболее важных фашистских гарнизонов.

Жан получил срочное задание — выехать на разведку в Барановичи.

— Славка предложил, — говорил Ватик (Вячеслав Никифоров), — послать вместе с тобой Деда. Он как раз оттуда родом.

— Конечно, с ним легче будет, — согласился Жан.

Мало кто знал имя и фамилию Деда, откуда он и кем работал до войны. Все знали его Батей, Стариком, Дедом. Только члены горкома знали, что фамилия Старика — Сайчик Василий Иванович. Знал об этом и Жан.

— Документы сами подготовите? — спросил Ватик.

— Ну конечно, это уже наша забота, — ответил Жан.

Встреча с Ватиком произошла на Червенском тракте. Там, в глубине небольшого сада, отгороженного от улицы высоким забором, стоял дом, где жил Ватик. Здесь обычно обсуждались серьезные дела.

Сразу же от Ватика Жан направился в бюро пропусков к Зорику. Они уже были хорошо знакомы. Не раз Жан заходил сюда в полицейской форме. Что ж удивительного в том, что молодой человек, секретарь бюро пропусков Захар Галло дружит с молодым, симпатичным полицейским Сашей (так звали Кабушкина многие знакомые). Обычно полицейские были или пьянчуги, или очень тупые люди, не способные вымолвить ни одного толкового слова. А этот — веселый, разговорчивый, приветливый, и служащие городского комиссариата были очарованы им. Стоило ему появиться на пороге, как навстречу несло:

— День добрый, Саша! Заходи к нам!

На этот раз у Зорика было много посетителей — люди стремились за город, чтобы обменять одежду, обувь и другие промышленные товары на продукты. Кабушкин поздоровался и, как старый знакомый да еще полицейский, сел возле стола, за которым работал Зорик.

— У тебя что-нибудь срочное ко мне, Саша? — спросил Захар.

— Подожду. Отпускай людей...

Подготовив необходимые документы, Зорик попросил:

— Я понесу это на подпись к шефу, а ты, пожалуйста, последи за порядком...

— Иди, не беспокойся, — ответил Кабушкин.

Оставшись с посетителями, он начал расспрашивать, кому и куда нужно ехать. Посетители отвечали ему как человеку, от которого в какой-то степени зависела судьба их просьбы.

Вскоре Зорик вынес подписанные пропуска и роздал их. Люди сразу ушли, и они остались вдвоем.

— Ну, говори.

— Мне нужно съездить к хорошим знакомым под Барановичи. Давно уже никого из них не видел... Начальство не возражает, отпускает, — хитро подмигнул Зорику.

Тот улыбнулся:

— Так в чем же дело? Все необходимые документы сегодня же будут готовы. Заходи сюда вечером, получишь...

— Спасибо. Не буду прощаться, увидимся еще.

...Выбрались они утром. Зорик проводил их до городской окраины. Жан и Старик лежали в санях, притулившись друг к другу. Дул северный ветер, на безлюдных, осиротелых улицах кружила метелица. Кабушкин — в кожанке, теплых ватных штанах и новых валенках, — мороз ему не страшен. А на Старике кожанка — заплатка на заплате. Одно ухо рыжей шапки опустилось, а другое задралось кверху. Да и валенки, видать, прошли не одну сотню верст. И он вынужден был зарыться в сено почти с головой.

— Ты уж лежи, Дед, не ворошись, — говорил ему насмешливо Кабушкин, — плотней прижимайся, буду тебе вместо батареи или печки... А не то привезу в Барановичи ледышку...

— Разве лежать согреешься? — возразил Дед. — Выедем за город — бежать буду, это другое дело. А твоего тепла разве для молодой девчины хватит, да и то в майскую ночь...

— Ну вот и совсем меня охаял... — засмеялся Кабушкин. — Впервые слышу такую оценку...

— Видно, люди стесняются сказать тебе правду, — шутил Старик. — А напрасно. Тогда у тебя, может, больше скромности появится.

До Баранович более ста сорока километров. На машине, конечно, это не расстояние, но на лошади надо немало времени, чтоб добраться. О чем только не передумаешь и не переговоришь за такую дорогу!

Кабушкин рассказывал веселые истории из своей жизни. Слушал его Старик и никак не мог понять, откуда же он родом: то с ним произошло что-то в Калинин, то в Ленинграде, то в Казани.

— Мелешь бог знает что... — сказал Дед недовольно. — Откуда же ты сам?

— Откуда? О, родом я издалека, очень издалека.

— Что это — военная тайна?

— Да нет, но зачем тебе? Ну, из Горького я. Слышал про такой город на Волге?

— Конечно, слышал. Но в Горьком такие дурни почитай что не водятся...

Вместо того чтобы разозлиться на Старика, Жан весело захохотал:

— Подловил ты меня, Дед... Один — ноль в твою пользу... Даю тебе слово спортсмена, что ты получишь сдачи...

— Ха, спортсмен... Какой же ты спортсмен?

— Да ведь я в Ленинградском институте физической культуры учился!

— Учился, видать, ты, да недоучился — прогнали за неспособность.

— Меня не очень прогонишь...

Так, в пустой болтовне, коротали они время. Не молчать же все сто сорок километров, как воды в рот набрав. Однако шутки шутками, а дело — делом. Каждый знал, что он обязан смотреть в оба, все замечать и запоминать: откуда черным глазом глядит из снега дот, где широкий противотанковый ров располосовал живое тело белорусской земли, в какой деревне из-за низких крыш торчат стволы

танков. Все это нужно было сохранять в памяти или время от времени особыми знаками заносить в маленький блокнотик, лежавший в кармане Жана.

Документы их были в полном порядке, никакая полиция им не страшна. Едут в гости к родственникам под Барановичи... Притом один из них — полицейский... Подписи, печати минских властей убедительно подтверждали это. Другой также имеет аусвайс, подписанный самим комендантом Минска.

Через Барановичи Кабушкин ехал намеренно тихо, важно, как и надлежит полицейскому, чувствуя себя на десять голов выше простых смертных. Но зоркие глаза разведчика пристально присматривались к военным укреплениям барановичского гарнизона. Вот они — казармы, немного в стороне — гараж... На широкой площади за проволочной оградой ровными рядами в шахматном порядке расставлены орудия. Пересчитал ряды, перемножил. Получилась большая цифра. Надо запомнить ее... На окраине города, возле вокзала, — зенитный дивизион... Какая-то часть грузит на платформы автомашины...

— Вот что, Дед, — сказал Жан, остановившись на глухой улице недалеко от вокзала. — Теперь ты можешь идти по своим делам, а я — по своим... Дел у меня хватит. Ровно через три дня буду ждать тебя на этом же месте.

Спустя некоторое время, объездив нужные улицы города и присмотревшись к размещению немцев, Кабушкин выехал на юго-восток: А вечером он уже был в деревне Грабовец.

Небольшая деревня вытянулась в одну улицу. От самой окраины ее начинался фашистский аэродром.

Лучшей позиции для наблюдения за ним, чем деревня Грабовец, не найти.

В этой деревне и жила у своего брата мать Ивана Кабушкина. Никому, даже Деду, не сказал он об этом.

Появление Ивана было таким неожиданным, что мать не поверила своим глазам.

— Ты ли это? — спросила она, протягивая руки сыну.

Он крепко, порывисто обнял ее.

— Я, дорогая мама...

Мать припала к его широкой груди, и у нее перехватило дыхание то ли от радости, то ли от неожиданности. Так и стояли они молча, обнявшись, в плену невысказанного, беспредельного и зыбкого, как море, счастья.

Потом мать подняла большие карие, не по возрасту ясные глаза. Присмотревшись, она заметила, что сын за то время, пока она не видела его, изменился, очень возмужал. И все же он казался ей почему-то таким же, каким помнила его в детстве, и ей очень хотелось сейчас заслонить его от опасности, от беды, как и в далеком детстве.

— Так ты, может, поесть хочешь, Ваня? — спохватившись, спросила мать и, не дождавшись ответа, добавила: — От радости я и забыла, что ты с дороги. Раздевайся, сыночек, я сейчас, сейчас...

— Да поесть не мешало бы, — согласился Иван, сбрасывая кожух. — Дорога у меня большая. Из Минска я приехал, мама. Пока никого нет, хочу предупредить тебя: всем, кто будет спрашивать обо мне, скажи, что я служу в полиции в Минске. Такие у меня документы, об этом не беспокойся. А тебе признаюсь, что я от партизан приехал. Дела у меня здесь есть разные...

— Сыночек, родненький, только не здесь, — с тревогой в голосе предупредила мать. — Сам видишь,

что делается в деревне, вон какой аэродром рядом...

— Хорошо, хорошо, мама, не волнуйся. Только вот пойду посмотрю коня, дам ему есть. У дяди есть сено?

Дядя жил в той же хате, только через коридор. Ему Иван не признался, по какому делу приехал. Пусть думает, что хочет, но так лучше.

Сено у дяди, конечно, нашлось. Посмотрев коня, Иван вернулся в хату.

Там уже собрались соседи, услышавшие, что к старой Кабушихе приехал сын. Каков он, этот сын, никто не знал, ведь сама Кабушиха после замужества здесь не жила и к брату приехала только перед самой войной. Но кому не интересно посмотреть и узнать, зачем приехал сын!

Особенно заинтересовались девчата: по деревне разнесся слух, что приезжий хлопец и статный, и красивый, и веселый (откуда только берутся такие сведения!). И сколько же разных дел к бабке Кабушихе и ее родственникам сразу нашлось у односельчан!

Обращаясь к Ивану, обязательно спрашивали:

— Где же вы живете? Где работаете?

— В Минске, в полиции...

Эти два слова воздвигали между ним и его земляками невидимую, но весьма ощутимую стену. Люди хотя и разговаривали с Иваном и улыбались ему, но в каждом слове и улыбке Иван чувствовал холод, отчужденность. Видно было, разочаровались в нем земляки.

Что же, пусть так. Это лучше. И более надежно. Вон совсем рядом гудят вражеские самолеты.

Отсюда они несут смерть туда, на восток, на головы его братьев. Он сам не в силах остановить эту смерть. Но сведения, которые он собирает, будут использованы для разгрома врага.

Мать очень удивлялась, что это он так рано просыпается: чуть зорька — уже на ногах. То ремонтирует совсем еще новые сани, то меняет в хлеву подгнившее бревно.

Раннюю тишину обрывало скрипение фашистских сапог. Вскоре начинали гудеть моторы самолетов. Когда к аэродрому шли немецкие легчики, Иван незаметно следил за ними и считал их. Запоминал, прикидывал, сколько здесь примерно стоит самолетов.

Днем, притворяясь веселым, беззаботным хлопцем, у которого на уме одни лишь девчата, он между прочим расспрашивал у своих односельчан и о летчиках, и о самолетах, и о дорогах, ведущих к аэродрому, и об охране — обо всем, что могло понадобиться подпольному горкому партии.

Приближалось время расставания с матерью.

— Останься, сыночек, — горячо просила она, — хоть на три дня еще! Коляды начинаются. Никто не попрекнет, если скажешь, что мать задержала. Да и жизнь теперь такая, что один бог знает, увидимся ли...

Чувствовало материнское сердце, что это их последняя встреча и последнее прощание. Даже на войну с белофиннами посылала она с меньшей болью и страхом.

— Прошу тебя, останься хоть на один день...

— Нет, мамочка, не могу. Меня ждут. Не могу!

А спустя несколько дней вместе с Дедом Иван вернулся в Минск, где их уже ждал Ватик.

Старательно записав сведения, собранные разведчиками, он сказал на прощанье Ивану Кабушкину:

— Молодчина, Жан, благодарю. Сведения твои очень ценные.

Сумрак уже сгустился над городом, когда Жан подходил к своей квартире. По привычке он не сразу

открыл калитку, а сначала прошел мимо нее, — ведь надо же убедиться, что нигде нет ничего подозрительного. Перешел на другую сторону улицы и, чтобы хоть немного изменить свой вид, высоко поднял воротник кожаной шапки и надвинул шапку на лоб. Когда уже во второй раз подходил к своей квартире, заметил, как от сарайчика отделилась фигура дюжего парня и пошла ему наперерез. Жан ускорил шаг, и незнакомец также зашагал быстрее. Улучив момент, Жан перемахнул через невысокий забор и нырнул в густые кусты ягодника. Позади послышалось несколько выстрелов. Пули прозвенели над самой головой.

Жану показалось, что он ощущает их горячий след в воздухе.

Круто повернув налево и перескочив еще один забор, он огородами вышел на другую улицу и, минуя квартал, вышел на третью. Теперь уже нельзя оставаться в районе Червенского рынка. Нужно быстрее пробираться к центру города. Там его, наверно, искать не будут. Кстати, в маленьких деревянных домиках, что прилепились внизу, за Домом правительства, у него есть надежные люди. Они могут временно спрятать. Тогда можно будет и обдумать, что делать дальше.

«И кто же это подкараулил меня? — думал Жан. — Или, может, выслеживал еще кого?»

В голове одно за другим всплывали события последних дней перед поездкой в Барановичи.

Вспомнился один небезопасный случай. Но, казалось, след тогда он замел удачно...

А было оно так.

Вечером Жан шел со своим другом по улице. Неподалеку от вокзала они почувствовали «хвост».

— Что делать? — спросил друг.

— Нужно убрать, — оглянулся и твердо сказал Жан. — Нож у тебя есть?

— В кармане.

— Хорошо. Сейчас минуем канализационный колодец и пойдем обратно, навстречу шпику. Если он не шпик, мы ничем не рискуем. Если же убедимся, что это шпик, — стукнем и... в колодец.

— Согласен. Только давай сначала проверим его. Обойдем квартал и снова вернемся сюда. В случае чего приберем. А то как бы не ошибиться.

— Правильно. Пошли!

Они зашагали медленней, и тот, сзади, тоже пошел тише. Они повернули за угол — и он за ними.

Еще раз повернули — уже совсем на пятки наступает. Видно, осмелел, ведь совсем рядом — СД.

Верно, считал уже свои жертвы в западне и потому смело приближался. А может, в темноте плохо видел и боялся потерять добычу...

Но произошло неожиданное. Дойдя до колодца, Жан и его товарищ вдруг повернули назад и пошли на сближение со шпиком. Он не ожидал такого маневра и по инерции шел им навстречу, растерянно замедляя шаг. Вдруг он начал судорожно вытаскивать из кармана пистолет, который, видно, за что-то зацепился. Однако его опередили хлопцы. Жан успел схватить руку, которая доставала пистолет, а его друг зажать рот. Тут же он ударил гестаповца ножом.

Все произошло мгновенно. Сильным рывком открыли люк колодца и бросили туда труп.

Улица была совсем безлюдная, темная.

— Теперь, братец, быстрее, — закрыв люк, сказал Жан. — Пойдем в разные стороны, а то еще какой-нибудь прицепится... Пока!

И все же Жану в тот вечер показалось, что кто-то наблюдал за ним, когда он подходил к своей квартире.

«Это, видно, нервы расходились...» — успокоил он сам себя.

Однако после этого случая ни разу не выходил на улицу через калитку, а всегда пробирался огородами. И вот, несмотря ни на что, выследили, подкараулили, гады... Теперь на старую квартиру дорога закрыта. Нужно искать приют в другом районе города.

Но обосноваться в городе ему не пришлось. Через неделю из отряда Ничипоровича за ним приехала связная Надя Голубовская. С нею перебрался Иван Кабушкин в партизанский лагерь.

Январский мороз вошел в силу. Он щедро развесил иней на старых ветвистых вербах и тополях, рассыпался снежным пухом по закованной льдом Свислочи, серебром сверкал в прозрачных облаках, щипал за носы прохожих. В такое утро и на впалых щеках выступает яркий румянец.

Борис Бывалый то и дело потирал свой нос мягкой пуховой перчаткой. Он ехал по знакомым улицам и с любопытством присматривался ко всему, что попадалось на глаза. Чувствовал он себя свободно, уверенно. Одежда на нем была хорошая, как у зажиточного человека: богатый кожух, теплая шапка, новые валенки. Документы сработаны безукоризненно. Живая, гладкая лошадка резво перебирала ногами и весело екала: видно, не только сеном кормлена, но и овсом лакомилась. Возок также был отменный, красивый, сработанный руками опытного мастера. Вряд ли кому могло прийти в голову, что по городу едет партизан из самых глухих лесных чащоб.

Путь его лежал на Лавскую набережную. Этот уголок города, хотя и находился рядом с центром, имел вид обыкновенной деревни. Домики все деревянные, строились когда-то дедами без всякого порядка. Видимо, каждый хозяин заселял берега Свислочи, как ему нравилось. По берегу проходило нечто похожее на улицу. Улица эта высоко поднята над водой, так как тихая, ласковая Свислочь иногда бурно разливалась весной и затопляла все кругом. Случалось, вода доходила до самых крыш. Зато растительность здесь, в затишке, на сыром берегу реки, росла буйно, почти совсем закрывая отдельные домики.

Остановился Бывалый около восемнадцатого дома, в котором жила Софья Гордей. Бывалого и прежде, до ухода в партизаны, соседи часто видели здесь и считали родственником Софьи Антоновны. Никого не удивило, что он снова появился.

Гость чувствовал себя как дома. Но засиживаться не было времени. Владимир Ничипорович прислал его, секретаря парторганизации отряда, как своего уполномоченного за помощью, обещанной подпольным горкомом партии.

На второй же день Бывалому сообщили, что его ждёт Славка. Связной, пришедший на Лавскую набережную, повел его за собой.

Славка был не один. Собрался весь подпольный горком: Григорьев, Заяц, Омелянюк, Семенов, Никифоров. Присутствовали люди, которых Бывалый не знал. Поздоровавшись, он сел возле порога, но Славка пригласил его поближе к себе.

— Садитесь здесь, возле стола. Мы все хотим послушать ваши новости.

— Новин у меня пока небогато, — начал докладывать Бывалый. — Делаем налеты на небольшие гарнизоны. Больше всего работы у минеров. Раз пять устраивали большие крушения поездов. Но пока что пополняем слабо. Владимир Иванович просил передать вам, товарищи, что нужно направлять в партизаны больше рабочих. Они цементируют отряд... Очень нужны нам медикаменты, сахар или сахарин. В лесу ведь живем, морозы собачьи, а шубы — на рыбьем меху, ни валенок, ни теплых шапок. Раненым хотя бы чаю с сахарином дать.

Слушали все внимательно и беспрестанно дымили сигарками.

— Откройте, пожалуйста, форточки, — попросил Славка. — И меньше курите, товарищи. Дышать нечем...

Бывалый сообщил, что отряд захватил в одном немецком гарнизоне небольшую пушку — она очень пригодится при разгроме гарнизонов, но ее нужно отремонтировать. Вот бы найти хороших мастеров.

— Ну, это не проблема, — спокойно заметил Славка. — Хороших специалистов мы дадим вам столько, сколько нужно. Было бы что ремонтировать...

— Кроме того, нам очень нужно типографское оборудование, — продолжал Бывалый. — Фашисты распускают по деревням самые невероятные слухи о положении на фронтах. Этой брехне необходимо противопоставить большевистскую правду. Но без вашей помощи мы не сможем оборудовать типографию.

Из информации Бывалого перед подпольщиками возникало много задач. Члены горкома задумались. Первым взял слово Степан Заяц:

— Недавно у меня был Саша Макаренко, комиссар отряда Василя Воронянского, что на Логойщине. Он тоже просил нашей помощи. Саша, правда, не обижался на нехватку людей. Железнодорожная организация направила ему свыше ста человек. Но он просил медикаментов и листовок. Значит, вопрос, поставленный товарищем Бывалым, выходит за рамки одного отряда. Нам, горкому, нужно хорошо продумать меры помощи всем отрядам, действующим вокруг Минска.

Его поддержал Володя Омелянюк.

— Я целиком согласен со Степаном Ивановичем, — сказал он. — Мне также довелось готовить людей в отряд «Дяди Васи». Желающих очень много. Но мы не имеем права посылать всех, кто пожелает. Это могут использовать враги и заслать в партизаны свою агентуру. Нужно установить персональную ответственность подпольщиков за рекомендованных в отряды людей.

— Замечание справедливое, — поддержали члены горкома.

— Здесь товарищ Бывалый говорил о типографском оборудовании, — продолжал Володя. — Я нашел новую возможность добывать шрифты. Правда, дело это нелегкое, но через некоторое время мы будем иметь все необходимое для выпуска листовок. Позаботимся о том, чтобы обеспечить типографией не только Ничипоровича, но и другие отряды... А пока листовки лучше печатать в Минске.

Выслушав членов комитета, Славка подвел итоги:

— Просьбу двести восьмого отряда, по-моему, мы можем удовлетворить сегодня почти полностью. После заседания я дам Бывалому адреса явочных квартир, где он получит два котла для приготовления пищи, теплую одежду, медикаменты. Сахарина у нас нет, но мы можем дать деньги, чтобы закупить его на рынке... Никто не возражает?

— Какие могут быть возражения? — удивился Ватик. — Дело святое...

Когда первый вопрос обсудили, Бывалый поднялся, чтобы пойти, но Славка остановил его:

— Сядьте, товарищ Бывалый. Теперь будем решать общие дела, — может, что-нибудь посоветуете.

Мы наметили создать еще один отряд для Узденского района. Командиром назначен капитан Никитин. Давайте заслушаем его, как идет подготовка для отправки отряда в лес.

Никитин сидел тут же, в уголке, и, когда его назвали, по военной привычке поднялся и стал по

команде «смирно». Бывалый присмотрелся к нему.

В этом крепком, чубатом человеке с резкими, грубоватыми чертами лица он почувствовал не только военную дисциплинированность, но и светлый ум. Говорил Никитин коротко, только о самом существенном, избегая мелочей. Из его доклада вытекало, что костяк будущего отряда уже готов. Со всеми людьми, которых подпольные организации рекомендуют ему, он уже разговаривал. Правда, людей еще не так много, но для начала хватит. Нужны документы, чтобы вывести их за город.

Никитин просил поручить это дело железнодорожникам, пусть подвезут хотя бы до Негорелого, а там можно и пешком добраться... Если не весь отряд, то хотя бы часть...

— Подчеркиваю, — сказал в заключение Никитин, — из города мы берем только костяк отряда, расти думаем за счет местного населения.

— Раздобыть документы поручим Ватику, — сказал Славка. — С железнодорожниками я посоветуюсь, — может, сумеем перебросить часть людей на паровозах. А пока что нужно заняться подготовкой. Во-первых, необходимо усилить добычу оружия. Во-вторых, все, кто собирается в отряд, должны достать теплую одежду. И мы обязаны помочь им в этом. Я, в частности, берусь кое-что достать из гетто.

В заключение Константин Григорьев проинформировал, как готовится к отправке в лес партизанский отряд под командованием капитана Асташонка.

Расходились довольные. Подполье развертывало свою деятельность. Вступали в бой не смельчаки-одиночки и не маленькие, изолированные группки, а боеспособные партизанские отряды, созданные партийной организацией, подчиненные ей.

Город, в котором до сих пор слышались только редкие выстрелы, вставал на великую организованную борьбу.

Казалось, зима, разбуженная орудийным гулом, пришла в ярость и мстила всему живому. Она душила лютыми морозами, засыпала землю огромными, как горы, снежными сугробами. Немцы жаловались, что природа действует в сговоре с большевиками...

Но тяжело было не только фашистским воякам. В холодных, нередко полуразрушенных домах ютились голодные семьи советских воинов и партизан. Маленькие дети мерзли, просили ослабевшими голосами:

— Мамочка, есть!.. Мамочка, хлеба...

А где мать могла взять этот кусочек хлеба? Весь хлеб — у врага. Даже тем, кто работал на предприятиях, фашисты выдавали считанные граммы.

Из подпольного горкома партии передали распоряжение: принять все меры к тому, чтобы обеспечить продуктами семьи советских воинов, партизан и эвакуированных на восток рабочих.

Руководители железнодорожной парторганизации собрались на совещание. Думали и спорили, вносили много предложений и тут же отклоняли их, как нереальные.

— Шуточки — прокормить сотни семей! — взволнованно говорил Степура. — Для своей группы и то еле добываем кое-что. Вон Балашов сколько раз ездил в Городею? Даже хворым прикидывался, чтобы освободиться на это время от работы. Да и то сказать — сколько один человек может привезти? Нужно придумать что-то другое, более существенное.

— Знаете, что я скажу? — вдруг подхватился Кузнецов. — Давайте посоветуемся с Федором Живалевым, с Боровиком, Смоленским. Поручите это мне. Есть у меня одна мысль, и, если они

поддержат, хлеб будет...

— Действуй, — не возражал представитель горкома. — Только откладывать на долгое время нельзя — дети пухнут с голода.

После смены Кузнецов встретился с Живалевым. Разговаривали, ничего не тая друг от друга.

Машинист водокачки Живалев — коммунист, человек очень энергичный. Бездеятельность мучила его. Уже давно он просил Кузнецова:

— Поручите мне какое-нибудь дело. Не могу сидеть и смотреть, как эти клопы ползают по нашей земле... Душить их хочется...

— Подожди, не горячись, — успокаивал его тогда Кузнецов. — Дело будет, да еще и не одно. В наших условиях без выдержки легко голову потерять...

Теперь он напомнил Живалеву о их прежнем разговоре и разъяснил распоряжение горкома партии.

— Ты можешь хорошо помочь организации, — сказал Кузнецов. — На водокачке есть большие запасы горючего и топлива. Меняй их крестьянам на хлеб и продукты. Конечно, это нужно делать осторожно, чтобы не провалиться. Помни, речь идет о здоровье и даже жизни многих детей.

Живалев не колебался:

— Согласен. Только пусть хлопцы найдут крестьян, которые пойдут на такой рискованный обмен. Ведь и тому, кто даст продукты, грозит опасность не меньшая, чем мне.

— Об этом мы позаботимся. Если машинисты будут выезжать за город, то найдут надежных людей. Партизан попросим, они помогут.

Спустя несколько дней на товарную станцию приехала подвода с хлебом, крупой, мясом, салом. Она остановилась неподалеку от водокачки. Приезжий зашел в дежурку, поздоровался с Федором Живалевым, как с родственником, завел длинный разговор о деревенской жизни, о хозяйственных делах. Потом крестьянин поехал с керосином и бензином к знакомым горожанам на ночлег, а Живалев потащил свою ношу с частью привезенных продуктов на явочную квартиру.

А назавтра руководители организации распределяли продукты среди тех, кто наиболее в них нуждался, кому грозила голодная смерть. Несколько раз Живалев передавал бензин Балашову, когда тот ехал в Городею, и Балашов менял там горючее на продукты.

Однажды Живалев, сдав очередную выручку, вернулся на водокачку. Мороз пробирал до костей. В маленькой, тесной дежурке было тепло, уютно. Федор долго хлопал руками, согревая оковеневшие от холода пальцы. Потом спросил своего бригадира Смоленского, принявшего дежурство:

— Ты не знаешь, когда прокладывали нашу сетку от Свислочи к водокачке?

— Лихо ее знает. Видно, при царе Горохе. Она еле держится.

— Вот в том-то и дело, что еле держится, а все держится. Не лучше ли было бы, чтоб не держалась?

— Конечно, лучше, но что ты сейчас сделаешь? Ведь она закована в мерзлой земле, как ты до нее доберешься, да еще чтоб немцы не заметили?

— Зачем в землю лезть? Пусть они туда лезут. Можно сделать так, что комар носа не подточит.

Фрицы даже хвалить будут...

— Что ты имеешь в виду?

Хотя в дежурке, кроме них, никого не было, Живалев шепотом объяснил свой план Смоленскому.

— Ты прав, — подумав, проговорил тот.

— Только нужно сначала заработать похвалу хозяев за усердие...

— И это правда, — снова поддержал Живалев Смоленский. — Завтра и начнем зарабатывать похвалу.

На другой день Живалев обратился к немцу, приставленному наблюдать за работой водников:

— Пан, вы знаете, что паровозам не хватает воды?

— Яволь! — согласился тот.

— Мы, с вашего разрешения, можем дать воды сколько угодно... У нас есть запасные помпы, очень сильные, они обеспечат все депо...

— Гут, гут! — обрадовался немец. — Я зналь, что ты умный... Я сказалъ начальник депо — ты будешь иметь марки...

— Спасибо, пан, я стараюсь помочь немецкой армии.

— О, дойч райх умеет ценить старательных...

Живалев медленно включил запасные помпы. Они ровно зашумели. Казалось, живое существо проснулось от летаргического сна, сердце его начало работать ритмично и спокойно. Вода мощным потоком хлынула в водонапорную башню. Фашистский надсмотрщик с довольным видом следил за работой Живалева, а затем, ослабившись, похлопал его по плечу:

— О, гут, гут, зер гут! Ты умный мастер! Герр начальник отметит тебя!

— Спасибо, — усмехаясь, ответил Живалев.

А через два дня, улучив момент, когда немец стоял совсем рядом, но смотрел в другую сторону, он чуть заметным движением руки включил помпы на всю их мощность. Механизмы недовольно заревели. Не прошло и несколько минут, как шум изменился. Помпы словно задохались, натужно сопели и фыркали... Вода прекратила свой стремительный бег.

Живалев развел руками, втянул голову в плечи и смотрел на немца так, будто от того зависело, работать водокачке или нет. А немец в свою очередь вытаращил глаза на него, ожидая ответа, почему так шумят машины.

— Что-то случилось, пан.

— Хальт машина, хальт! — крикнул, опомнясь, фашист. — Вас махтс ду?

— Махай, не махай — капут машине, — по-своему объяснил слово «махтс» Федор. — И сам незнаю, что стряслось... Сдается, вода перестала поступать в помпы. Что-то произошло с водопроводом.

Проверить обязательно нужно. Водокачка остановилась.

Проходил день, второй, пятый, десятый... Мороз крепчал. Без воды паровозы замирали. Около трехсот их скопилось в депо, покрываясь толстым слоем снега.

Гитлеровцы бросились ремонтировать водопроводную сеть. Но где там! Попробуй найти в твердой, как бетон, земле все порванные места! Несколько таких участков нашли, начали латать, однако старый водопровод уже не выдерживал ремонта, ломался. А сколько порванных участков еще скрывалось в мерзлом грунте под толстым слоем снега! Возиться со старой сетью больше не было смысла.

А паровозы стояли.

Их собирали вместе по десять — двадцать штук, гнали к мосту через реку Свислочь и накачивали воду. Но таким образом много не наберешь.

Железная дорога была парализована. Уже в первые дни набралось около пятидесяти вышедших из строя паровозов — гитлеровцы вынуждены были гнать их в Германию на капитальный ремонт.

Тогда немцы поставили на прокладку новой сети большую группу военнопленных и подразделение ТОДТ. Военнопленные работали вяло — только бы прошел день. Да и сами немцы из строительной организации, посиневшие от лютого холода, сгорбленные и молчаливые, не проявляли особый прыти.

Паровозы по-прежнему стояли.

Гитлеровцы поручили нашим машинистам разогревать некоторые локомотивы. Балашов, Иващенко, Ладышев, Карсека раскаляли замерзшие паровозы так, что металл не выдерживал — рвались стенки, решетки.

Немцы не догадывались, что это делалось умышленно. Они считали русских машинистов неучами, тупыми и ограниченными людьми.

Все новые и новые партии негодных паровозов направлялись в Германию на капитальный ремонт...

Юлиан Крыживец был опытным машинистом, но он не признался в этом оккупантам и работал чернорабочим: где чистил пути, где грузил...

Проходя однажды по депо, он заметил, что возле деревянных водонапорных баков лежит в бумажных мешках каустиковая сода. Как она здесь очутилась, трудно было сказать. Видно, кто-то выбросил в спешке, да и забыл о ней. Юлиан обошел мешки, посмотрел на лесенку, которая вела к бакам, и спокойно пошел домой.

Вечером он вернулся сюда. Огляделся. Поблизости никого не было. Где-то поодаль, хрипло подвывая, неторопливо сновал небольшой маневровый паровозик. Потом в стороне, около депо, послышалась немецкая речь. Юлиан присел, спрятался в тени опор, на которых стояли баки. Голоса немцев постепенно стихли.

Убедившись, что теперь его никто не увидит, Юлиан взвалил на плечи мешок и, пригнувшись, немного покачиваясь на ступеньках, поднялся по лестнице. С шипением, выделяя резкий смрад, сода посыпалась в баки.

«Наверно, этого мало, нужно добавить», — подумал Юлиан.

Снова осмотрелся, прислушался и, не заметив ничего подозрительного, понес наверх еще один мешок.

Когда сошел, было совсем темно. В стороне товарной станции маневровый паровоз пускал клочья дыма.

Сколько лет Юлиан Крыживец вдыхал запах горелого каменного угля. Пусть от этого запаха долго першит и щекочет в горле. Но машинисту он казался привычным, родным. С ним была связана вся трудовая жизнь Юлиана, вся его рабочая биография.

А вот теперь опытный машинист Крыживец вынужден издалека смотреть, как без него уже бегут по рельсам огромные послушные стальные богатыри, вспоминать, как мелькают вдоль дороги телеграфные столбы, как мчатся навстречу города и деревни...

Ну и что же — он сам не захотел работать на паровозе. Теперь его душа жаждала разрушения, хотелось уничтожить все, что служит врагу, даже если это и любимый паровоз. Жажда мести за искалеченную, обворованную жизнь привела беспартийного Юлиана Крыживца в одну подпольную организацию с коммунистами.

Прошло два дня, и деревянные водонапорные баки потекли. Сначала вода сочилась несмело и замерзала длинными стрелами-сосульками, а потом хлынула струйками, как из решета.

Гитлеровцы бегали вокруг, не знали, что произошло. Дерево было крепкое, почти новое — и вдруг совсем развалилось. Спешно искали металлические цистерны, укрепляли опоры и устанавливали новые баки. На все это потребовалось несколько дней.

А паровозы снова стояли.

Наблюдая, как фашисты мечутся возле того места, где он так удачно поработал, Юлиан радовался. Хоть немного допек гадюкам — смотри, кишат как! Подождите, не то еще будет.

Вскоре он шел с работы домой через поворотный круг. Тишь. Безлюдье. Только на запасном пути, почти возле самого круга, едва пытит паровоз. Юлиан подошел к нему. В будке машиниста никого не было. Видно, здесь работал немец. Русским машинистам отходить от паровоза запрещалось. А этот бросил локомотив и ушел... Юлиан подошел к паровозу, открыл регулятор, свел реверс с центра и сам нырнул под товарные составы, стоявшие на путях.

Постепенно в цилиндрах паровоза нарастало давление. Наконец колеса сдвинулись с места, и, набирая скорость, паровоз пошел к поворотному кругу. Над котлованом он покачнулся и с треском полетел вниз.

А Юлиан Крыживец тем временем уже пробрался на Вирскую. Оттуда направился домой, на Чкаловскую.

Там его ждал Балашов. Увидев взволнованного хозяина, он спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного. Еще одному паровозу капут!

— Как это?

Крыживец рассказал, как удачно получилось с баками и с этим паровозом. Балашов внимательно слушал. Еще совсем молодой человек, он за последние месяцы возмужал, похудел, щеки запали, нос заострился. Карие глаза светились более сосредоточенно, серьезно. О подпольных делах Балашов говорил спокойно, скупно:

— Вот видишь, как много мы можем сделать, если приложим старание. Тут я принес вам с Иващенком мины, — и развернул сначала один пакет, в котором лежал кусок антрацита. — Эту подбросьте в уголь на паровозе, который будет вести немец. Только не промахнитесь, своему не подложите. — Из другого кармана достал еще два сверточка. — А это — магнитные. Приладьте к составу с боеприпасами или с бензином. Рассчитайте так, чтобы взрыв произошел часа через два-три после отхода состава со станции. Я на какое-то время исчезну. Дела есть. Всего!

Две мины были в скором времени использованы с хорошими результатами. А одна еще оставалась дома у Крыживца. Хотя в семье Юлиана не было верующих, для маскировки достали икону и повесили ее в маленькой боковой комнатке. За иконой обычно прятали листовки, а на этот раз положили мину.

Домик Крыживцов стоит на краю улицы Чкалова, в окружении таких же маленьких домиков. Густые сады закрывают их почти со всех сторон. Однажды, как только Юлиан пришел после работы, к нему, запыхавшись, прибежал соседский хлопец и крикнул еще с порога:

— Обыск!

У Юлиана захолонуло сердце: мина! Она лежала за иконой.

Бережно держа в руках сверток с миной, он выскочил на кухню. Перепуганная, побледневшая теща стояла там, беспомощно опустив руки, и смотрела в окно.

Гестаповцы зашли уже в соседний домик. Еще несколько минут, и они будут здесь. Вдруг Юлиан приказал:

— Мать! Быстренько раздевайся, раскудрявь волосы да ложись в постель! Быстрой, быстрой! Обычно ласковый, вежливый со старухой, он сейчас почти силой втолкнул ее в боковушку.

— Скорей, скорей, пока они не вошли!

Дрожащими руками перепуганная женщина сорвала с себя верхнюю одежду, взлохматила волосы и залезла под одеяло как раз в тот момент, когда фашисты застучали сапогами на ступеньках крыльца. Юлиан сунул мину под подушку.

— Документы! — грозно крикнул старший гестаповец.

Юлиан быстренько достал паспорта всей семьи, аусвайсы. Брезгливо, двумя пальцами офицер взял документы, перелистал.

— Где работают?

— На железной дороге.

Офицер повернул голову к боковой комнатке. Через открытую дверь увидел на подушке взлохмаченные волосы и бледное лицо старухи.

— Что с ней?

Юлиан немного помолчал, а затем жалобно проговорил:

— Ти-фу-с...

Гестаповца будто шилом пырнули в бок. Швырнув документы, он рывком повернулся к двери, а за ним бросились и остальные.

— Вставай, мать, спектакль кончился, — весело позвал Юлиан тещу, когда немцы по узенькому переулку почти бегом выскочили на улицу Чкалова.

— Нет, я еще полежу, — часто дыша, слабым голосом сказала старуха. — Дрожит во мне все — думала, умру со страха...

После пережитой опасности и у самого Юлиана сердце отошло не сразу. Вдруг нестерпимо захотелось есть. Хлебая затирку, напряженно думал. Хорошо, что пронесло лихо. Нужно найти какое-нибудь другое место для мин. А эту необходимо завтра же пустить в ход. Нечего откладывать. Тем более, что поезда стали чаще проходить на восток через Минск.

На следующий день вместе с Иващёнком, взяв инструменты и мину, пошел на товарную станцию. У обоих были аусвайсы железнодорожников. Да и так их хорошо здесь знали, поэтому никто не обращал на них внимания. А они долго шныряли между составами, выбирая, в какой положить мину. Самым подходящим оказался состав, нагруженный бочками с бензином. От знакомых железнодорожников, дежуривших в то время, узнали, что с товарной этот поезд должен отойти с минуты на минуту: паровоз под него уже подан. Мина рассчитана на взрыв через два часа. Все это очень подходило. Выбрали в середине состава платформу, на которой стояло больше всего бочек, подошли к ней, будто бы проверяя исправность колес, постучали для порядка молоточками и, улучив момент, когда часовой повернул в другую сторону, сунули мину между бочками.

Состав двинулся с товарной. Крыживец, Иващёнок вздохнули с облегчением. Однако радоваться было еще рано: поезд неожиданно задержали на пассажирской. Подпольщики следили за ним и напряженно ждали, когда же наконец он выйдет из города. А он все не трогался с места. Хотелось замедлить бег времени, чтобы дать этому поезду выбраться из города. Там, в поле, ему сподручней

вспыхнуть пламенем. Взрыв же здесь, на станции, весьма опасен и для жителей города, и для самих подпольщиков — он вызовет подозрение гестапо. А сделать они уже ничего не могли...

Ровно через два часа глухо содрогнулась земля, и над станцией поднялся огромный столб багрового огня и черного дыма. Пожар мгновенно перебросился на другие вагоны. К составу нельзя было подступиться. Рвались все новые и новые бочки, разливая вокруг бурливое море огня.

Гитлеровцы приказали русским машинистам отгонять составы, стоявшие поблизости.

Несколько часов над станцией бушевал огонь, слышалась стрельба. Вокруг метались эсэсовцы, ища диверсантов. По городу поползли слухи, что на Минск сброшен советский десант и на железнодорожном узле идет бой...

Где бы в эту минуту ни были подпольщики, они с радостью любовались, как полыхает огнем вокзал. Значит, хорошо потрудились кто-то из их товарищей!..

Группа, работавшая в депо, не только радовалась успеху товарищей, но и сама делала все для того, чтобы паровозы чаще портились. Держались подпольщики вместе — слесари Шкляревский, Шатько, Девочко, Богатель, техник Нитиевский. Легче организовать диверсию, если рядом только свои.

В депо пригнали неисправный паровоз. Нитиевский, осмотрев его, нашел поломки даже там, где в действительности их и не было. Чем больше простоит локомотив в депо, тем меньше военных грузов перевезет он на фронт.

Работали не торопясь. Правда, делали вид, что все очень озабочены, суетились, даже покрикивали друг на друга — подгоняли, а паровоз все стоял...

Когда задержка стала очень подозрительной, кое-как отремонтировали поврежденные детали. Но перед самой отправкой Константин Девочко насыпал в подбивки букс песку.

Через два дня тот же паровоз снова притащили в минское депо.

— Что с ним? — удивленно, будто бы ничего не зная, спросил Нитиевский немецкого машиниста.

— Около Бреста буксы сгорели, — ответил тот.

Снова начался затяжной ремонт.

И так почти каждый день — если не песок, то металлические стружки, наждак каким-то таинственным для немцев образом попадали в масло или прямо на паровозные буксы, в подбивки, то вдруг в пути масло загоралось. Правда, такие диверсии не вызывали столько шума и суеты у гитлеровцев, как взрывы мин, но в общем деле и они что-то значили.

Борьба непрерывно нарастала, принимала все новые и новые формы. Тесней становилась связь железнодорожников-подпольщиков с партизанским отрядом Василя Воронянского, где комиссаром был Макаренко. словно челнок, сновал между отрядом и железнодорожным узлом партизанский связной Саша.

О нем нужно сказать особо.

...Сколько еле приметных партизанских тропинок, проложенных совсем детскими ногами, скрывали от вражеских глаз родные белорусские леса и дубравы, пуши и перелески! Сколько раз в жару прятались в их тени юные разведчики и связные! Какими манящими, желанными и любимыми были они, леса и пуши, для партизан и зимой, когда приходилось пробираться из оккупированного города! Среди тех, кто горячо любил родные дубравы, пуши и перелески, был и юный партизанский связной Саша. Мне неизвестно, жив он теперь или нет. Может быть, работает где-нибудь на родной земле, которую заслонял тогда своей исхудалой грудью подростка, и только иногда, в свободное время,

рассказывает теперь своим детям о боевых годах. А может, погиб в бою или в застенках СД? Ни фамилии его, ни откуда он родом никто из бывших подпольщиков не знает. Только осталось в их памяти имя Саша.

Был он невысокого роста, всегда подтянутый, ловкий. Перешитая, с чужого плеча шинель его была подпоясана широким военным ремнем, из-под сдвинутой немного набок буденовки светилось круглое личико с пытливыми, любопытными глазами. Вот таким он и остался в памяти подпольщиков — маленький храбрый солдат великой партизанской армии.

Всякий раз, когда нужно было привести из города новое пополнение, Александр Макаренко посылал своего юного тезку и был уверен, что все обойдется хорошо. Саша знал адреса явочных квартир. Приходил в город, устраивался и ждал, пока подпольщики подготовят и соберут людей для отправки в лес. Обычно группа подбиралась небольшая — человек семь-десять надежных, хорошо проверенных рабочих. Всем им заготовливались документы, необходимые для выхода из города. Отправка приурочивалась к базарному дню. Тогда в общей толпе крестьян и выходили в лес железнодорожники.

Саша шел впереди. Маленький, до смешного серьезный, он и походкой своей хотел быть похожим на военного. Тайна, которую он должен сохранять, сложность обстановки, в которой он действовал, придавали романтическую окраску его детским чувствам, и порой он сам, видно, не мог разобраться, то ли он действительно воюет, то ли играет в большую, тяжелую и опасную игру. Взрослые подпольщики нередко видели, как ухарски задорно блестят его глаза, как хочется ему выкинуть по-мальчишески какую-нибудь штуку. Но сложная жизнь вынуждала держать себя в узде, и мальчик быстро гасил свой задор и опять становился по-взрослому серьезным и рассудительным.

Особенно подтягивался и настораживался он при встрече с полицейскими постами и патрулями. Ни одного лишнего слова не срывалось с его губ, ни один мускул на его круглом личике не выдавал внутреннего напряжения. Смотрел Саша в глаза полицейским открыто, смело, не моргая, отвечал на все их вопросы бойко, решительно, не задумываясь, но коротко, скупно.

— Куда прешься? — хватал его за воротник полицейский.

— Пусти, дяденька, домой иду, — пытался он выскользнуть из цепких лап.

— Где живешь?

Саша называл деревню, расположенную километрах в пятнадцати — двадцати от Логойска. У него на всякий случай даже бумаги были за подписью старосты деревни. Не теряя времени, он вытаскивал из кармана свой мандат и показывал полицию.

— Зачем в город приходил?

— Тетка у меня здесь есть, к ней приходил.

— Где живет твоя тетка?

Саша называл один из адресов, где его, в случае надобности, могли бы признать за племянника.

Не заметив ничего подозрительного в этом худом, наивном мальчишке, полицейский отпускал его.

Вырвавшись, Саша, с виду спокойно, шел дальше. А мальчишеское сердце наполнялось гордостью при одной мысли о том, что взрослые, серьезные и смелые люди идут по его следу. Комиссар отряда товарищ Макаренко не каждому поручает такое ответственное дело!

Говоря Крыживцу, что он исчезнет на некоторое время, Балашов ничего не выдумывал.

Действительно, горком предложил ему целиком отдаться делам подполья. Их уже набралось много.

На железнодорожном узле работала группа военнопленных. Измученные, обессиленные, они мечтали только о том, как бы вырваться на волю и снова взяться за оружие. Железнодорожники постепенно сошлись с ними, сблизились.

— Хлопцы, помогите убежать! — просили пленные рабочих. — Ведь вы здешние, знаете и дороги и леса. Нам только бы добраться до леса да кое-какое оружие добыть...

Сначала подпольщики не открывались, отвечали неопределенными обещаниями. Но вот от Славки поступил приказ готовить наиболее надежных к побегу, — делать это с большой осторожностью, чтобы не завалить дело.

— Скорей бы только, — просили пленные. — Нас могут внезапно вывезти в Германию. Мы уже и сухарей сберегли...

Голод грыз их исхудалые тела, и все же пленные откладывали часть своих мизерных пайков, чтобы продержаться некоторое время после бегства. Люди жили надеждой... Неужели друзья-железнодорожники не помогут им вырваться из этого пекла и стать в строй народных мстителей?..

Балашова отозвали с работы, чтобы ускорить побег пленных. К нему пришла смуглая Леля — хозяйка квартиры, в которой жил Казинец, и сказала:

— Славка дал нам одно поручение. Пошли.

Они уже хорошо знали друг друга, поэтому Апанас Балашов не стал допытываться, куда его позвали. Оделся и пошел за Лелей, на некотором расстоянии от нее. Пришли на улицу Мясникова, неподалеку от Дома правительства. Остановившись на секунду, Леля сделала Балашову знак рукой, чтобы подождать, а сама исчезла в подъезде.

Апанас начал медленно ходить по тротуару. Далеко от подъезда, куда нырнула Леля, не отходил, но и не останавливался возле него. Нужно было остерегаться, чтобы не нарваться на шпика. Однажды он уже стоял под дулами автоматов, знает, что это такое...

...Случилось это еще в первые дни оккупации Минска. Немцы приказали Балашову вести состав в Борисов. Доехали до станции Минск-Восточная. Состав остановился, но локомотив, конечно, работал. Фашистский надзиратель, стоявший рядом, не знал, как устроен тормоз на наших паровозах. — Поехали! — приказал он Балашову.

Манометр показывал полное давление, а поезд стоял. Перевел реверс и раз, и другой, и третий — ни с места. Фашистский контролер то на приборы глянет, то к колесам кинется — ничего не понимает. — О, доннер веттер! — выругался он и стукнул прикладом автомата о стенку будки.

В этот миг Балашов неуловимым, но резким движением снял тормоз. Паровоз рванулся изо всей силы, и гитлеровец стукнулся головой о стенку. Где-то затрещал, заскрежетал металл, поезд помчался вперед.

— Хальт, хальт, русиш швайн! — заорал гитлеровский надсмотрщик.

Поезд остановился возле небольших кустиков. Но это был уже не состав, а половина его. Вторая половина, оторванная, осталась по инерции на месте.

Сзади к паровозу бежали с автоматами гитлеровцы, сопровождавшие состав. Они что-то злобно кричали, размахивали оружием.

«Ну, будет сейчас...» — подумал Апанас.

Поговорив о чем-то между собой по-немецки, они приказали Балашову идти вперед, к кустам, а сами наставили на него автоматы.

«Вот и отгулял я на белом свете...»

Согнувшись, будто держа на плечах непосильную ношу, он шел навстречу смерти.

Сзади послышался окрик. Приказали идти назад, к поезду. На душе стало легче: «А может, передумают, не застрелят?» Около паровоза дали в руки лопату и приказали:

— Копай! Здесь мы тебя пуф-пуф!

Уже надвинулась ночь. Под тусклыми огнями красных фонарей песок, который Балашов неторопливо выбрасывал из ямы, казался окровавленным. Нога вяло нажимала на лопату. Железо громко скрежетало о камни, скользило по ним, не хотело лезть в землю.

Когда яма была выкопана по колено, гитлеровцы неожиданно приказали:

— Бери зубило, молоток и ремонтируй! Не отремонтируешь — капут!

Провозился всю ночь.

— Нужно бросить оторванные вагоны и ехать дальше, — предложил Балашов.

— Работай, а то яма готова!..

На рассвете взяли сцепку, закрепили кое-как за буферный брус и поехали в Борисов.

Ехали чуть не ошупью.

Движение на этой линии было задержано.

Так начал Балашов свою полную тревог и опасностей жизнь подпольщика. Теперь у него уже был какой-то опыт. Научился не только смотреть смерти в глаза, но и обманывать смерть.

...Минут через двадцать из подъезда показалась Леля. Двое дюжих парней тащили за ней санки с большим узлом. По сигналу Лели Балашов подошел к ним.

— Берите и везите, — тихо сказала она. — Для пленных...

Те двое вернулись, а он потащил. Леля проводила его до Западного моста, потом также отстала.

Одному тащить было тяжело: местами на мостовой не было снега, и санки с грузом скрежетали по камням. Пока добрался до Вирской улицы, даже вспотел.

Там встретили свои люди. Втащили груз на второй этаж, развязали. Из-под одеяла на пол вывалились шапки-ушанки, перчатки, белье, бинты, медикаменты. Все это Славка с помощью подпольной организации гетто собрал для пленных, которые готовились убежать в лес.

Кузнецов тут же приказал Балашову отнести медикаменты в депо и раздать пленным, подготовленным к побегу.

Как раз начался обеденный перерыв. Идти обедать и пленным и рабочим было некуда. С их пайками — ничтожными кусочками хлеба или сухарей и совсем крохотными ломтиками твердого, состоящего из одних сухожилий мяса — расправиться можно было самое большее за пять — десять минут. А тут целый час отдыха. Пленные незаметно группировались возле железнодорожников-подпольщиков, готовые в любой момент по их команде рвануться или в бой, или из города. Они жадно ловили каждое слово Нитиевского, Девочки, Шкляревского. Балашов быстренько рассовал всем по карманам бинты, медикаменты и приказал беречь пуше своего глаза.

— Нам это не легко достается, каждая крупинка лекарства на счету, — предупредил он. — Если кто не сбережет, пусть не рассчитывает на дальнейшую нашу помощь.

— Зачем об этом говорить, сами понимаем, — отозвались пленные. — Но когда все же выведут нас отсюда? Мы готовы в любой момент придушить конвоира...

— Не в конвоире дело, — ответил Балашов. — Нужно будет — придушите. А относительно

отправки в лес ждите приказа. Видите, готовимся. Одежду уже имеем, а оружие еще нужно искать. Если вам что попадет под руку — не упускайте случая, все прячьте: нож, пистолет, винтовку, еще лучше — автомат. Все пригодится.

Да, трудней всего было добывать оружие. Балашов всегда удивлялся, как это Славке удавалось достать столько пистолетов, автоматов, гранат. Всякий раз, когда из леса приходил маленький связной Саша, Славке сообщали об этом, и он давал адреса, где хранилось оружие для тех, кто идет в партизаны.

Сам Апанас также ходил в Старосельский лес, на то место, где в первые дни войны шли бои красноармейцев с фашистами, и принес оттуда несколько неисправных пистолетов и гранат-лимонок. Сколько поработать пришлось, чтобы отыскать их! А здесь — пистолеты целыми дюжинами...

А разве все знал Балашов? Откуда он мог знать, что совсем недавно из квартиры комсомолки Лиды Драгун, которая жила на Надеждинской улице, представитель отряда Владимира Ничипоровича Иван Рябышев забрал целый ящик гранат и мешок медикаментов и перевязочного материала, пишущую машинку, много бумаги, теплую одежду и даже листовки, напечатанные подпольщиками. А сколько оружия и медикаментов регулярно отправлялось в отряды Воронянского, Ничипоровича и во многие другие отряды, которые опирались на минское подполье! Горком действовал неутомимо, энергично, но тайно.

Особенно много одежды, медикаментов и продуктов собирал Казинец в гетто. Там была крепкая партийная группа во главе с Михаилом Гебелевым и Григорием Смоляром.

Всего этого Балашов не знал, ведь он был только исполнителем распоряжений горкома. Но и то, что приходилось ему видеть, удивляло молодого хлопца. Какой силой нужно обладать, чтобы даже в жутких условиях фашистского гнета и преследований иметь такое влияние на людей и пользоваться их беззаветной поддержкой! А над тем, что сам он рискует жизнью для общего дела, Балашов как-то не задумывался. Ведь иначе и быть не могло!

Только успел он распределить медикаменты и одежду, как получил новый приказ: перенести оружие с Брилевской улицы на западную окраину Минска, откуда пленные будут пробираться к партизанам. Перед самым выходом из города они вооружатся и тогда смелей пойдут к своим. Как всегда, Апанас надел рабочую одежду, натянул на плечи спецовку-бушлат, прицепил на рукав рабочую повязку, взял сигнальные флажки, а в карман сунул пистолет и нож. Шел на явочную квартиру не торопясь, зажав под мышкой флажки. Так ходят на работу и с работы все железнодорожники.

На явочной квартире уже ждали его. Обменявшись паролями, хозяин и Апанас пошли в небольшой хлев. Разбросав стружки, обрезки досок и разное тряпье, хозяин вытащил тяжелый ящик.

— Вот они, забирай!

В ящике лежали лимонки-гранаты. Апанас расстегнул бушлат и начал нанизывать гранаты на пояс. Пять, десять, пятнадцать... Ремень, застегнутый на последнюю дырку, еле выдерживал такую тяжесть.

— Хватит, — сказал хозяин, — а то еще оборвется, наделаешь беды. Лучше другой раз придешь или кого другого пришлешь по этому паролю.

— Ничего, ремень солдатский, должен выдержать, — успокоил Апанас.

Запахнувшись бушлатом, он пошел к Юбилейной площади. От нервного напряжения сильно захотелось курить, а в кармане ни крошки махорки. Уже на Бетонном мосту глянул вниз, на Суражский рынок, и не вытерпел: «Пойду куплю курева. Это же недолго...»

Шумливый, горластый рынок кишел людьми. Они сновали взад и вперед, кричали, торговались, ругались и божились, расхваливая свои товары. Какой-то парень совал под нос Апанасу поношенные ботинки и клялся, что лучших ботинок во всем Минске не найдешь и стоят они очень дешево. Но Апанас отмахнулся от него и окинул взглядом ряды, где мог быть табак. В дальнем углу, возле забора, увидел махорку. Протиснувшись туда, выбрал пачку, спросил цену и свернул сигарку. Махорка была хорошая. Заплатил деньги и еще не успел положить махорку в карман, как его сильно толкнули и на базарной площади загудело:

— Полиция! Облава!

Сначала Апанас совсем растерялся. Ноги будто приросли к земле. Но спустя мгновение инстинктивно бросился он в сторону Суражской улицы. Туда стремглав, толкая друг друга, мчались все, кто только мог бежать.

Никогда не думал Апанас, что базарная площадь такая большая: бежал, бежал, а ей все конца не было. Перед глазами мелькали прилавки, брошенные с перепугу товары, куски бумаги, тряпки... Все это сливалось в одну серую массу и летело ему навстречу.

А сзади раздавались, словно подстегивая бегущих, женский крик, мужская ругань, визг поросят, кудахтанье кур.

Только добежал до забора, отделявшего рынок от Суражской улицы, как нечаянно стукнулся о чью-то широкую спину и получил хорошего тумака сдачи.

— Чего прешься на человека? — рывкнула на него бородатая пасть.

Связываться еще с этим типом в такой момент было бы совсем глупо, и Апанас кинулся в сторону, стараясь быстрее пробраться к забору. Но оттуда, от высокого забора, навстречу мчались ошалелые беглецы с криками:

— На Суражской полиция! Рынок окружили!

Что делать? Куда деться? Снова помчался к рынку.

На глаза попалась уборная, и, не задумываясь, он забежал туда, заперся. Сердце лихорадочно колотилось. Что же делать? Отбиваться гранатами и отстреливаться? Нельзя, погибнет много невинных людей. Это вызовет у населения не сочувствие, а негодование. Отдать оружие полицейам? Ни в коем случае. Выбросить все в уборную? А что скажут товарищи, как потом смотреть в глаза Славке? С таким трудом добыты гранаты и пистолет...

Невольно осмотрел себя. Под бушлатом гранаты совсем не видны. Рабочая повязка на месте, и флажки не бросил в суматохе. Паспорт и аусвайс в кармане. Даже махорка не рассыпалась.

А что, если?..

И он пошел. Решительным, смелым шагом шел прямо на полицейев, которые группой стояли около ворот, ожидая, пока ошалелая от страха толпа не поймет, что она окружена.

Приближаясь к воротам, Апанас становился все спокойней и спокойней. Не то что ему было менее боязно. Страху, пожалуй, еще прибавилось. Но это уже был не тот звериный страх, который гонит жертву на охотника и который заставил Апанаса сломя голову лететь к забору. Теперь он уже шел на риск с открытыми глазами. Нервы были собраны в кулак. Сердце билось так, что, казалось, его

удары могли услышать враги. А они стояли и внимательно смотрели на Балашова. Среди них выделялся длинный широкоплечий офицер в высокой серой шапке. Он, видно, только что опохмелился: от него несло сивушным перегаром. Балашов рассыпался перед ним мелким бисером: — Пан начальник, я — железнодорожник. Выскочил на минуту с работы, купить махорки... Вот видите, даже закурить не успел... А вот мой аусвайс, паспорт... Через пять минут отходит поезд, мне нужно торопиться... Пропустите, пожалуйста...

Офицер тупо глядел на документы, на махорку, бросил взгляд на рабочую повязку. Секунды тянулись очень долго. Что взбредет ему в пьяную голову? А что, если скажет отойти туда, где уже стояли несколько задержанных? Стрелять сразу или подождать, пока поведут? Однако офицер кивнул в сторону улицы:

— Иди, не шлындай в рабочее время...

У Балашова заняло дух от радости.

— Спасибо, пан начальник, — поклонился он и трусцой пустился к товарной станции. Добежал до железнодорожной больницы и только оттуда потихоньку направился на явочную квартиру. Но сердце долго не могло утихомириться.

Серебрянкой называли район за Червенским рынком, где жила Лида Драгун. Почему Серебрянкой? А кто его знает. Ну, скажем, Комаровка так называлась потому, что выросла она на болоте, над которым некогда тучами вились комары; Слепянка когда-то выделялась своими убогими, подслеповатыми хатами, Сторожевка получила свое название, видимо, еще в древние времена, когда здесь выставлялись сторожевые дозоры. А вот название Серебрянка объяснить трудно. Может, потому назвали ее так, что украшали этот район серебристые тополи, а может, когда-то Свислочь была здесь чистая, как серебро, и щедро бросала отраженные от воды солнечные лучи на прибрежные дома. И уже никак нельзя подумать, что жители Серебрянки ходили в серебре и золоте...

На руках у Лиды Драгун совсем маленький ребенок. Куда пойдешь с ним? Не возьмешь же в одну руку ружье, на другую сына и не пойдешь воевать. Но и стоять в стороне, забиться в свой угол она не могла, сердце не позволяло. Город постепенно поднимался на врага. Руины стреляли в упор, жгли фашистов огнем листовок, рвали минами. Полиция безопасности и СД, которая в первые месяцы рассчитывала на спокойное, привольное житье, бросалась из одного конца города в другой, надеясь напасть если не на самих подпольщиков, так хотя бы на их след, а в крайнем случае — найти изменников, которые пролезли бы в подполье. Активным подпольщикам нужно было хорошо скрываться. На долю Лиды Драгун и выпала задача спасти их от фашистских когтей.

Однажды, еще в конце августа, в квартиру Драгун кто-то постучал.

— Лида, открой, — сказала мать.

— Кого это несет к нам? — насторожилась Лида. — В такое время не каждый гость к столу.

Открыла дверь — и растерянно отступила в сторону. Перед ней стоял невысокий человек в заплатанной одежде и хитро усмехался в густую бороду.

— Пожалуйста... — несмело предложила она бородатому пройти в переднюю комнатку.

— День добрый в хату, — знакомым голосом, чуть заикаясь, поздоровался человек.

— Ай, дядя Арсен, — обрадовалась Лида. — Вот не ждала... Так вас же мать родная не узнает...

— Насчет матери не знаю, а вот если ты не узнала — это хорошо. Значит, я очень изменился, так и

нужно было. Даже в дом не хотела пускать...

— Нет, — оправдывалась Лида, — я просто растерялась...

Встречались они последний раз перед войной. Лида не знала, куда забросили ее родственников бурные волны событий.

Едва Арсен Викентьевич Калиновский поздоровался со всеми в квартире и сел возле стола, как в дверь опять постучали. Лида снова вышла и вернулась с пухленькой беленькой девчиной, которая бросила на Арсена Викентьевича любопытный, чуточку насмешливый взгляд. На пунцовых губах ее вспыхнула невольная улыбка. Видно, девушке почему-то показалась странной широченная борода на еще моложавом лице Арсена Викентьевича.

— Знакомьтесь, — сказала Лида. — Это моя подруга Валя Соловьянчик. Живет в соседнем доме. А это мой дядя...

Лида не знала, можно ли назвать имя Арсена Викентьевича. Помолчав немного, сказала:

— Дядя Арсен.

Пожимая руку Вале, Арсен Калиновский внимательно к ней присматривался: можно ли говорить при ней открыто или нет? Взгляд у нее смелый, решительный, держится свободно — видно, не из пугливых... Но вид бывает обманчив. На лбу ведь не написано, что на душе у человека. Поэтому спросил осторожно:

— Ну, так как, девчата, живете?

— Как горох при дороге, — первая ответила Валя. — Не живем, прозябаем.

— А как бы вы хотели жить?

— Удивительный вопрос, — снова не стерпела Валя. — Сразу на него и не ответишь. Хотели бы жить лучше. А как лучше — сами не придумаем. Может быть, посоветуете?

— Нужно подумать, — не то отказался посоветовать, не то пообещал Арсен Викентьевич. Чуть помолчав, добавил: — Я советчик не очень сильный, но знаю людей, которые могут кое-что подсказать.

Девчата загорелись:

— Дядя Арсен, познакомьте нас с ними...

— Ого, какие вы быстрые! Так с налета и познакомить. Серьезные дела таким образом не делаются, дорогие вы мои. Выдержку нужно иметь и осторожность.

— Вы не бойтесь ее, — догадалась Лида, показывая на Валю. — Мы все равно что одна душа: я ей доверяю, как себе, а она — мне. Мы ведь комсомолки...

— Арсен Викентьевич, эта девушка надежная, — вступила в разговор Лидина мама. — Мы ее хорошо знаем.

— Ну, если так, то познакомлю. Но сначала давайте договоримся между собой. Не согласитесь ли вы работать в городском комиссариате? Ну, хотя бы в заявочном бюро.

— Почему это вы, дядя Арсен, начали заботиться о заявочном бюро? — настороженно спросила Лида.

— Не о бюро забочусь, а о наших делах. Нам нужны там свои люди. И документы получать оттуда, и людей своих устраивать... Одним словом, дело ответственное. Если боитесь — сразу скажите.

Предупреждаю, жизнью придется рисковать... И не только своей жизнью...

Лида посмотрела на маленького сына, который сладко спал в люльке, причмокивая надутыми

губками. Видно, одно мгновение она колебалась, а затем решительно махнула рукой:

— Согласна.

— И я согласна, — поддержала ее Валя.

— Тогда пойдем, я познакомлю вас с интересными людьми.

— Иди, Валя, одна, мне сейчас сына кормить. Потом вместе ходим. Хорошо?

Сразу же из квартиры Драгунов Арсен Калиновский и Валя Соловьянчик пошли на Комаровку.

Добраться туда можно было только пешком. Многие улицы были загромождены камнем, узенькие тропинки, проложенные пешеходами, причудливо вились между кварталами руин. Около двух часов добирались Калиновский и Соловьянчик на улицу Чернышевского.

Володя Омелянюк ждал их. Арсен Викентьевич предупредил его, что придет, возможно, не один, а с молодой женщиной, если удастся склонить ее на подпольные дела. Он имел в виду Лиду Драгун.

Саша Макаренко, присутствовавший при их разговоре, сказал:

— Если девушка наша, то уговаривать не придется, сама схватится за поручения, а если фифа какая-нибудь, лучше не связываться... Нужно хорошо подумать, стоит ли рисковать.

— Я знаю ее, — возразил Арсен Викентьевич. — Она моя родственница, племянница жены. Только одно нехорошо — у нее маленький ребенок...

И вот теперь Арсен Викентьевич привел девушку. Володя удивился: у такой молодой и уже ребенок. Ему и в голову не могло прийти, что Калиновский приведет другую девушку.

— Знакомьтесь, Володя, это Валя, — представил он гостью. — Думал с одной Лидой договориться, а тут и она очутилась. Обе хотят помогать нам...

Володя придирчиво оглядел девушку и остался весьма доволен. Она произвела на него впечатление не только своей привлекательной внешностью. Как-то сразу они почувствовали уважение друг к другу. Валя видела перед собой еще молодого, но серьезного, рассудительного человека, который чувствует тяжесть ответственности не только за себя и свои действия. Он вдумчиво расспрашивал ее о довоенной жизни, о родителях и родственниках, о любимых книгах и кинофильмах. Она отвечала на все его вопросы искренне, без кокетства, словно они были уже давно знакомы и встретились здесь, чтобы вспомнить пережитое. Сама, не ожидая вопросов, она рассказала, как пыталась пробраться на восток, как фашистский десант пулеметами и автоматами погнал таких, как она, обратно в Минск. Видно было, что он хорошо понимал и ее переживания, и ее настроение и всей душой сочувствовал ей.

— Вот и хорошо, что Арсен Викентьевич познакомил нас, — сказал Володя. — Я не сомневаюсь, что вы обо всем рассказали искренне. Каждый из нас пережил нечто подобное. Но нам жить одними горькими или сладкими воспоминаниями нельзя. Там, за линией фронта, теперь каждый гражданин спрашивает себя: что я сделал для победы над врагом? Этот же вопрос ставим и мы перед собой. Одними ахами да охами дело не поправишь. Мы также должны бить врага. Вы готовы к этому?

— А что я должна делать?

— Арсен Викентьевич, видимо, кое-что уже сказал вам?

— Да, он сказал, чтобы мы устраивались в городской комиссариат и обеспечивали своих людей документами.

— Правильно. Пока что и этого с вас хватит.

— А это и не так уж мало, — послышался у нее за спиной незнакомый хриловатый голос.

Валя быстро оглянулась. Она не слыхала, как из другой комнатки тихо вышел высокий, худой, белесый человек и стал за ее спиной. Его появление не удивило ни Володю, ни Арсена Викентьевича, поэтому испуг Вали сразу же исчез, человек, видно, свой.

— Знакомьтесь, — сказал Володя, — это Сергей, офицер. Мы помогли ему выбраться из лагеря военнопленных, а вы помогите сделать ему хорошие документы.

С той поры они много раз встречались то на квартире у Володи, то у Лиды Драгун, то у Вали Соловьянчик. Сергей перебрался жить на квартиру Драгунов. Туда стали заходить и другие офицеры, которым удалось выбраться из лагеря военнопленных. В скором времени Сергей (Антохин), Рогов, Белов и некоторые другие офицеры создали так называемый Военный совет партизанского движения. Они наладили связь с подпольным горкомом партии. Сарай, который стоял сразу же за домом № 14а по Надеждинской улице, превратился в склад. Это отсюда Иван Рябышев забрал впоследствии ящики с гранатами и много другого оружия для партизанского отряда Ничипоровича. Сюда часто приезжал и Саша Макаренко.

Как-то уже зимой на квартиру к Вале пришли сразу Володя Омелянюк, Вася Жудро, Саша Макаренко. Зашли сюда и Сергей с Роговым. Саша рассказывал о боевых делах своего партизанского отряда.

Когда Арсен Калиновский переступил порог, Саша говорил о самом напряженном моменте стычек с немецким гарнизоном в одной деревне на Логойщине.

— Комендант совсем не ожидал нашего нападения, — взволнованно рассказывал партизанский комиссар. — Часовых мы сняли тихо, ножами, без единого выстрела, когда герр комендант сидел за столом над доброй закуской. А мне почему-то хотелось самому расправиться с комендантом. Уж очень он вредный был, сам расстрелял многих наших людей. Мне очень хотелось увидеть, как он будет смотреть в глаза своей смерти...

Саша снова переживал все, что случилось с ним недавно в доме коменданта немецкого гарнизона. Черные глаза комиссара горели огнем, на худом цыганском лице выступили желваки. Сам того не замечая, он выговаривал некоторые слова с украинским акцентом. Всегда, когда он волновался, он переходил на родной язык.

— Я первый вскочил у хату. Дывлюсь, а він лыпае на мэнэ вачыма, как тот трус на удава... Рот разинул, як халяву... А потом, вижу, рукой тянется к пистолету, что лежал рядом на лавке... А сам от страха глаз от меня не может оторвать. А я на него лезу, вплотную подошел и пистолет в самое пузо ему наставил. «Руки вверх!» — приказываю. А они у него дрожат... трясутся. И даже, не при женщинах будь сказано, нехороший запах пошел по комнате. Но вдруг откуда у него храбрость взялась: как рванется к пистолету! Да только не успел. Я всадил ему в пузо всю обойму...

Арсен Викентьевич молча наблюдал, какое впечатление рассказ комиссара произвел на присутствующих. Володя, Вася, Валя, Лида смотрели на Сашу с восхищением, гордостью и уважением. На губах рыжеватого Рогова играла чуть заметная ироническая улыбочка: загнул, дескать, хлопец, но ему и простить можно, молод еще... Нигде так не врут, как на войне да на охоте... В комнате некоторое время царил тишина. Все были под впечатлением того, что рассказал Макаренко. Потом Лида спохватилась:

— Вот хорошо, дядя Арсен, что вы зашли! Мы послали за вами человека, и напрасно — никого дома он не застал...

— Срочное что-нибудь?

— Очень. Вас ищет СД. К нам приходили за адресом, но мы вашу карточку еще раньше уничтожили, как вы нам тогда посоветовали. В некоторых карточках наших людей адреса перепутали, вписали разрушенные дома. Пусть ищут под руинами...

— Да, дело серьезное, — в раздумье проговорил Арсен Викентьевич. — Что-то пронюхали, гадюки. Но что?

— Вам снова нужно менять квартиру, — посоветовал Володя Омельянюк. — Перебирайтесь в этот район, на Серебрянку. Вас здесь не знают, будет безопасней. Хорошие знакомые есть здесь у вас?

— Есть. Пусть и жена сюда перебирается, а то и ее схватят. Передайте ей, пожалуйста...

— Обязательно передам, — ответил Володя. — Видно, гестаповцы серьезно берутся за нас, принимают к нашим следам... Нужно принимать меры. Девчата, снова придется вам поработать. Необходимо менять документы. Достаньте побольше чистых паспортных бланков. И печати...

— Сделаем.

Недалеко от Вали Соловьянчик, на Оранжевой улице, жили Герасимовичи. Отец — инженер, надежный человек, сын Борис только что окончил среднюю школу. И вот у этого самого Бориса настоящий талант обнаружился: такие печати делал — не отличишь от немецких. Из бильярдных костяных шаров мастерил. Герасимовичи всегда помогали, если кому-либо нужны были документы. Давая согласие оформить документы, Лида имела в виду Герасимовичей.

— Очень хорошо, — похвалил Володя. — И помните — побольше бланков... Кстати, еще одна просьба. Попробуйте достать хороший план города Минска.

— Это уже трудней... — На молодом, красивом лице Лиды сбежались морщинки. — Мы видели план только у шефа. В столе прячет, под замком...

— А может, попробуете?..

— Посмотрим. Если выпадет подходящий момент — попробуем.

И они сдержали слово. Шеф им доверял. Молодые красивые женщины совсем не напоминали ему опасных большевиков, ведущих беспощадную борьбу против фашистских властей.

«Что нужно таким вот слабым существам? — думал шеф. — Нежность, мужская ласка, ну и деньги, конечно, прежде всего деньги, чтобы приобретать разные там финтифлюшки».

Разговаривают его подчиненные всегда с легкомысленно-беспечным видом, тема разговора одна — о нарядах. С особым удовольствием, даже наслаждением обсуждают они вопросы, связанные с разными там горжетками, жабо, плиссе, гофре и сотнями других, бог знает каких вещей...

Этих особ, конечно, нечего остерегаться. И он не остерегался. Выходя из кабинета, часто оставлял ключи на столе. Улучив удобный момент, Лида взяла ключи и приготовила оттиски на воске.

Николай Герасимович по отпечаткам сделал новые ключи и передал их Лиде.

В тот день Лида и Валя пришли на работу минут на двадцать раньше обычного. Валя осталась в коридоре, а Лида зашла в кабинет, открыла стол шефа, взяла план Минска и спрятала его за пазуху. Впервые в жизни ей приходилось брать без разрешения чужие вещи. Как это страшно! Сердце колотилось, — казалось, готово было выскочить из груди. Она сама не помнила, как заперла стол и вышла из кабинета.

Шеф почему-то не сразу заметил, что план исчез. Когда спохватился — только развел руками и глубоко задумался. Девчата незаметно следили за ним. Они видели, что в нем происходит какая-то

борьба: он то встанет, чтобы куда-то идти, то снова сядет за стол. Видно, ему хотелось сообщить о пропаже в СД, но кто знает, что могут подумать гестаповцы... Еще, чего доброго, самого загребнут... Когда они остались втроем, шеф погрозил пальцем Лиде и Вале.

— Доиграетесь, шельмы!

— О чем вы, пан шеф? — с невинным видом глядя ему в глаза и томно растягивая слова, спросила Лида.

— Разве не знаете, о чем?

— Ей-богу, нет, пан шеф. Кажется, все делаем как следует. Ни одной ошибки не допустили в бумагах... Не знаю, может, у Вали какая ошибка произошла, а у меня, ей-богу, все хорошо...

— И у меня все правильно...

— За такие ошибки головы рубят, — сказал шеф и, со злостью стукнув ящиком стола, повернул ключ и вышел. Девчата переглянулись: куда его понесло? Хотя бы не пошел заявлять... А если и так, все равно никуда не денешься. Нужно ждать, что будет.

Через полчаса шеф пришел один. Наверно, ходил прогуляться, злость и тревогу свою развеять. Ну, пронесло на этот раз!

Придя домой, Лида сказала Вале:

— Нет, так больше не будем делать. В другой раз он обязательно донесет на нас в СД. Я вот что придумала: у меня есть хороший знакомый, он работает в гидрометслужбе. У них там разных карт — хоть гать гати. Как я это раньше не вспомнила? Нужно сказать об этом дяде Арсену или Володе...

Бывает так, что знаешь человека и год и два, съешь с ним добрый пуд соли и не подозреваешь, что у твоего знакомого на душе. С виду — человек как человек: и приветливый, и даже привлекательный, и слова приятные говорит. В обычных условиях — милый человек.

А изменились обстоятельства — и не узнать его. Из глубины черной души извергается целый фонтан грязи, заливающий всех, кто находится поблизости.

Нечто подобное произошло и с женщиной-врачом, которую все почему-то звали только по фамилии — Юрашевич. Особыми способностями она не отличалась. Как и все врачи, слушала и выстукивала больных, выписывала рецепты, улыбалась.

Никто не знал, что за этими улыбками скрывается бездонное болото злобы к тем, у кого больше таланта, кто стал хотя бы на ступеньку выше ее в общественной жизни, кто носит более красивые платья, пользуется большим авторитетом у сослуживцев и больных. Злость эта была особенная — старательно скрываемая, но острая, жгучая, отравная. Даже от самых близких людей прятала она свою ненависть ко всем, кто, по ее мнению, перешел ей дорогу, занял место, которое должна была занять она.

Оккупацию Минска Юрашевич встретила с огромной радостью. На приход фашистов она возлагала большие надежды. Ей казалось, что теперь она вырвется на простор и все будут с завистью смотреть, как она станет видной фигурой среди медработников Минска.

Свои симпатии к фашистам она выражала везде, рассчитывая, что хозяева заметят и оценят ее по заслугам. Прежде, бывало, она месяцами не брала в руки газету.

— Фи, — фыркала она и презрительно кривила ярко покрашенные губы, когда товарищи заводили разговор на общественные темы, — настоящему врачу не пристало лезть в политику. У него есть более серьезные и благородные дела — лечить людей. А у женщин еще и свои, семейные

обязанности...

Однако люди с их болезнями не очень интересовали ее. Во всяком случае, от дежурств она старательно отделялась. А разговоры о благородной миссии врача ей нужны были только для того, чтоб выставить себя перед людьми человеком доброй души.

Когда город захватили фашисты, у Юрашевич вдруг появилась неодолимая тяга к политике. Только привлекала ее политика уже иная, та, на которую Юрашевич возлагала особые надежды. Каждое утро она с жадностью хваталась за фашистские газеты и с волнением, взхлёб читала брехню геббельсовских пропагандистов, трубивших о безостановочном марше гитлеровских армий на восток.

Работники больницы с отвращением смотрели на нее, но ничего не говорили. Да и как скажешь, если она может сразу же донести в СД. Пусть лихо цепляет такую!

Только старый профессор Евгений Владимирович Клумов однажды не стерпел. Было это в декабре 1941 года, когда под Москвой шли кровопролитные бои.

Как всегда в первой половине дня, профессор делал операцию. Больных было много. Ассистенты и сестры молча выполняли приказания, которые он отдавал иногда одним движением широких черных бровей или кивком головы. В операционной стояла напряженная таинственная тишина, от которой, казалось, зависела судьба человека, лежавшего на операционном столе. Всколыхни эту тишину — и жизнь выпорхнет из ослабевшего организма. На высоком лбу Клумова глубже пролегли морщины. Сотрудники знали: операция серьезная, профессор очень озабочен. Врач Мария Пилипушко, работавшая ассистентом, напряженно следила за всеми движениями рук профессора, помогала ему. Вдруг дверь широко распахнулась, и в операционную влетела Юрашевич. Она держала высоко над головой «Минскую газету» и, захлебываясь от восторга, крикнула:

— Господа, Москва взята!

Профессор на мгновение поднял голову от больного, глаза его блеснули гневом и презрением.

— Чему вы радуетесь?! — А затем добавил: — Как вам не стыдно, врач Юрашевич, так вести себя в операционной!

— Ах, извините, уважаемые господа, я забыла, что у вас это не вызывает сочувствия!..

И, кривляясь, сделала реверанс.

— Мерзавка! — вырвалось у Марии Пилипушко, когда дверь закрылась за Юрашевич.

— Продажная шкура, — поддержала врача Виктория Рубец, присутствовавшая при операции.

Клумов в знак согласия кивнул головой и приказал:

— Продолжаем...

Этот случай еще раз напомнил, что в подпольной работе нужно быть осторожным. Люди, подобные Юрашевич, могут сильно навредить. Но они не так страшны — их все знают, сторонятся. Страшней, когда доверишься хитрому врагу, который прикидывается твоим другом, честным советским человеком.

А иной раз обстоятельства вынуждали рисковать...

Однажды, в феврале 1942 года, Мария Пилипушко принимала больных. В коридоре послышался шум.

Без очереди вошел незнакомый. Вошел он решительно, осмотрелся, нет ли кого в кабинете, и спросил хриловатым, простуженным, голосом:

— Вы доктор Пилипушко?

— Да, я, — внимательно разглядывая нового пациента, ответила Мария Герасимовна.

Собственно говоря, пациент, видимо, не имел острой нужды в помощи врача. Щеки его были покрыты густым зимним загаром, какой бывает обычно у завзятых охотников и рыбаков. Из-под рыжеватых бровей смотрели на доктора смелые, требовательные серые глаза, весь вид этого человека свидетельствовал о его железном здоровье.

— Вам привет от полковника Ничипоровича.

У Марии Герасимовны брови поползли вверх. Что это: провокация? С Ничипоровичем она была хорошо знакома, знала, что он командует партизанским отрядом. Но откуда ее посетитель знает об этом? Неужели это переодетый гестаповец? Или агент СД из числа изменников? Как отнестись к нему? Ответить откровенно? Арестует сразу и потащит пытаться. Не признаться?..

— По приказу Ничипоровича я привез к вам, — продолжал неожиданный гость, — тяжело раненного партизана лейтенанта Грачева, который будет находиться на конспиративной квартире. Вы должны обеспечить его медицинской помощью.

Сдерживая противную дрожь пальцев, Мария Герасимовна слушала, обдумывала каждое слово. Видно, выхода нет. Если перед нею не партизан, а гестаповец, все равно он уже не выпустит ее, потащит на пытки. Не для того он пришел, чтоб посмотреть на нее, поугадать и уйти.

— Никакого полковника Ничипоровича я не знаю... — попыталась она отпираться.

Однако он хитро улыбнулся и сказал:

— Напрасно вы, доктор... Хорошо знаете Ничипоровича...

— А в общем, — решительно сказала она, — мой долг врача заставляет меня помогать каждому, кто нуждается в моей помощи. Я готова идти, куда нужно...

Быстро собрала инструменты, необходимые для обработки раны, и они вышли.

— Принимать пока что не буду, — объявила она больным. — Меня вызывают для скорой помощи.

Шли торопливо. Он молчал, и она считала за лучшее держать язык за зубами. Злило ее только одно: если это действительно партизан, то почему своевременно не установили пароль, не назначили явку? Очень уж неосторожно.

Он вел ее вверх по Ленинской улице, потом по улице Карла Маркса направился к Университетскому городку, туда, где помещались служба безопасности и СД. Чем дальше шли они, тем сильнее холод сковывал сердце Марии Герасимовны. Каждый шаг теперь казался ей шагом к нечеловеческим страданиям и смерти. А он умышленно молчал и только шмыгал носом. Что может сделать теперь она, хрупкая, слабая, с таким вот грузным, широкоплечим, дюжим мужчиной, который даже не считал нужным следить за нею? Стоит только Марии Герасимовне сделать лишний шаг в сторону, как он выстрелит ей в спину, и все...

Около Университетского городка больше руин. Там нужно попытаться убежать. Все равно живой из СД не выпустят.

Однако где-то в глубине души светилась надежда: а может, все же это не гестаповец, а партизан.

Только возле самых дверей СД можно убедиться, кто он такой...

На улице Свердлова незнакомец повернул влево, к Червенскому тракту. Университетский городок остался позади. На сердце у Марии Герасимовны отлегло.

По-прежнему шли молча, но она смотрела уже на мир глазами человека, который как бы воскрес из

мертвых. Даже голодные, нахохлившись от холода воробьи, которые бросались под самые ноги пешеходов и которых она прежде не замечала, казались ей теперь такими милыми и приятными птичками, что хотелось нежно погладить каждого из них. Ведь им также хочется жить, видеть вот это ласковое, хотя и холодное солнце, голубое небо. Какая чудесная штука жизнь!

Она шла теперь рядом с полным рыжеватым человеком и никак не могла преодолеть страха и неприязни к нему. Только когда прошли почти километр по Червенскому тракту и свернули в один неприметный дворик, подозрение ее почти исчезло.

Он привел ее в обычный на Серебрянке деревянный домик с садиком, огороженным забором и густыми кустами. После яркой, солнечной, заснеженной улицы Мария Герасимовна сначала ничего не видела в квартире. Почти целую минуту, поздоровавшись, простояла она у порога, беспомощно моргая глазами. Откуда-то из полумрака до нее донесся приятный женский голос:

— Проходите, пожалуйста, что же вы остановились у порога?

— Извините, со света ничего не вижу.

— Позвольте ваше пальто, — хриловатым голосом предложил человек, сопровождавший ее. —

Кстати, время нам и познакомиться. Я — Иван Захарович Рябышев. А зашли мы в семью Дубровских, знакомьтесь...

— Арина, — назвала себя хозяйка, женщина средних лет, в простенькой рабочей одежде.

— Константин Дубровский, — представился хозяин, крепко пожимая руку Марии Герасимовны, и, кивнув на стоявшего тут же подростка, добавил: — А это наш сын — Степка.

— Показывайте вашего больного, — сказала Пилипушко, когда глаза ее привыкли к полумраку квартиры.

— Пошли, — предложил Рябышев. — Он там, в боковой комнатке.

Комнатка эта оказалась маленькой, еще более мрачной, вход в нее совсем незаметный. На постели лежал бледный как полотно человек. Глаза закрыты, зубы крепко сжаты. Видимо, раненый очень страдал и страшным усилием воли сдерживал крик. Когда в комнатку протиснулись Пилипушко и Рябышев, он раскрыл глаза и по-детски слабо и напряженно улыбнулся.

— Добрый день, — поздоровалась Мария Герасимовна.

— Пить, — вместо ответа проговорил слабый голос.

— Сейчас, сейчас, — живо повернулся Рябышев и вышел из комнатки.

Мария Герасимовна тем временем принялась осматривать раненого. Она осторожно поворачивала его, ошупывала набрякшее тело, и на душе у нее становилось все тяжелей и тяжелей.

— Ну, что скажете, доктор? — спросил Рябышев, успевший уже дать воды своему товарищу. — Я ведь говорю ему, что танцевать еще будет...

— А разве он сомневается в этом? — в тон Рябышеву спросила Мария Герасимовна. — Еще как будет танцевать. И воевать будет...

— Отвоевался уже... — тихо прошептал раненый.

— Брось ты, Саша, — успокаивал его Иван Захарович. — Мы имеем дело с такими докторами, что мертвого на ноги поставят. А ты еще вон какой сильный. Три дня раненый под сеном пролежал, такую дорогу вытерпел и еще спорить не разучился со мной... Такие, как ты, не умирают...

— Знаю я тебя, шутника, — снова слабо улыбаясь, еле слышно промолвил Саша.

— Вылечим, не сомневайтесь, — еще раз успокоила Пилипушко. — Я к вам профессора приведу...

— Что вы, доктор, смеетесь надо мной? Какой профессор пойдет теперь к раненому партизану?

— Пойдет, и очень охотно. Наш, советский профессор. Такой же честный человек, как и вы.

— Спасибо вам, дорогая... Большое спасибо...

Она старательно обработала запущенную рану и распрощалась со своим новым пациентом. Рябышев проводил ее до передней.

— Очень запустили... — сказала Пилипушко. — Разве не могли хотя бы первую помощь оказать?

— Доктор, не могли, — как бы оправдываясь, ответил Рябышев. — Фашисты блокировали нас со всех сторон. Трое суток вели непрерывный бой. Это наше счастье, что у нас такой талантливый командир. За все время мы почти что не имели потерь, а фашистов положили около трехсот. И еще счастье — ваши хлопцы-подпольщики помогли, предупредили нас, что готовится блокада. Ну, Ничипорович и разработал операцию... Жаль вот только Сашу Грачева, ему не повезло. А врачей у нас нет. Да и после боев нам нужно было выбираться из того места, пока фрицы подкрепление не получили. Вот и пришлось трое суток везти Сашу под сеном в город... Больше некуда...

Он говорил торопливо, очень сбивчиво, не закончив одну мысль, перескакивал на другую. Мария Герасимовна видела: Рябышев торопится высказать ей свои мысли и свою надежду, что его боевой товарищ будет спасен.

— Так что же мне передать Ничипоровичу?

— Передайте, что положение тяжелое, сложное. Требуется помощь профессора. Завтра же сюда придет Клумов.

— А пойдет?

— Вы не знаете Клумова... Пойдет, обязательно пойдет, в этом я ничуть не сомневаюсь. Так и передайте Ничипоровичу. Все сделаем, чтобы спасти жизнь парню. Но у меня будет просьба к Ничипоровичу: пусть он не посылает ко мне людей так неожиданно, как вас послал. Во-первых, я не могу довериться человеку, которого не знаю, не имею права доверять. Во-вторых, из-за вас я сегодня уже побывала на том свете...

— Правда? Простите, пожалуйста, доктор за это... Не было времени пароли устанавливать, предупредить вас. Вижу, человек погибает, доходит, где уж тут думать... Вот и сделал вам неприятность... Вы уж простите меня за неосторожность, это будет мне наука.

— Я понимаю вас, — уже спокойно сказала Пилипушко, — жизнь товарища в опасности — нужно спасти его. Это очень хорошо. Но неосторожностью вы ставите под угрозу и жизнь других людей... Сами знаете, что творится вокруг... Тем более, что и среди наших медработников разные есть. Прошу иметь это в виду. А теперь попросите сюда хозяйку, мы с ней договоримся...

Арина Дубровская уже сидела возле раненого. Она сразу же выскочила из боковушки. Рябышев, пожав всем руки, вышел, а женщины о чем-то пошептались и, довольные друг другом, также распростились.

На другой день Пилипушко привела к Дубровским профессора Клумова. Высокий, широкоплечий, с черными усами и серебристой пылью на висках, он производил на всех, с кем ему приходилось встречаться, внушительное впечатление. Смотрел он на людей спокойно. Казалось, уже ничто не может удивить или взволновать его. И каждый, кто видел Клумова, верил, что такой человек может поспорить со смертью.

Когда они вошли в квартиру Дубровских, хозяйка лежала в постели и тихо стонала. Возле нее

суетилась озабоченная соседка, которую умышленно позвал хозяин: жене, мол, что-то плохо стало, посиди, пожалуйста, около нее, пока профессор придет...

Не торопясь Клумов разделся и сказал:

— Лишних прошу выйти...

Соседка вышла, за нею направился и хозяин.

— Он там, в боковушке, — весело блеснув глазами, сказала Арина.

Она была очень довольна. Теперь соседи подумают, что профессор приходил к ней. Всякое подозрение исчезнет.

Клумов протиснулся в маленькую комнатку. Он молча осмотрел рану Грачева, сам перевязал ее и на прощанье заверил раненого:

— Будете жить, молодой человек. И долго еще проживете. Только больше бодрости... У Марии Герасимовны легкая рука, она вас хорошо отремонтирует.

— Спасибо вам, профессор.

Уже в больнице профессор сказал Марии Герасимовне:

— Хоть положение его очень опасное, спасти парня еще можно. Надо...

И сделал необходимые назначения.

Чтобы выполнить их, нужно было почти ежедневно навещать больного. Тем более, что Пилипушко являлась для Грачева и врачом и медсестрой. Ходить же открыто нельзя было: соседи заметят, полиция пронюхает — и тогда смерть и Грачеву, и Дубровским, и самой Марии Герасимовне.

Никогда еще ей не приходилось так часто переодеваться. Она меняла и пальто, и платки, и обувь.

Один раз приходила с бидончиком, будто бы молоко покупать; второй раз — одетая по-крестьянски, с корзинкой, в которой лежала связанная курица; третий раз — с мешком за плечами. Появлялась в разное время — то утром, то в полдень, то вечером.

Арина Дубровская, хорошо наученная Пилипушко, выполняла роль медицинской сестры. Заботливо, как родная мать, ухаживала она за раненым лейтенантом-партизаном Александром Грачёвым. И он выздоровел. Не сразу выздоровел, а лишь через три месяца.

За это время многое изменилось в минском подполье. Словно черные вороны вились над советскими патриотами гестаповцы, следя за своими жертвами; гадюками пролезали в подполье их агенты. А у подпольщиков не было еще ни опыта работы в тылу врага, ни хорошей связи с Большой землей, с Москвой. Тучей нависали фашистские вороны над головами тех, кто по зову своего сердца взял на себя тяжелое бремя борьбы с лютым врагом в его тылу.

Близился первый удар по минскому подполью.

На некоторое время фашисты как будто забыли про Рудзянку, дали отдышаться после пережитого страха, прийти в себя. Правда, ему было от чего «приходить в чувство» — сначала на допросах пытали и его. Когда же он увидел, что дело поворачивается круто и можно поплатиться жизнью, негодяй поспешил выдать Ольгу Щербацевич, ее сына Володю, а также родственников Ольги — Янушкевичей, Кирилу Труса и других людей, помогавших ему выбраться из госпиталя для пленных, с которыми он пытался перейти линию фронта.

Купив жизнь ценою предательства, Рудзянко забрался на квартиру к своим знакомым, ничего не звавшим о его преступлении, и тихо сидел там, зализывая раны.

Когда ему выписывали документы в фашистской военной контрразведке, то дали и

продовольственные карточки. Теперь изменнику можно было не заботиться о том, где бы раздобыть еду.

Однако время, отпущенное на поправку, кончалось. Нужно было идти на службу.

Что творилось в его поганой душе, когда он надевал длинное пальто и рыжую шапку, чтобы идти к своим шефам? Видно, один только страх, неодолимый, звериный страх, когтями держал его сердце. Жить, любой ценой жить, еще один день, минуточку...

«Главное в такой всемирной бойне — выжить, — убеждал он сам себя. — Кто скажет, чем кончится эта война? Красная Армия вон куда отступила... Немцы — под Москвой, у них сила... Кто упрекнет меня, если они победят?.. Да и кто будет знать?»

Шел он тихо, опираясь на палку и прихрамывая на одну ногу.

Поднявшись в скверик, в котором не так давно были повешены Ольга Щербацевич и ее сын Володя, Рудзянко еще издали увидел своего шефа. Грузный рыжеватый майор, важный, надутый, в сопровождении долгового горбоносого зондерфюрера прогуливался по центральной аллее. Майор что-то говорил, а зондерфюрер в ответ почти на каждое его слово кивал своей лошадиной головой. Шеф заметил Рудзянку и круто повернул к Дому Красной Армии. Рудзянко поковылял за ним. В парадном подъезде майор что-то коротко приказал постовому, и тот спокойно пропустил Рудзянку. В вестибюле шеф кивнул ему головой, приказал идти следом. Поднялись на четвертый этаж.

Этот дом был одним из немногих зданий города, каким-то чудом уцелевших от бомбежки. Фашисты превратили его в «офицергайм». Здесь, где когда-то ежедневно веселились минчане, было пусто и безлюдно. Звуки шагов эхом отдавались в дальних уголках просторных коридоров.

Шеф привел Рудзянку в пустую комнату. Разговаривали стоя. Майор говорил по-немецки, бросая в лицо Рудзянке короткие обрывки фраз, а зондерфюрер переводил их на русский язык.

— Теперь вы будете работать на Абвер, — картавил зондерфюрер, плохо выговаривая букву «р». — Вам дается возможность загладить свою вину перед великим Германским государством, принять активное участие в строительстве новой Европы. Шеф уже говорил вам однажды, — продолжал он переводить, — что иного выхода у вас нет. Коммунисты не простят вам того, что вы сделали. А мы не простим, если вы измените нам. Вы обязаны доносить нам о лицах и группах, ведущих подрывную деятельность. Для этого вы должны все время находиться в самых людных местах: ходить по улицам, посещать рестораны, кино, магазины, театры, рынки, прислушиваться к разговорам. Услыхали, что кто-то сказал плохое о Германии, — сразу же подхватывайте, ругайте немцев, высказывайте возмущение новыми порядками. Старайтесь, чтобы вам поверили. Запоминайте людей, настроенных против нового порядка, чтобы потом сообщить нам.

И Рудзянко запоминал. Шутить с этим толстяком не будешь. Теперь ему ничего больше не оставалось делать, как только слушать и выполнять приказы.

— Не торопитесь, — продолжал майор, а за ним и зондерфюрер. — Работайте спокойно, так, чтобы вам действительно верили и открывали свои души. Не скупитесь на выражения, пусть они почувствуют, что вам очень противны и мерзки теперешние порядки в городе. Таким образом попытайтесь залезть в души врагов Германии и разоблачайте их, особенно людей, оставленных здесь для подпольной работы против нас.

Говорили долго. У Рудзянки аж темнело в глазах. Потом ему выдали карточки для питания на фабрике-кухне и в столовой на площади Свободы. Зондерфюрер дважды пересчитал карточки —

чтобы не дать лишнюю.

— А это — свидетельство, что вы зачислены на службу в Центральное торговое товарищество «Восток», — сказал зондерфюрер, вытащив документ из бокового кармана кителя. — Находится товарищество возле Западного моста. Наведывайтесь туда. Хотя вообще быть там не обязательно. Через две недели снова явитесь сюда с докладом.

Майор брезгливо кивнул головой и повернулся широченной спиной к Рудзянке. Зондерфюрер коротко объяснил:

— Все. Идите...

Низко поклонившись толстому заду своего шефа, а затем и долговязому зондерфюреру, Рудзянко направился к двери. Он шел весь напрягшись, ожидая, что вот-вот шеф снова остановит его.

Кружилась голова, больно ныла рана, хотелось скорей присесть. Теперь он на все согласен, лишь бы его не трогали, оставили в покое. Что ему люди, если самому так тошно...

Приковыляв на сквер, он сел на скамейку, отдышался. На свежем воздухе ему стало легче. Старался собраться с мыслями. Нужно начинать службу... Да, службу. Хозяева спросят, оправдал ли он свой хлеб.

Несколько дней он терся среди людей на рынке, прислушивался, принимался. Люди попадались всякие, и разговоры у них тоже были разные. Случалось сорвется у кого-либо неосторожное слово. Борис Рудзянко — тут как тут.

— Ого, немцы! — горланил он, чтобы слышали другие. — «Культурная нация»... Я сам так думал, пока собственными глазами не увидел. Это же самые настоящие живодеры, проклятые, в них человеческого ничего нет...

Люди удивленно смотрели на чересчур смелого оратора и боком, боком отходили прочь. Очень уж подозрительно говорил этот хромоногий скелет.

Не поймав ни одной жертвы, Рудзянко скверно ругался и шел дальше, забирался в толпу и снова прислушивался да приглядывался.

Только однажды клюнуло.

Рудзянко, как всегда, пришел на фабрику-кухню обедать. Еще от порога присмотрел в углу столик, за которым сидел лишь один человек. Потирая с мороза руки, направился туда. По привычке под мышкой держал свою палку, которая теперь уже и не нужна была, — нога давно зажила. Палку поставил рядом у стены, а сам опустился на стул, всматриваясь в соседа.

Бросив беглый взгляд на кисть его левой, простреленной руки, Рудзянко тихо вскрикнул:

— Га, неужели это ты?

— Как видишь, братец Обломов, я. Самый натуральный я...

— Ну и ну! — удивился Рудзянко, который в госпитале назвал себя Обломовым и на эту фамилию потом подделал себе документы.

Перед ним был один из тех, кто лежал с ним в госпитальной палате, Бобровский.

— А ты как оттуда выбрался? — спросил у него Рудзянко.

— Убежал, как и ты.

— Чем занимаешься? — обрадовавшись находке, почти шепотом спросил Рудзянко.

— Ничем, братец Обломов... Пока что ничего интересного не нашел. Все еще присматриваюсь, — так же тихо ответил Бобровский.

— А как у тебя с документами? — еще тише, почти упираясь лбом в лоб соседа, снова спросил Рудзянко.

— Ого, здесь братец, у меня ажур! — уже громко ответил Бобровский, а потом, спохватившись и перейдя на шепот, продолжал: — Может, и тебе нужно сделать? Ну, скажем, паспорт или военный билет? Могу...

— Где ты берешь бланки? — не ответив, поинтересовался Рудзянко.

— Бланки военных билетов нашел в подвале военкомата на площади Свободы. Много! А паспорта покупаю в одном месте. Недорого! Ну, так как же, сделать тебе?

Рудзянко растерялся. На это он не рассчитывал. Шеф тоже не давал инструкции, как быть в таком случае. Нужно как-то выкручиваться самому.

— Денег пока что нет...

— Нет, так будут. Ты же не калека, найдешь... Если деньги достанешь, то ищи меня здесь. Я часто тут бываю. Ну, пока, до встречи!

Помня о своей службе, Рудзянко поспешил на явку. Шеф у него теперь был новый — высокий брюнет с грубыми чертами лица. Ходил всегда в штатском желтом кожаном пальто и такой же шапке-ушанке. Этот, видать, был из прибалтийских немцев, говорил по-русски, хотя и с заметным акцентом. Ему и рассказал Рудзянко о своей встрече.

— Документы закажите, — приказал шеф. — Но этого мало. Нужно узнать, кто с Бобровским еще занимается подделкой. Он ведь сам признается, что не один действует. Кто-то продает ему бланки, оформляет документы, ставит печати и подписи... Все, все выведайте. А потом нужно вашего Бобровского арестовать. Вот вам записка — получите четыре литра водки. Это чтобы заплатить за документы...

Бобровский очень охотно согласился за четыре литра водки сделать паспорт и военный билет на имя Обломова. Но он ничего не сказал о своих сообщниках.

— Это, братец, дело, можно сказать, деликатное, и чем меньше людей знает о нем, тем лучше. Тебе нужны документы? Пожалуйста, сделаем первоклассные! Твоим друзьям? Тоже можно, если ты за них поручишься, под твою личную ответственность... Ведь здесь головой можно поплатиться... Понимаю, понимаю...

— Но выручать честных советских людей нужно? Нужно! А кто это сделает, если не мы? — Немного помолчав, Бобровский спросил: — Есть у тебя еще знакомые, которые нуждаются в документах?

Рудзянко ответил не сразу:

— Надо подумать, — может быть, и найду.

— Только ты осторожней, братец Обломов... — еще раз предупредил Бобровский. — А твои документы будут через неделю. Встретимся здесь, получишь.

Через неделю действительно он ждал Рудзянку на фабрике-кухне. Когда уселись за стол, молча достал завернутые в газету паспорт и военный билет и подал. Простреленная рука его заметно дрожала.

— Спасибо, — выдавив на худом лице улыбку, сказал Рудзянко. — Сейчас пойдем ко мне, получишь водку.

— Во, хорошо! — обрадовался Бобровский. — Тогда можно будет и пообедать. Пошли!

Едва они сошли с крыльца, сзади подскочили трое в штатском и подхватили их под руки: двое —

Бобровского, один — Рудзянку.

— Спокойно, вы арестованы! Идите так, будто ничего не случилось... Мы — старые знакомые. Веселей, веселей...

Немного в стороне стоял шеф Рудзянки. Он сделал вид, что не понял того, что здесь произошло, и ждет кого-то из фабрики-кухни. Но одним глазом искоса следил за каждым движением своих подчиненных.

Арестованных повели по глухому переулку к Советской улице. Вдруг Рудзянку, как было условлено с шефом, изо всех сил бросился наутек. Агент, шедший рядом с ним, с криком побежал вслед. За углом Рудзянку бросился на улицу Берсона, а конвоир его умышленно отстал.

Теперь уже Рудзянку шел на явку с уверенностью, что заслужил похвалу хозяина. Видно, Бобровский — птичка довольно важная, если может фабриковать документы. Верно, у него есть крепкая подпольная организация. Встретившись с шефом, Рудзянку несмело спросил:

— Ну, как Бобровский? Признался?

Шеф поморщился и буркнул:

— Казус получился... Бобровский — агент шуцполиции. Он сам хотел поймать тебя. Они практикуют такое: продают документы с еле заметным надрезом на определенном месте, а потом во время проверки или прописки арестовывают владельцев таких документов.

Рудзянку стоял, как мыла съевши. Даже сам шеф начал успокаивать его:

— Ничего, случается... Недоразумения могут быть. На первый раз мы прощаем тебя. Но впредь будь более внимателен. Ищи, настойчиво ищи... Есть сведения о подпольном большевистском горкоме. Тебе нужно пролезть в него.

Некоторое время Рудзянку бродил по городу, обдумывая, через какие щели протиснуться в подполье. Но так ни до чего определенного и не додумался. И только спустя несколько дней ему неожиданно повезло, — проходя по улице, он заметил знакомое лицо. Остановился, схватил человека за руку:

— Подожди, подожди, дружок, чего зазнаешься?

Тот моргал глазами, не веря себе:

— Так и ты здесь? Вот это диво! Чудесно, что мы встретились!

Рудзянку узнал Никиту Гуркова — человека, с которым также долго лежал в госпитале. Они даже вместе выбрались оттуда с помощью Ольги Щербацевич. Но Никита как-то отбил тогда от их компании. Сейчас они наперебой старались расспросить друг друга: как, да что, да какие у кого планы...

Неуравновешенный Никита Гурков не умел держать язык за зубами. Давно ли он только мечтал выбраться из-под надзора госпитальной стражи, а удачно выскользнув на волю, держался так, будто вокруг на сотни верст — ни одного фашиста.

Теперь, после долгих прожитых лет, в мирных условиях, мы можем сурово осудить многое из того, что тогда делалось подпольщиками. Мы можем жестоко упрекнуть их за чрезмерную доверчивость, за неумение соблюдать элементарные правила конспирации, за многие организационные промахи в работе. И все это будет справедливо.

Ошибались? Да, ошибались, и довольно часто... Дали пробраться в подполье фашистским шпионам и провокаторам? Да, недосмотрели, доверились, дали... Поплатились за это? Конечно, заплатились. Но кого винить? Тех, кто ошибался? Так они же ошибались потому, что не знали, с какой стороны

подступиться к делу. Разве кто-нибудь даже за день до войны догадывался, что ему придется самому возложить на себя бремя ответственности за судьбу родины? Или думал кто-нибудь из них, скажем, в первую неделю войны, что такое подпольная работа в тылу врага? Им, коммунистам, честным советским людям, никто не говорил — создавать подпольную организацию, никто их не учил методам подпольной борьбы. Всё они делали сами, по зову своего сердца, по своему собственному разумению. И ошибки, которых они совершили немало и за которые расплачивались кровью, — не их вина, а их беда.

Среди многих ошибок самой тяжелой была та, которую допустил Никита Турков. Увидев Рудзянку, он радостно воскликнул:

— Вот хорошо, что мы встретились!

Оба направились в тихий переулок.

— Ну, как ты зовешься теперь?

— Документы имею на Обломова...

— Вот и хорошо. Кое-как перебиваешься?

— Перебиваюсь. Научился сахарин добывать, торгую понемногу, тем и живу.

Здесь он не соврал. Новый шеф сразу же после их знакомства предложил Рудзянке торговать сахарином. Даже станок передал для расфасовки сахарина. Большая доля выручки шла шефу, но и себя Рудзянку не обижал. Спекуляция сахарином давала ему возможность шнырять по рынку и подслушивать.

— И много зарабатываешь?

— Обижаться нечего. Деньги есть. Продукты тоже. Одним словом, кое-как приспособился... Только жить вот так скучно, без настоящего дела...

— Я понимаю тебя, — доверчиво сказал Никита. — Но это можно поправить. Я познакомился с одним интересным человеком. Он — член подпольного партийного центра. Кличка его «Клим». Партийный центр организует партизанские отряды, направляет туда людей. Надеюсь, со временем будет возможность и нам пойти в отряд. А пока надо помогать подпольщикам всем, чем только можно...

От радости у Рудзянки даже дыхание захватило. Он замахал руками:

— Подожди, подожди, друг, зачем ты так открыто говоришь мне об этом? Ты же не знаешь, кто я и что я... А может, я продам тебя вместе с твоей организацией? Может, я провокатором стал за это время?

Никита возмутился:

— Как тебе не стыдно говорить такое? Я не верю! Разве мог ты после того, что испытал от фашистов, стать их холуем? Нет, так люди не меняются... Я верю тебе, поэтому и открылся.

Впалые щеки Рудзянки расплылись в улыбке.

— Это, конечно, хорошо. Нельзя тратить веру в своих людей. Без веры в людей ничего не сделаешь. На прощание они условились, что встретятся снова в воскресенье. Никита придет к Рудзянке в гости.

— Обязательно приходи, угощу. Ты ведь, должно быть, давно по-людски не ел.

Но Турков не пришел. Рудзянку это очень обеспокоило: не переиграл ли он снова, не пронюхал ли Никита что-нибудь? А шеф уже знал, что Рудзянку напал на след подпольщиков, очень обрадовался и приказал ни на минуту не упускать жертву из поля зрения.

Никита, между прочим, во время встречи с Рудзянкой сказал, что работает сапожником на улице Свердлова. Рудзянко направился к нему. Мастерская помещалась в одноэтажном деревянном домике. В одной половине его кто-то открыл пивную, а в другой была та самая мастерская, где работал Никита. Еще до войны он был хорошим сапожником, и это очень пригодилось теперь, в тяжелую минуту. Кто бы мог подумать, что вот этот грязный, взлохмаченный, сутуловатый мастер совсем недавно был командиром Красной Армии?

Войдя в мастерскую, Рудзянко поздоровался с Никитой, как со старым знакомым. Попросил его забить пару гвоздей в каблук. Затем Никита вышел проводить Рудзянку.

— Что же ты не пришел, как обещал? А я и угощение приготовил неплохое...

Никита смутился:

— Что-то давно Клима не видел. Не приходил он ко мне. А без него я не хотел идти...

— Ну ничего, такую беду поправить можно. Жду тебя в следующее воскресенье...

— Хорошо. Однако наверняка обещать не буду. Если он заявится ко мне, тогда и придем.

— Договорились... Всего!..

Нужно сказать, Рудзянке очень везло на таких, как он сам. Шатаясь по рынку, он встретил еще одного из тех, кто лежал с ним в госпитале, — низкого, курносого, с круглым лицом, в черном пальто и черной шапке. Встретились они как родные, тискались друг другу плечи, хлопали по спине. — Давай отойдем немного в сторону, — предложил курносый, — здесь слишком ушей много. «Порядок! — обрадовался и Рудзянко. У него от неожиданной удачи приятно защекотало под ложечкой. — На ловца и зверь бежит...» Они сошли с рыночной площади и направились в сторону вокзала.

— Ты извини, друг, я забыл твою фамилию... — виноватым голосом сказал курносый.

— Обломов... Однако быстро ты забываешь...

— Что поделаешь, война отбивает память... С этими выродками поживешь, так и свое имя забудешь...

— Кого ты имеешь в виду? — осторожно спросил Рудзянко.

— Га, ты еще спрашиваешь! А тебе разве не опротивели эти надутые морды, которые унижают тебя на каждом шагу?

— Я никогда не думал, что немцы такие подлюги...

— А я разве иначе думаю? — заверил его Рудзянко. — Да я готов им зубами горло перегрызть. Всю жизнь искалечили, поломали... Сколько горя и слез человеческих... Бандиты, настоящие бандиты... А прикидываются создателями нового порядка...

Пока дошли до Добромысленского переулочка, наговорились вволю. А сколько бранных, оскорбительных слов было сказано в адрес фашистов!

Однако своей квартиры Рудзянко все же не хотел показывать новому приятелю. Он подвел курносого к дому, в котором ночевал только два или три, и сказал:

— Я тут живу...

— Зайдем?

— Нет, не стоит... у хозяйки сегодня беда: дочка померла. Другим разом как-нибудь соберемся, поговорим. Давай через два дня встретимся на том же месте...

— Обязательно приду.

И они крепко пожали друг другу руки. А на следующий день хозяйка квартиры, о которой говорил Рудзянко, разыскала его и сообщила, что какой-то курносый в черном пальто приводил полицаев СД и все добивался, где Обломов.

«Будь они неладны, — ругался Рудзянко. — Куда ни ткнешься — везде шпики... Разве так можно работать?!»

Под Москвой гремели пушки.

Минчане не слышали этого гула, но видели его результаты — эшелоны с ранеными фашистами непрерывно тянулись на запад. Подпольщики старательно считали их и передавали сведения в партизанские отряды.

Наступление Красной Армии под Москвой окрылило подпольщиков. Руководители Военного совета партизанского движения Рогов, Антохин, Белов совсем забыли о реальной обстановке, в которой приходилось работать. В самом центре Минска они созывали совещания командиров партизанских отрядов, установили дежурство в штабе, ввели письменную документацию — приказы, донесения... И это буквально по соседству с СД. Фашистская служба безопасности ничего бы не стоила, если бы не обратила на это внимания.

Сколько раз Славка говорил Рогову:

— Не слишком ли смело вы играете в войну и в военных? Зачем вся эта помпа, с какой вы проводите совещания командиров партизанских групп? Этак недолго одним махом загубить весь командный состав, который партийная организация подбирала в тяжелых условиях...

— Да что вы все дрожите?! — фанаберисто отвечал Рогов. — Если боитесь, можете отойти в сторону и заниматься себе втихомолку агитацией. Мы взялись воевать, а не играть в конспирацию, военное дело разрешите нам вести...

— Вы ошибаетесь — партийная организация решает все: и агитацию, и материальное обеспечение, и военные дела...

От этих слов Рогов поморщился, будто от оскомины. Хотя он был только майором-интендантом, но держался так, словно был великим военачальником. И вдруг какой-то гражданский начинает учить его.

— Когда вы станете маршалом, тогда будете командовать, — вскипел он. — А теперь все, что касается военных операций, будем разрабатывать мы, в Военном совете...

Рогов пользовался поддержкой некоторой части подпольщиков из числа военных. Им импонировали его показная храбрость, соблюдение военного ритуала, умение выставить себя «настоящим командиром». Даже создание многих партизанских отрядов в Минской зоне они приписывали не партийной организации, а исключительно Рогову и его соратникам — Белову и Антохину.

Обострять отношения со «штабистами» Славка не хотел — это могло ослабить силы подполья. Но и полностью полагаться на них рискованно: при таком поведении очень легко попасть в когти СД. Поэтому он держал Рогова, который был представителем Военного совета в горкоме, в стороне от многих дел.

— Где это «Вестник Родины» и листовки печатаются? — спросил его однажды Рогов.

— Зачем это вам?

— Да так, интересно.

— Есть старое правило конспирации: подпольщик не знает больше, чем он должен знать.

— Опять конспирация... — недовольно проворчал Рогов. — Щит для трусов.

— Можете думать, что хотите, но лишнее знать вредно. Для того же человека и вредно, который будет знать. Попадет в СД, не выдержит — и все расскажет. И чем больше будет выдавать, тем больше будут бить, чтобы еще что-нибудь вытянуть.

— Вы так говорите, будто самому пришлось испытать...

— Не пришлось, но представляю, что ждет меня, если попадусь.

Такие споры между ними происходили довольно часто. Но и Рогов не отваживался идти на раскол с партийной организацией. Как ни переоценивал он свои силы, однако понимал, что без партийной организации он ничего не сделает и партизанские командиры слушают его потому, что считают Военный совет отделом горкома.

Провалы начались с Военного совета. Канцелярская пунктуальность в работе штабистов оказала большую услугу гестаповцам: они захватили списки и другие документы, которые оформлялись в Военном совете по всем бюрократическим правилам.

Члены Военного совета Рогов, Белов, Антохин, схваченные первыми, сразу же начали выдавать друг друга, а затем и других знакомых подпольщиков.

Об арестах Славка узнал в тот же день. Вместе со своей квартирной хозяйкой Аленой Ровинской он перешел на новое местожительство. Едва успели уйти, как на прежнюю их квартиру приехали одетые в штатское полицаи с Роговым. Но им осталось только понюхать горячие следы. Славка и Леля сидели у надежных людей. До них доходили вести о все новых и новых арестах. Схватили Георгия Глухова, Петра Алейчика, Николая Герасимовича, Николая Демиденко, десантников Ефима Горицу и Осипа Ковалевского.

Рогов все доискивался, где лежит раненый партизан, лейтенант Александр Грачев, и кто его лечит. Он слышал, что какой-то профессор и женщина-врач под носом СД открыли партизанский госпиталь, и теперь хотел выслужиться перед фашистами — выдать советских патриотов.

Не выдержав пыток, Рогов, Белов и Антохин выдавали всех, кого только могли выдать. Застенки СД пополнялись все новыми и новыми жертвами.

Фашистское кольцо сжималось вокруг Славки. О себе он не думал, но каждое известие об арестах боевых друзей ранило его в самое сердце. Как это он недосмотрел, не уничтожил с корнем беспечность, небрежность, как не распознал в фанаберии Рогова, Белова и Антохина обыкновенной позы? Зачем было допускать их к такому великому и святому делу?

А вести приходили все более и более тяжелые. Предатели выдали Степана Зайца, Георгия Семенова, Николая Иванова (Андрея Подопригору)... Что ни фамилия, то, кажется, еще один кусок сердца, вырванный из груди!

Славку многие знали. Ему нельзя было показываться на улице. А товарищей, которые еще не были схвачены СД, необходимо было предупредить о предательстве Рогова и его сообщников.

Уже несколько человек прямо на улице попали в западню СД. Рогов ходил в сопровождении переодетых в штатское гестаповцев. Увидев знакомого подпольщика, он бросался ему навстречу, протягивая руку для приветствия. Стоило тому подать руку в ответ, как его хватили гестаповцы и тащили в СД.

— Леля и Тоня, — попросил Славка Ровинскую и новую хозяйку квартиры, Антонину Мелентович, — нужно предупредить товарищей, которые еще не попались.

Женщины, одетые так, чтобы их не узнали даже знакомые, пошли на явочные квартиры. Случалось, что еще издали они видели около домов, где жили подпольщики, черные невысокие машины СД. Тогда молодые женщины быстренько сворачивали в сторону и торопились в другие дома. Сколько раз они чуть не попали в лапы гестаповцев!

Группа железнодорожников во главе с Кузнецовым должна была первой выбраться из города. На 29 марта Славка назначил встречу с Кузнецовым на Суражской улице, возле завода имени Мясникова, чтобы обсудить детали отправки группы из города. Тоня и Леля пошли на Суражскую — направить Кузнецова на квартиру Мелентович, где ждал его Славка. Просидели целый час, но Кузнецова все не было.

— Может быть, он у Жоржа на Кооперативной улице, — высказала предположение Тоня.

— И действительно, может, поостерегся идти сюда и там задержался.

На Кооперативной улице также была явочная квартира, где довольно часто встречались подпольщики. Однако и там Кузнецова не было. Зато хозяин квартиры Жорж сообщил, что в город пришла связная из отряда Василя Воронянского. Партизаны уже услышали о предательстве Рогова, Белова и Антохина и предлагали подпольщикам, которые еще оставались на свободе, немедленно уйти в отряд.

— Саша Макаренко очень обеспокоен положением в городе, — передавал Жорж слова связной. — Он настойчиво требует прятать людей в лесу.

Весть, что в городе связная из отряда, обрадовала Антонину и Лелю. Они поспешили домой и рассказали Славке о всем услышанном и увиденном.

— Это очень, очень хорошо! — обрадовался и он. — А я все время беспокоился, как отправить людей в лес без проводников. Теперь все в порядке. Леля, дорогая, сходи еще раз на Кооперативную и постарайся сама поговорить со связной. Расспроси обо всем. А ты, Тоня, снова сходи к тем, кого фашисты еще не схватили, и предупреди — пусть собираются идти в лес. Пусть будут готовы отправиться в любую минуту. Потом мы скажем, когда и куда идти.

Нелегко пройти под неусыпным надзором врага через весь город и передать десяткам людей приказ. Но Антонина не вымолвила ни слова. Молча надела старенькое пальто, укуталась большим платком так, что видны были только затуманенные печалью глаза, и, сгорбившись будто старуха, пошла. Где сама заходила в явочные квартиры, где просила других, таких же, как и она, скромных рядовых подпольной армии, передать распоряжение горкома. И каким жутким ни казался разгром, жизнь шла — живые не могли не бороться с врагом. Приказ горкома передавался по назначению.

Леля вернулась раньше, чем Антонина. Она принесла приятную новость: разговаривала со связной, и та согласилась вывести из города столько людей, сколько предложит горком. Так приказал Макаренко. Но связная просила Лелю прийти в шесть часов вечера и дать подробные сведения, сколько подпольщиков пойдет в лес, где собираться и когда. Просила не затягивать очень, так как есть подозрение, что и за этой квартирой начали следить. Как бы не провалиться...

— Хорошо, я немного побуду один, — сказал Славка. — Ты извини, мне нужно собраться с мыслями...

Леля вышла в другую комнату, а он глубоко задумался. Что еще знают предатели? Кого они еще могут выдать? Какие явочные квартиры им еще известны? Напрягая память, снова и снова уточнял, когда и где были Рогов, Белов, Антохин, с кем они встречались, что знают. К сожалению, знали они

слишком много.

Еще и еще раз упрекал себя Славка: почему не послушал тогда разумных советов Григория Смоляра, опытного конспиратора, прошедшего большую школу подпольной борьбы в Западной Белоруссии? За его плечами такой богатый опыт партийной работы! А здесь неумелые люди взялись за дело и тыкались туда и сюда, как слепые котятка. Ведь говорил же Смоляр: «Зачем вы связались с этим Военным советом? И что это за организация такая? Почему они играют в войну?»

Казалось тогда Славке, что не от мудрости так говорит Смоляр, а от боязливости, стараясь перестраховаться.

И вот жизнь показала, что Смоляр говорил правду. Не прислушались к его словам члены комитета — и теперь расплачиваются... Еще неизвестно, какова будет эта расплата, сколько крови прольется... Но сделанного не вернешь. Только бы сохранить хоть часть подпольщиков. Теперь стало ясно: работу подполья необходимо организовать иначе. Дорого обходится такая наука, очень дорого... И что еще нужно учесть, чтобы спасти людей от ареста? Где лучше собраться? В какое время? Под вечер Тоня вернулась домой. А Леля надела ее зимнее пальто, завязала платок и собралась уже выходить.

— Подожди, Леля, вместе пойдем, — вдруг сказал Славка, выйдя из своей комнатки.

— Что ты надумал? — набросилась на него Тоня. — Жизнь тебе надоела? На улице аж темно от фашистских собак — и в форме, и штатских. Сразу видно... Только выйдешь — схватят...

— Так уж и схватят! — засмеялся Славка. — Хоть и смелые вы женщины, а тоже дрейфите.

Поймите, я должен сам идти и договориться, как и что. Не могу я решать судьбу людей, словно князь, через полномочных посланцев. Вы только не обижайтесь, пожалуйте. Пошли, Леля! Будем идти, как муж с женой, кто обратит внимание на нас?

— Ой, еще как обратят! — не сдавалась Тоня. — Я сама видела, как шныряют глазами эти гадюки на всех улицах. Послушай меня, Славка, останься здесь. Ты ведь знаешь, что Леля обо всем может договориться и без тебя...

— Действительно, зачем тебе рисковать? — поддержала Леля. — Или ты мне не доверяешь?

— Э-э, что ты глупости выдумываешь! — разозлился Славка. — Как это не доверяю тебе?! Но не могу поручить другим за меня решать дела. У нас нет времени вести дипломатические переговоры, нужно действовать. Пошли!

Солнце уже склонилось над крышами товарной станции, когда Славка и Леля подходили к явочной квартире, где их должна была ждать связная. На улице Славка радостно вздохнул полной грудью. Даже здесь, где все пропахло паровозной гарью, хорошо чувствовалось веяние весны. Ноздреватый и ломкий снег еще более почернел. Кое-где на припеке уже булькали живые ручейки. Чистое небо манило к себе. Казалось, вот-вот за плечами вырастут крылья, и тогда, с наслаждением взмахнув ими, можно будет взвиться в бездонную голубизну.

— Дай только вырваться на простор! — взволнованно сказал Славка Леле на ухо. — Эх и заживем! Хочется почувствовать в руках автомат... Так, чтобы он дрожал, трепыхался от выстрелов...

Леля остановила его возле дома, в который они шли.

— Ты оставайся здесь и жди, — сказала она, — а я зайду на квартиру и посмотрю, все ли там хорошо. Когда выйду, тогда ты войдешь.

Он взял ее за плечо и осторожно отстранил от себя:

— Какая ты стала боязливая...

И размашистым шагом направился к дому. А она стояла растерянная, будто приросла к земле, и тревожно глядела ему вслед. Почему он сегодня какой-то не такой, как всегда: возбужденный, порывистый, резкий?..

Как только за ним закрылась дверь, оттуда вдруг послышался грохот. Еще мгновение — и от сильного удара дверь распахнулась, и большой клубок человеческих тел с хрипом и стоном выкатился из дома. В самом центре клубка мелькали то разодранный кожаный плащ Славки, то его кудрявый черный чуб, то багрово-синий от напряжения кулак. Гестаповцы, будто овчарки, вцепились в него, а он поднатужился, распрямился и так тряхнул их, что двое или трое фрицев кувырком полетели в снег. Но другие продолжали висеть на нем, ломали ему руки, выкручивали их за спину. Он бил их ногами, колотил головой, грыз зубами. Из дома выскочили полицаи на подмогу, снова всей кучей навалились на него враги, прижали к земле, придавили и наконец скрутили руки и ноги.

Все это произошло за какие-нибудь три-четыре минуты. Окровавленный, связанный веревками Славка лежал на снегу.

Леля, как только увидела, что из распахнутых дверей вывалились гестаповцы и Славка, бросилась на квартиру к Ватику Никифорову, жившему тогда на улице Чкалова. Там было еще несколько подпольщиков, и они спешно перебрались на запасные квартиры, о которых не знали ни Рогов, ни Белов.

Через несколько дней большая группа железнодорожников-подпольщиков во главе с Кузнецовым выбралась из города к партизанам.

А для Славки наступили дни великого испытания. Его пытали ежедневно. Вернее говоря, пытали еженощно. Он уже потерял представление о том, когда потухает день и когда начинает светать. Не успевал он прийти в сознание, облитый водой, на цементном полу, как палачи снова принимались рвать его тело...

Но он держался. Его могучий организм сопротивлялся смерти. На какое-то время, ничего не добившись от него, Казинца затащили в подвал, где были сделаны клетки для заключенных, и бросили там. Окна в клетке не было. Тусклый свет пробивался откуда-то через дощатую перегородку, немного не доходившую до потолка. После очередной пытки сознание возвращалось не сразу. В полузабытьи то выплывали из мрака разъяренные морды палачей, то они расползались, и вместо них возникали перед ним какие-то фантастические, страшные существа, которые он рисовал себе в детстве, читая народные сказки и повести Гоголя.

Постепенно становилось легче, и тогда он начинал думать.

Сначала вставали в памяти картины совсем близкого прошлого, того, что было несколько часов назад. Он был крепко привязан проволокой к скамейке. Палачи знают, что напряженное тело острее воспринимает боль. Били его сперва нагайками, бесконечно долго и размеренно, будто молотили цепями. Потом посыпали солью и еще били ножками от стульев.

Конца пытки он уже не помнит. Сознание вернулось в коридоре, куда его выбросили. Едва пошевелил головой, подняли и снова потащили на допрос.

Еще запечатлелись в памяти две маски. Сначала одна, а затем вторая. Палач спрашивал их: «Этот? Он?» Люди в масках молча кивали головами и уходили. Нет, он не бредил. Так оно и было. За одной

маской он узнал Рогова, за другой — Антохина. Узнал по фигуре и походке. И уже ничего не мог сделать с предателями. Ничего...

Да, Исай Казинец, кажется, пришел ты на свой рубеж. Из этого колодца одна дорога — на виселицу. Тяжело примириться с такой мыслью. Но это факт, реальность. От нее никуда не денешься.

Очень жаль, что так мало успел сделать в своей жизни. Однако и раскаиваться тебе не в чем. Жил честно и умирать будешь честно. Не осквернил ни чести своей Родины, ни памяти своего отца.

Отцом Исай гордился с малолетства. Жили Казинцы в 1918 году в Геническе. На юге Украины орудовали белогвардейцы. Павел Казинец создал партизанский отряд из рабочих и наносил врагу удар за ударом. Однако нашелся предатель и выдал партизан. Однажды ночью троих схватили белые, в том числе и Павла Казинца. Их вывели за село, на пригорок, к ветряку, поставили лицом к начинающему розоветь востоку и расстреляли. Двое свалились сразу, а раненый Павел Казинец бросился бежать в высокую пшеницу, что шумела рядом. Вслед ему загрели выстрелы. Вторично раненный, он упал. Каратели подбежали к нему с обнаженными шашками, а он кричал:

— Всех не посечете!.. Нас миллионы!..

Туда же, на пригорок, сельский пастух на заре пригнал стадо. Замерев от ужаса, с невыразимой душевной мукой смотрел он, как бандиты-белогвардейцы рубили шашками раненого, беспомощного человека. Пастух узнал Павла Казинца. Он хорошо знал его, защитника бедных людей.

Когда каратели ушли в село, пастух бросил стадо и побегал к жене Павла Казинца. Они взяли изрубленное шашками тело, принесли к тем двум, что упали от первых выстрелов. Потом один бедный крестьянин запряг свою тощую лошадку и тайно повез убитых в Геническ.

Белогвардейцы уже отступили из города. Рабочие сделали один гроб для всех трех героев.

Множество людей провожало их в последний путь.

Исай был тогда еще совсем маленький, но он хорошо понимал, что произошло и что ему дальше делать. Образ отца светил Исаю всю его жизнь, и рано осиротевший парень ни разу не изменил этому образу.

Вскоре после гибели отца больная мать вынуждена была отдать Исаю, его младшую сестру и брата в детский дом. Там он научился ценить жизнь и труд, изведать силу коллектива. В четырнадцать лет он уже стал главою семьи. Жили они тогда в Батуми. Работал Исай на заводе, где и вступил в комсомол, учился в средней школе. Потом окончил техникум в Горьком, работал в Сормове и одновременно учился заочно в институте. Вступил в партию. Из Сормова его направили в Белосток главным инженером Нефтебьита. Волевой, энергичный, инициативный, он сразу же завоевал симпатии коммунистов. Молодого инженера выбрали секретарем партийной организации.

Где бы ни был Исай, никогда не забывал он о физической тренировке. В Батуми весь год купался в море. Зимой и летом спал на балконе. Не нарушал этого режима даже в дождь: только поверх одеяла набрасывал клеенку. Каждое утро двухпудовые гири летали у него в руках, будто мячики.

Если бы не эта тренировка, не железная закалка, может быть, уже и не очнулся бы, не выдержал бы таких тяжелых пыток... А он еще жив, еще дышит, еще думает...

Где-то далеко, за линией фронта, живут его маленькие дети. Они унаследуют от него ненависть к фашизму, как унаследовал ненависть ко всему античеловечному сам Исай Казинец от своего отца, старого слесаря-революционера Павла Казинца. Эстафета продолжается...

А теперь стоит ли жить? Зачем давать врагу издеваться над телом, пропитанным нестерпимой

жгучей болью? Не лучше ли самому покончить с жизнью? Но как? В тесной камере — только стены. Протянешь руку — стена, протянешь другую — стена, выпрямишься — голова упрется в стену, а ноги — в закрытую дверь. И больше ничего. Весь мир, вся жизнь вместились в четыре стены, как в гроб...

Сколько он пролежал в забытьи, неизвестно. На потолке исчезли тусклые блики, которые Славка видел прежде. Видно, настала ночь. Которая после его ареста — он не знал.

Снова протянул руки к стене, пощупал. Ничего нет. Шершавые доски. На полу — также ничего. Вдруг пальцы наткнулись на что-то твердое, острое. Гвоздь!

Долго не думая, стиснул его в руке и, собрав все силы, всадил себе в шею. Сразу потерял сознание. Пришел в себя в комнате, где пытали.

— Ага, еще живой! — злорадно проговорил следователь. — Думаешь, так мы и дадим тебе сразу помереть, да еще по своей воле? Ты еще узнаешь, что такое пекло. И ты все равно заговоришь, никуда не денешься.

А он молчал. Только еще большей ненавистью вспыхивали затуманенные страшной болью глаза. Приводили на очную ставку Миколу Демиденку, Георгия Глухова, Георгия Семенова, Миколу Герасимовича, Степана Зайца... Все они, увидя своего изувеченного жожака, отрицательно кивали головами:

— Не знаю...

— Не видел такого...

— Не знакомы...

Молодцы хлопцы! По-человечески принимают муки, сохраняя свое достоинство. Настоявшие патриоты!

И хотя многие из них были старше его, Исай по-отцовски радовался за своих боевых товарищей и в душе гордился ими.

К северу от Минска, между Острошицким Городком и Логойском, тянутся бескрайние Карпужинские леса. Лишь кое-где стена стройных сосен круто обрывается, из-под лесной зелени блестит лысина поляны. Можно пройти десятки верст по глухомани, продираясь сквозь мелколесье, и не встретить даже звериной тропки.

Здесь, в глубине лесов, в небольших поселочках, в стороне от битых шляхов, разместился отряд Василя Воронянского. Только партизанские связные знали неприметные тропки, которые напрямик вели сюда от Минска.

По одной из таких тропок в отряд пробирался Белов. Не так давно, накануне арестов, он хорошо расспросил у партизанского связного, как лучше и быстрее попасть в отряд. Будто предчувствовал, что понадобится ему это. А связной сообщил ему, как начальнику штаба Военного совета, и подробности пути, и пароль, и к кому нужно обратиться в лесном поселке, чтобы привел в штаб отряда.

Лес казался Белову суровым и таинственным. Из-за каждого дерева, из-за каждого пня и куста, казалось, внимательно следят настороженные, враждебные глаза. Рука Белова сжимала в кармане пистолет.

Белов был уверен, что в отряде ничего не знают о его предательстве. Откуда там могут знать, если сразу схвачено столько подпольщиков и закрыты все дороги, ведущие в Минск. В лесу боялся он не

людей, а царившей вокруг немой тишины, какой-то жуткой неизвестности.

Вот, видимо, и та деревенька, где разместился отряд. Почему же никто не остановил Белова, не проверил? Неужели Воронянский не расставил дозоров?

В деревне тихо, на улице — ни души. Белов нашел хату, о которой говорил ему связной, зашел и, поздоровавшись, сказал пароль. Ему ответили. Значит, все в порядке.

— Мне нужно в штаб отряда, — сказал он хозяину. — Прошу отвести сейчас же.

— Что же, если нужно, так нужно. Значит, отведем.

Не раздумывая, хозяин надел кожух, сменил валенки на сапоги. Натягивая их, покосился на Белова:

— Уж очень легко вы обулись... Придется по глубокому снегу идти, а он уже тает... В ботинках только по мостовой прогуливаться. Какой вы номер носите?

Белов ответил.

— Ну, это хорошо. У нас как раз такие сапоги есть. Достань их из-под пола, — приказал он хозяйке. Довольно молодая еще, шустрая женщина подняла широкую половицу и нырнула под пол, будто провалилась. Тотчас же оттуда показался сначала один, а потом и второй солдатский сапог.

— Вот это другое дело. Обувайтесь! — тоном старшего, более опытного человека сказал хозяин. — И ждите меня здесь.

Ждать пришлось довольно долго. Белов растерянно гадал: куда делся отряд? Спросить об этом у хозяина или у хозяйки — еще заподозрят что-нибудь. Придется ждать, будь что будет.

Наконец уже под вечер в хату ввалилось сразу несколько человек. Раскрасневшиеся от быстрой ходьбы по лесу, лица у всех были сосредоточенные, суровые. Старший представился:

— Микола Сандаков. Вам нужно в отряд? Тогда идем, пока совсем не стемнело. Снег тает, и ночью трудно идти.

Хозяин проводил их до самого леса, молча кивнул головой Сандакову и вернулся. А они шли след в след: впереди Микола Сандаков, за ним Белов, а сзади остальные.

«Идем мы как-то чудно: меня, как арестованного, ведут», — мелькнула мысль у Белова.

Разведчики не выказывали по отношению к нему ни особенной приязни, ни враждебности. Шли молча. В лесу по-прежнему стояла тишина — трепетная, хрупкая, готовая взорваться птичьим гомоном и многоголосыми криками звериного царства.

«Все-таки куда же это меня ведут?» — не унималась тревога в сердце Белова.

Только поздней ночью из темных зарослей крикнули им навстречу:

— Стой, кто идет?

Сандаков сказал пароль.

— А, это ты, Микола? Ну, давай давай! Комиссар давно ждет.

Макаренко действительно ждал. Отряд, узнав об арестах в Минске и о предательстве Рогова, Антохина и Белова, перебрался в самый дальний от дороги лесной поселок.

А узнал Макаренко о минских делах в тот же день, когда все началось. Хотя фашисты усилили контроль на дорогах, ведущих из города, часто меняли пропуска, подписи на них, пароли, — связь с лесом ни на один день не порывалась. Захар Галло сообщал подпольщикам о всех сменах паролей и пропусков, передавал образцы подписей. Не разгибаясь сидел за своим столом Иван Козлов, подделывая документы, необходимые для выхода связных из города. Белов не знал об этом.

— Ну, что нового в Минске? — будто ничего не зная, спросил у него Макаренко.

— Трудные дела... Еле вырвался. Рогов, Антохин, Славка, Жорж и многие другие арестованы...

— Я так и думал! — сказал Макаренко. — В город связным не пробиться, — значит, происходит там скверное...

— Куда уж хуже... повальные аресты... Еле выбрался...

— Беда! — воскликнул Макаренко. — Пробрались-таки гестаповцы в подполье... Как же вам удалось выбраться?

— Да уж и сам не знаю как. Чудом. Метался из одной квартиры в другую... Думал, когда придут арестовывать — буду отбиваться, а последнюю пулю — себе!

— Надолго ли вам хватило бы отстреливаться? — с сомнением сказал Саша. — Покажите, что у вас за пушка такая?

Белов вытащил из кармана пистолет, который ему дали в СД, и протянул Макаренко. Тот внимательно осматривал оружие со всех сторон, будто впервые видел такое, а потом спросил:

— И это все? Больше никакого оружия у вас нет?

— Нету. А разве этого мало?

— Микола, поищи у него в кармане, — может быть, там случайно еще что-нибудь завалилось...

Лицо Белова передернулось, рука рванулась к карману, но Микола перехватил ее и крутнул так, что Белов даже крикнул.

— Не торопись, дружок, мы сами это сделаем...

И вытащил из кармана гранату-лимонку. Больше у Белова оружия не было.

— А теперь рассказывай, как ты торговал своими товарищами! — сурово сказал Макаренко. — Зачем прислали тебя к нам?

Лампа, подвешенная к потолку, отбрасывала по хате огромные густые тени. От этого побелевшее лицо предателя казалось еще бледнее. Белов упал на колени:

— Сжальтесь, прошу вас! Все, все расскажу, ничего не утаю; только не убивайте... Я хочу искупить свою вину, хочу умереть по-человечески...

Горбатая тень его напоминала тень огромной отвратительной жабы. Эта жаба пыталась схватить руку Макаренко, чтобы поцеловать ее, молила, скулила, но комиссар отряда отдернул руку и приказал:

— Встань, подлюга, ты перед партизанским судом. Нам известно все о твоём предательстве.

Выкладывай, зачем тебя прислали гестаповцы?

— Скажу, все скажу... Когда я дал им подписку, что буду искренне работать, они приказали пробраться в ваш отряд, спровоцировать убийство командира и комиссара, захватить командование в свои руки и сдать отряд карателям без боя... Заверяю вас, что я не сделал бы этого... Я честно воевал бы против них...

Я только хотел выбраться из города...

— Брось прикидываться. И нас за дураков не считай. А почему ты хотел гранату выхватить из кармана? Не играть ли ты с нами собирался?

Белов не знал, что ответить.

— Всех подпольщиков выдали? — снова спросил Макаренко. — Только правду говори...

— Как на исповеди... Нет, не всех. Еще много осталось на свободе. Когда начались аресты, многие сменили квартиры. Схватили только тех, кто остался на старых квартирах...

— Бреши, бреши... А как вы и на улицах охотились?.. Нам все известно. Так как же, товарищи, давайте ваши соображения. Что будем делать с предателем?

— Думка у нас одна, иной и быть не может, — уничтожить подлюгу.

— Все согласны?

— Согласны.

— В таком случае, — сурово, торжественно проговорил, словно читая по писаному, Александр Макаренко, — именем Союза Советских Социалистических Республик трибунал партизанского отряда «Дяди Васи» обвиняет Белова, который выдал врагу своих товарищей-подпольщиков, дал подписку служить фашистам, а потом пробрался в отряд, чтобы уничтожить его, в измене Родине. Учитывая огромную тяжесть преступления Белова, трибунал приговаривает его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор окончательный и обжалован быть не может!

Посиневший, с выпученными глазами Белов снова упал на колени, но его подхватили под мышки и потащили.

Вскоре глухо раздался выстрел.

Все, что происходило в городе, глубоко волновало партизан. Свои боевые операции они часто планировали на основе данных разведки, полученных из Минска. Оттуда по-прежнему поступали боеприпасы, оружие, медикаменты. Массовые аресты подпольщиков невыразимой болью отозвались в их сердцах.

— Пойду сам в город, — решил Макаренко после расстрела Белова. — Надо более детально разобраться в обстановке. Пока еще есть возможность, необходимо вывести в отряд подпольщиков, заодно забрать медикаменты у Нади Кочан. Кстати, получены новые образцы пропусков, можно смело идти, не задержат.

Командир отряда Василь Воронянский не возражал. Если комиссар решил, что нужно самому идти, значит, так лучше.

Остановился Саша на квартире у своего друга Василя Жудро. Тот жил в Пушкинском поселке, в деревянном бараке, на втором этаже. Окна его комнатки выходили на огороды, за которыми внизу стоял такой же деревянный барак.

В этом бараке и в этом же подъезде была квартира и еще одного подпольщика, старого коммуниста Ермолая Баранова. Но она выходила окнами на улицу. Таким образом, из своих квартир подпольщики могли наблюдать за всем, что происходило вокруг барака. Одно неудобство — второй этаж. В случае опасности куда денешься?

За три дня Саша Макаренко хорошо разобрался в положении подпольщиков. Посоветовавшись, решили 15 апреля вывести в отряд большую группу людей, которым угрожала опасность. Обо всем договорились накануне, теперь Саша и Вася ждали назначенного времени, чтобы выбраться из города.

Вдруг в комнату вбежал встревоженный Баранов и сообщил:

— Антохин идет.

— Закроемся и не пустим, — предложил Макаренко.

— Ну, до свидания, я в свою квартиру пойду! — сказал Баранов.

Жудро и Макаренко заперлись на замок и на засов. Антохин громко постучал.

— Кто? — спросил Жудро.

— Вася, открой, поговорить нужно.

— О чем поговорить?

— Что за манера с гостем через запертую дверь разговаривать?

— Какой гость, такой и разговор. Скажи, что ты хочешь от меня?

— Не от тебя, а от вас. Я знаю, что с тобою Макаренко. Мне сказали в соседнем доме. Отвори, говорю, неудобно вот так через дверь кричать. Нам серьезно поговорить нужно.

— О чем?

— Ну, если ты так добиваешься — о вашей судьбе. Хочу договориться, чтобы вы сдались без сопротивления.

— Ты что, дипломатический представитель СД?

— Называй как хочешь, но вы в моих руках. И я не хотел бы вредить вам...

— Смотри, какая забота о нашем здоровье! Вот тебе наша благодарность за это...

Вася выстрелил в дверь. Пуля пробила тонкую доску возле самой головы Антохина. Побледневший, с перекошенным от злости ртом, он отскочил за косяк и тоже выстрелил несколько раз.

На стрельбу снизу прибежали гестаповцы. Они начали пронизывать пулями квартиру Жудро.

Прижавшись к стене, чтобы не попасть в зону прострела, Саша и Вася отбивались редкими выстрелами из пистолетов. Это сдерживало гестаповцев, они боялись подходить к двери.

— Нужно через окно... — сказал Жудро.

— Давай сначала ты...

— Нет, ты, а я прикрою. Нужно отбиваться до последней секунды, чтоб они не догадались. Быстрей, не тyani!

В окне была уже вынута первая рама — оставалась только одна, которая легко открывалась. Саша подскочил, рванул задвижку и, убедившись, что фашисты не оставили засады под окнами, прыгнул. Соскочил он неудачно — на одну ногу, и она аж хрустнула. Страшная боль рванула тело. Все поплыло перед глазами — и огород, и дома, и синее небо. Через несколько секунд очнулся и пополз. Слышал, что сзади шлепнулся о землю Вася. Потом увидел, что из-под пальцев, которыми Вася сжимал свой живот, била струйка крови.

— Что с тобой? — спросил Вася.

— Ногу сломал... Беги, если можешь, не задерживайся...

— Может, помочь?

— Да беги ты, говорю, быстрей... Товарищей предупреди. Беги к Наде Кочан, она поможет.

Омельянюков не забудь... Беги...

Все так же сжимая руками раненый живот, Вася побежал.

А фашисты еще стреляли в дверь. Они были уверены, что Жудро и Макаренко там, в квартире, только прикидываются, что их нет. Кто мог подумать, что они спрыгнут с такой высоты!

Пока гестаповцы отважились сломать дверь, Вася спрятался на квартире у Нади Кочан, жившей на Беломорской улице в доме № 44. А Саша еще долго полз. Он тоже почти добрался до Беломорской, когда увидел недалеко от себя бледного, с искаженным от злости лицом Антохина, бежавшего в сопровождении нескольких гестаповцев следом за ним. Поднял слабеющую руку и выстрелил в предателя, но промахнулся, и враги быстро приблизились. Тогда Саша выстрелил себе в голову. Три дня пролежал он на улице. А недалеко в руинах сидела «кукушка». СД рассчитывало, что кто-

нибудь придет забрать тело Макаренки и тогда можно будет проследить за теми подпольщиками, которые еще оставались на свободе...

Антохин тем временем водил гестаповцев по знакомым ему квартирам. Он произвел тщательный обыск в квартире Насти Шевелевой, матери партизанки Веры Шевелевой, соседки Омельянюков и Зайца, тещи Саши Цвирко, того самого Саши, который помогал Володе Омельянюку проводить электроток к приемнику.

Настя Шевелева — старая, малограмотная женщина, но она, чем могла, помогала подпольщикам. У нее на квартире прятали портфель с бланками и печатями для пропусков, паспортов, аусвайсов.

Антохин знал об этом и перекопал весь дом. Но найти ему ничего не удалось. Настя успела спрятаться с портфелем на огороде, за сараем.

От Шевелевых Антохин повел гестаповцев к Омельянюкам. Сразу зайти в дом они боялись — случай с Жудро и Макаренкой напугал их. Поэтому, засев в канаве напротив дома, они открыли по окнам автоматный огонь. В доме никто не отзывался. Подождав, они еще постреляли немного короткими очередями — снова тишина. Только после этого зашли в дом.

Там уже никого не было. Володя еще раньше, за полмесяца до этого, поселился на Немиге у знакомой женщины — Насти Цитович, работавшей машинисткой в жилуправлении. А старики незадолго до налета, услышав, что раненого Васю Жудро перевели от Нади Кочан к Марусе Рынкевич, на Цнянскую улицу, поспешили туда.

Квартиру Кочанов Антохин хорошо знал, и оставлять в ней раненого подпольщика было опасно. Вывели его своевременно, — гестаповцы вскоре сделали налет на квартиру Кочанов.

Но и у Рынкевичей оставлять Жудро было рискованно. Он сильно стонал, а за стеной жила ненадежная соседка. Хорошо, что подросли старики Омельянюки. Вместе с Марией Рынкевич в сумерках они перенесли Жудро к Соне Беловой на Восточную улицу. А на другой день нашли машину и отвезли в Третью клинику.

— Что с ним? — спросил доктор, осматривая раненого.

— Да вот из-за дурости все, — объясняла Павлина Степановна Омельянюк. — Хлопец молодой, до девчат охочий. Поссорился с одним латышом за девчину, а тот и бабахнул... Вот до чего доводит глупость...

Доктор понял, что дело тут не в девчатах, но и виду не подал, что не поверил. Объяснение дали правдоподобное.

Жудро сделали операцию. Но было уже слишком поздно — началось воспаление брюшины. После операции Василь немного ожил, только ненадолго. Утром он умер.

Целую неделю его тело лежало в морге, а гестаповцы, одетые в белые халаты, ждали, что кто-нибудь придет за ним, и не дождались. Подпольщики-медики предупредили о засаде.

Приказ был очень краткий:

«В связи с недостаточностью медикаментов и боеприпасов в отряде, а также чтобы установить связь с Логойским красным партизанским отрядом, приказываю:

1. Старшему помощнику начальника 2-го отдела штаба отряда лейтенанту т. Кабушкину и бойцу-партизану т. Саранину выехать в гор. Минск для приобретения по особому списку медикаментов, добыть боеприпасы, договориться о связи с Логойским красным партизанским отрядом и печатным способом выпустить листовки.

2. Для выполнения поставленной задачи выступить из расположения лагеря в 22.00 10/III—42 г.

Вернуться в расположение отряда 16/III—42 г.»

Приказ подписали командир отряда Ничипорович, комиссар Покровский, начальник штаба Айрапетов.

Перед самым уходом Кабушкина из лагеря Ничипорович позвал его и уже на словах добавил:

— Узнаешь там, что случилось с Василем Соколовым... — и крепко пожал руку. — Желаю удачи, Жан!

— Большое спасибо, Владимир Иванович!..

Шли всю ночь. Оттепель расквасила лесные тропинки, ноги то и дело проваливались в рыхлый снег, и идти было тяжело.

На шоссе вышли только под Пуховичами. Иван шагал быстро. Привыкшие к бесконечным дорогам ноги, казалось, не знали усталости. Его спутник тоже подтянулся, стиснул зубы и не отставал.

Времени им отпущено мало, а дел много — нужно торопиться. Поэтому шли всю ночь и весь следующий день. Только вечером, страшно уставшие, они пробрались в город тропинками, о которых не знали полицейские. Заночевали на одной из явочных квартир, а рано утром, надев белую рубашку и новенький темно-синий, хорошо отутюженный костюм, Жан был у Виктории Рубец.

Рассказав о нуждах отряда, спросил:

— Не знаете ли вы, что случилось с Соколовым?

Он заметил, как изменилось красивое лицо Виктории. Глаза налились слезами, маленькие пухлые губы дрожали.

— Как же не знать, знаю... Сама чуть не попала вместе с ним.

— Расскажите подробно...

— Иду я по улице, — еле сдерживая слезы, рассказывала она. — Вижу — едет подвода.

Обыкновенная подвода, каких много бывает на улице... Санки фигурные, в санках мужчины в кожаных сидят, а сзади на полозьях стоит Вася Соколов, за решетку держится, но на меня не смотрит. Я думала, что он не видит меня, засмотревшись вниз, поэтому окликнула и поздоровалась. Слышу: «Тпру-у-у!» Те, в санках, остановились и — ко мне! Я от неожиданности растерялась, гляжу на них и не понимаю, что им надо. «Откуда знаешь его?» — на Васю показывают. Он, бедный, оказывается, привязан уже был к санкам, а я этого и не заметила. «Откуда знаю? — спрашиваю. — А почему бы мне и не знать, если он в нашей больнице лечился, в моей палате лежал». — «Документы, говорят, покажи». Ну, я показала. А Вася подтверждает: «Чего к женщине прицепились, это медсестра той больницы, где я лежал». Покрутились они, покрутились и отстали. Сели в санки, хлестнули кнутом коня, поехали дальше. Тогда я вспомнила, что на улице не нужно узнавать своих. Как я могла забыть об этом?..

Второй раз я встретила с ним, — продолжала Витя, — на улице Максима Горького. Вели его гестаповцы, уже не те, что схватили, а другие. Одет хорошо, но весь в синяках. Лицо так исполосовано, что трудно узнать. Видно, его долго мучили и, ничего не добившись, решили возить по городу вместо приманки: может, кто-нибудь подойдет к нему, поздоровается, как я тогда, и схватить можно будет. Сами же они, переодетые в гражданское, шли рядом. Вася, видно, издали заметил меня, а когда проходил мимо — низко опустил голову, чтобы даже волнением своим не выдать меня.

Потом я еще видела Васю. Он сидел на скамейке в сквере, на площади Свободы. Тоже был хорошо одет, но еще более изуродован. А напротив на такой же скамейке сидели переодетые гестаповцы и ждали жертв. Только мы предупредили всех подпольщиков...

Ходили слухи, что Васю привезли на Комаровку, на одну явочную квартиру, и спрашивали: «Это хозяин явочной квартиры?» Вася посмотрел на хозяина и сказал: «Этого человека я первый раз вижу. Конечно, вы можете каждого схватить и делать с ним, что только вздумается, но я еще раз говорю, что никакого отношения к этому человеку не имею». Его там же избили до потери сознания, а потом бросили в машину и повезли. Я больше его ни разу не видела.

Произнеся последние слова, она всхлипнула. Из больших черных глаз выкатились две слезинки и побежали по смуглому лицу. Жан был взволнован и тем, что она рассказала, и ее глубокой, искренней печалью. Нужно было бы сказать что-либо теплое, утешительное, но слов не находилось. Вздохнув всей грудью, он спросил:

— Как же с медикаментами?

— Теперь это легче, Лида Девочко заведует аптекой. Кое-что мы из больниц приносим. Зайдите к Лиде, вы же знакомы с ней, она все сделает. А боеприпасов я имею немного. Вон в той комнате в ящике патроны лежат. Это у нас свои люди есть среди украинских националистов. Их здесь целый батальон разместился. Так я сама приношу. Спрячу за пазуху и несу...

Она, видимо, представила, какая смешная бывает, когда несет свой опасный груз. Ее маленькая складная фигурка становится толстой, горбатой, некрасивой... И от этого самой стало веселей, светлый луч улыбки пробежал по ее грустному лицу.

У Лиды Девочко действительно медикаментов было много. В аптеке Жан долго не задерживался. Узнав новый адрес Володи Омелянюка на Немиге, пошел туда. Хозяйки дома не было. Встретил сам Володя, пригласил в свою комнатку. Там сидел высокий, худощавый блондин с голубыми глазами. Это был Георгий Фалевич, с которым Володя был хорошо знаком еще до войны, а во время оккупации втянул его в подпольную работу.

— Знакомьтесь: Жорж, мой старый друг, заведующий аптекой.

— Очень приятно, — крепко пожимая руку симпатичному молодому человеку, сказал Жан. — А мне сегодня везет на медиков. Вы, между прочим, мне очень нужны. Вернее говоря, медикаменты нужны.

— Много? — улыбаясь, спросил Жорж.

— Как можно больше.

— Кое-что можно придумать. Только, по правде говоря, вы очень не похожи на партизана... Не обижайтесь, пожалуйста...

Жан залился веселым, по-детски искренним смехом. За ним так же весело, до слез смеялся и Володя.

— Что, бороды не хватает? — хохоча, спросил Жан. — Так вот вам борода... — и показал на Володю. Тот уже несколько месяцев назад начал отпускать рыжеватую, лопаточкой бородку. Такие бороды носили в то время белорусские националисты-интеллигенты.

— Он за нас двоих отрастит, до пояса, — все еще смеясь, говорил Жан. — А у меня растительности не хватает, плюгавую же бородавку не хочется носить...

— Не сомневайся, Жорж, — успокоил друга Володя. — Жан — настоящий, боевой партизан. Дело свое знает, потому и не похож на партизана. Разве он мог бы сделать что-нибудь в городе, если бы

носил большую бороду, ходил бы здесь в той же одежде, какую носит в лесу, да еще автомат держал на плече? Жан не только партизан, он — партизанский связной и разведчик. У него нам можно поучиться подпольной работе.

От неожиданной похвалы Кабушкин даже смутился, что с ним бывало очень редко. Чтобы прервать разговор, от которого он чувствовал себя неловко, спросил:

— Так как же с медикаментами?

— Я сказал, что дам, — подтвердил Жорж.

— У меня к вам еще есть дела, — обратился Жан к Володе. — Нам нужны боеприпасы. Это во-первых. Во-вторых, необходимо напечатать листовки. Без печатной пропаганды тяжело. Мы должны разъяснять населению политику нашей партии, говорить ему, что нужно делать. Ничипорович просит вас не поскупились на листовки. Вы же обещали нам типографию...

— Еще какие ваши нужды? — спросил Володя.

— Последняя: помогите установить связь с Логойским партизанским отрядом. Нам нужно объединять свои действия, тогда враг скорей почувствует нашу силу.

— Это все?

— Да, все.

— Относительно боеприпасов посоветуюсь с членами комитета. Некоторые запасы у нас уже есть. Оставьте мне пароль и адрес, куда отвезти. Наши подпольщики повезут. Типографию для вас мы обязательно оборудуем. Уже много шрифтов достали. Листовка готовится. Напечатаем буквально через несколько дней. Вместе с боеприпасами пришлем и ее. У нас есть подводы. Что же касается связи с логойцами, то, как только кто-нибудь из них придет, я дам им ваш адрес и пароль — они пришлют к вам людей для связи... Договорились?

— Ну, если так, то хорошо.

— Передайте всем вашим партизанам, а особенно Ничипоровичу, сердечный привет от горкома. Мы гордимся вашими боевыми делами. О вашем бое под деревней Клинок ходят целые легенды. Мы все очень рады, что люди, посланные подпольным горкомом, с честью оправдывают доверие партии.

— Спасибо, — взволнованно сказал Кабушкин. — Все это передам Владимиру Ивановичу. Ему будет очень приятно услышать доброе слово горкома.

Эта встреча и разговор происходили за какую-нибудь неделю до начала массовых арестов. Горком еще успел выполнить просьбу Ничипоровича. Боеприпасы, медикаменты, листовки — все было доставлено в отряд. Жан позаботился, чтобы не забыли забрать даже и те патроны, которые лежали в сундучке под кроватью у Виктории Рубец.

А потом в лес под деревню Маковье, Осиповичского района, где стоял отряд Ничипоровича, пришло тяжелое известие: подполье разгромлено, большинство членов горкома попало в застенки СД.

Жгучей болью и еще большей ненавистью к палачам-фашистам наполнились сердца партизан.

Ничипорович осунулся, почернел, но остался такой же спокойный, выдержанный, строгий.

— Всех не могли переловить, — сказал он. — Хоть несколько человек да осталось. А если есть хоть один хороший организатор, подполье оживет. Я в этом уверен. Народ за нас. А его не задушишь, ему не заткнешь рот, не завяжешь руки.

...Вся семья Омелянюков разбрелась. Мать жила у Маруси Рынкевич на Цнянской и часто навещала Володю на Немиге, отец — на Заливной улице у знакомых. Прибавилось забот, трудней стало с

продуктами.

До массовых арестов подпольные типографии были на улице Островского, где работал Чипчин, и на Рымарной улице, на квартире Вороновых.

Вороновы работали в типографии Дома печати. Отец, Михась Воронов, был начальником печатного цеха, а сын, тоже Михась, заведовал электроцехом.

Были они родственниками тещи Владимира Ничипоровича. Старик (Василь Сайчик) сказал об этом Ватику Никифорову и Володе Омелянюку. Они договорились через тещу Ничипоровича втянуть в подпольную работу Вороновых.

Уговаривать их не нужно было. Вороновы понемногу уже выносили шрифты из типографии на свою квартиру и сами печатали продовольственные карточки. А когда установили связь с подпольем, взялись за дело как следует. Карточки, напечатанные в квартире Вороновых, выручали подпольщиков Комаровки. Только Иван Козлов обходился без них — он сам ловко подделывал документы. Остальные целиком зависели от исправной работы типографии Вороновых.

...Известие об убийстве Макаренки и Жудро принесла мать. Целый час Володя метался в отчаянии по комнате. Мать с тревогой следила за ним, тихо упрашивала:

— Успокойся, Вовочка, успокойся. Что же ты теперь сделаешь, не вернешь же их из могилы...

— Нет, мама, это еще не все. Они еще будут воевать, будут бороться. Я позабочусь об этом, мама. Их имена будут наводить страх на врага... Подожди, не уходи, пока я напишу...

Он сел за стол и начал писать. Раз десять начинал и все зачеркивал:

— Нет, не то, не так!

Искал слова, которые бы огнем жгли врага, били его не в бровь, а в глаз. И слова такие находились. Хотелось написать как можно больше, полнее, чтобы люди знали, какие чудесные хлопцы были Жудро и Макаренко, как пламенно любили они свою Родину, как верно стояли друг за друга, как смело отбивались до самой последней минуты, до последнего дыхания...

А листовка должна быть размером с ладонь. Что можно сказать о двух пламенных сердцах на таком кусочке бумаги? Володя снова писал, вычеркивал, заменял слова.

Когда текст листовки был готов, переписал его и отдал матери:

— Хорошенько спрячь это, мама, и отнеси к Вороновым. Пусть напечатают листовку памяти Жудро и Макаренки. Именами Васи и Саши мы будем звать народ к борьбе.

— Хорошо, сынок, отнесу. Оставайся счастливым!

Вороновы сами не умели набирать, но в типографии были наборщики, готовые выполнить любое задание подпольщиков, — Борис Пупко и Михась Свиридов. Воронов-старший отдал текст листовки Борису Пупко.

У Бориса золотые руки и удалая головушка. Он хорошо набирал и по-немецки и по-белорусски и пользовался полным доверием своих хозяев-фашистов.

Взяв листовку у Воронова и прочитав ее, он потрянул своим огромным черным чубом и восторженно проговорил:

— Сила! Вот это написано! Такую нужно немедля сделать!

Разговаривали они в дальнем углу наборного цеха, где никого, кроме них, не было.

— Ты, Борис, не увлекайся, — предупредил Воронов. — Думай, что делаешь, и оценивай свои действия. Пойми, что ожидает тебя, если попадешься.

— Почему вы пугаете меня, как ребенка? Я понимаю, что делаю. Вот посмотрите...

Он взял листовку и стал за наборную кассу. Рядом лежал текст для набора, который дали ему хозяева, — статья для фашистской газеты на белорусском языке. По цеху ходил начальник, раздавал работу, проверял выполнение. А Борис набирал текст листовки, будто делал самую обыкновенную, привычную работу.

Кончив набирать, он хорошо завязал набор шпагатом и немного отодвинул в сторону, к гранкам фашистской газеты. Улучив момент, когда мимо проходила его подружка, уборщица Броня Гофман, отдал ей набор листовки и сказал:

— Отнеси незаметно к Михасю Воронову в электроцех... Только осторожно...

Вечером листовка была уже на Рымарной улице, и Вороновы печатали ее на бумаге, которую также вынесли из типографий.

Так Жудро и Макаренко снова становились в строй борцов.

Накануне Первого мая гестаповцы проводили облавы по городу. Листовка напугала их, ждали большого выступления подпольщиков. Попали фашисты и на Заливную улицу. Старый Омелянюк как раз в это время был дома. Случилось так, что хозяева квартиры не успели спрятать радиоприемник, и он стоял под кроватью Степана Омелянюка. Гестаповцы сразу же нашли приемник и схватили старика.

Мать в отчаянии принесла эту весть Володе.

— Я пойду узнаю, что с ним, — говорила она.

— Нет, ни за что не пушу, мама. Думаешь, они оставят тебя живую? Только попадись им — загубят! Нельзя туда показываться, нельзя, это на верную смерть идти. А чем ты теперь сможешь ему?

Только горя прибавишь... Не пушу!

«Как это я не уберег отца?! — мучил себя упреками Володя. — На завтра назначена отправка в лес большой группы подпольщиков. Отец готовился пойти. Из отряда пришла уже связная. И так нелепо провалиться...»

— Мама, я виноват в смерти отца, — с горечью говорил Володя. — Я должен был отправить его в отряд раньше. Почему я не сделал этого?!

Мать припала к его груди и плакала навзрыд, будучи не в силах сдержать свое отчаяние.

Горе семьи Омелянюков слилось с горем всех подпольщиков. В начале мая 1942 года фашисты объявили по городу, что будет проведена публичная казнь руководителей и участников большевистской подпольной организации. Для осуществления этого черного дела фашисты выбрали Центральный сквер и базарные площади. Туда силой загоняли минчан смотреть, как будет учинена расправа над теми, кто не покорился фашистскому «новому порядку».

На Центральный сквер привезли Исаю Казинца, его друга Николая Демиденку и еще нескольких подпольщиков. Исаю трудно было узнать. Один глаз у него был совсем выбит, заплыл кровью и гноем, лицо синее, большой черный чуб побелел. Но вожак подпольщиков еще крепко стоял на ногах и внимательно вглядывался в толпу, — видимо, искал знакомых. Ему очень хотелось, чтобы здесь был кто-нибудь из друзей, видел, как Славка принимает смерть. Даже смертью своей руководитель подполья хотел призвать минчан к мужеству, к борьбе.

Его подвезли к третьему фонарному столбу на центральной аллее сквера. Палач приготовился набросить ему веревку на шею, но Казинец изогнулся и изо всей силы ударил его головой. Кат

кувырком полетел с машины. Тогда в кузов бросились гестаповцы, а Исай тем временем кричал:— Смерть фашизму! Да здравствует Красная Армия!

Толпа загудела. Гестаповцы и полицаи взяли автоматы наизготовку.

Несколько дюжих палачей схватили Казинца и натянули ему петлю на шею. Тогда, отбиваясь от них ногами, он сам соскочил с кузова с такой силой, что один ботинок сорвался с ноги и покатился по мостовой. А на веревке затрепетало в воздухе еще могучее, жадное к жизни тело мужественного человека и борца...

На Суражском рынке в это время вешали другую группу подпольщиков. Когда к телеграфному столбу подвезли Николая Герасимовича, он начал кричать:

— Нас — миллионы, всех не перевешаете! Смерть фашизму!

Палач, стоявший рядом, что было силы ударил заключенного молотком по голове. Кровь фонтаном брызнула из раны. Герасимович пошатнулся, но ему не дали упасть — засунули голову в петлю и столкнули с кузова.

И здесь, увидя зверскую расправу над безоружным, обессиленным человеком, толпа заколыхалась. Но дула автоматов сдержали людей на месте.

Почти целую неделю висели на столбах двадцать восемь подпольщиков. Товарищи узнали среди них Василя Соколова, Георгия Семенова, Степана Зайца, Ефима Горицу, Аркадия Корсеку, Осипа Ковалевского, Георгия Глухова и других пламенных советских патриотов.

Двести пятьдесят один человек были в тот день расстреляны.

Враги праздновали победу.

Но преждевременно. Руины города еще жили.

## Часть вторая

Минула первая военная зима, голодная и холодная, полная пламенных надежд и горьких разочарований, лютой ненависти к врагу и нестерпимой боли от дорогих утрат. Хотя в руинах еще лежал почерневший снег, на припеке даже из красно-серых обломков разрушенных стен, из кирпичей пробивались острые стрелки ярко-зеленой травы. Как успела трава очутиться здесь, на недавнем человеческом жилье? Как приспособилась к каменной почве? Легкий ветерок колыхал ее, ласково гладил, а она будто млела от этой ласки и смеялась от радости, оттого, что видела солнце и вообще — жила. Жизнь брала свое. Под весенним солнцем, казалось, веселели и люди, хотя горе и ненависть опаляли их сердца.

Буря, которая пронеслась над минским подпольем в марте, только на короткое время остановила деятельность организации. Те из подпольщиков, которые избежали ареста (а таких было большинство), скрывались где кто мог. Одним удалось пробраться в партизанские отряды, другие нашли себе новые квартиры, о которых не знали предатели. Ждали, пока прекратятся аресты. Во время массовых арестов Володя никуда не прятался. Ему просто повезло, что квартиру Насти Цитович не знали Рогов и Антохин и что сам Володя ни разу не попал им на глаза. А ведь его они хорошо знали и старательно искали. Это Антохин привел гитлеровцев и участвовал в обстреле дома Омелянюков.

При помощи Насти Володя достал документы агента жилищного отдела. С ними, не вызывая подозрений у полиции, можно было ходить по квартирам. С руководителем партизанского отряда, действовавшего в Дзержинском районе Минской области, он договорился, что пошлет в лес группу

рабочих. В апреле к нему приехал связной Микола Сидоренко, чтобы забрать людей, которых Володя подготовил для отправки в партизанский отряд.

Собрались рабочие в условленном месте — на Суражском рынке, где их уже поджидала грузовая машина. На всю группу были заготовлены документы, как на рабочую команду. Володя сам пришел сюда, чтоб убедиться, что все в порядке. Стоял в стороне и наблюдал, как собираются люди. Солнце еще только-только заискрилось над крышами домов, когда в окраинных переулках Минска загудела машина, вывозя на глухие, мало кому известные полевые дороги восемнадцать патриотов, направляемых в партизанский отряд.

Люди обхватили друг друга за плечи. Володя долго смотрел им вслед. Его сердце жаждало быть вместе с ними, он тоже хотел поехать под сень Койдановских лесов. Там было много его друзей, тех, с кем он провел когда-то свои юношеские годы, о ком писал заметки и статьи в районной газете.

Были там и те, кого он в свое время сурово, но не зло критиковал. Тогда некоторые из них обижались на него, но теперь все эти личные обиды забылись, и когда Володя иной раз встречался с бывшими героями своих критических статей, то не видел у них ни тени неприязни. Его уважали, ему доверяли, считали более опытным и более знающим, хотя лет ему было еще не так много.

Быть бы ему теперь среди них, делить с ними радость и горе, есть из одного партизанского котла, спать в одном еловом шалаше, чувствовать рядом плечо друга, в одном строю наступать на врага...

По нынешним временам, думал он, это было бы счастьем. Тем более, что по городу лютыми воронами летают палачи из фашистской службы безопасности и хватают всякого, кто только покажется им подозрительным. Многие товарищи, которым угрожал арест, перебрались в партизанские отряды.

Но он, Володя, не мог покинуть свой боевой пост. Пока в городе есть на свободе советские люди, он должен быть среди них. Борьба не прекратится, как бы ни лютовали фашисты. И чем больше они наглеют, тем больше минчан вступает в ряды активных борцов, ищет возможность попасть в партизанские отряды. Разве мог Володя в такой момент думать о какой-нибудь другой работе? Машина скрылась за поворотом, и только тогда, надвинув шляпу на лоб, Володя неторопливо, помахивая палочкой, пошел в центр города.

Издалека виднелось, поднимаясь над руинами, огромное здание Дома правительства. Горбатая улица круто опускалась перед ним, и это создавало впечатление, будто Дом правительства растет на глазах, упираясь черным силуэтом почти в самое небо.

По улицам, сутулясь и робко оглядываясь по сторонам, спешили люди. Массовые аресты, о которых знал весь город, особенно сильно напугали тех, кто не имел никакого отношения к подполью.

Каждому казалось, что и за ним следят жадные до крови глаза гестапо.

Володя был одет в хорошее серое пальто. Из-под воротничка белоснежной рубашки чернела модная бабочка. Своим внешним видом он старался походить на типичного белорусского нацдема, который долго отирался по фашистским подворотням. Такие типы часто прогуливались по улицам Минска, всячески подчеркивая свое исключительное удовлетворение «новым порядком».

Навстречу Володе со стороны Западного моста шли два немца в форме СД. На лацканах их кителей змейками блестели знаки службы безопасности, кокарды на высоких фуражках грозно щерились черепами с перекрещенными костями. И вдруг Володе нестерпимо захотелось заставить этих болванов вытянуться перед ним. Угодливо осклабясь и весь напрягшись так, что аж глаза полезли на

лоб, он вдруг выбросил руку перед собой и гаркнул изо всей силы:

— Хайль Гитлер!

От неожиданности фашисты вздрогнули и моментально вытянули руки, крепко стукнув каблуками по мостовой:

— Хайль!

Только миновав Володю, они спохватились, что ответили на приветствие штатскому. До ушей Володи донеслось сказанное по-немецки:

— Рыжая свинья!..

Он еле сдерживал смех, распиравший ему грудь. Ну и здорово же выдрессированы эти болванчики! А может, сочли его за своего «соратника», переодетого в штатское? Это очень хорошо. Значит, он своим видом не вызывает подозрений у врага.

Весело помахивая палочкой, он смело направился в аптеку, расположенную напротив Дома правительства, рядом с домом СД и гестапо.

Касса в аптеке находилась на таком месте, что многоугольное помещение с этой позиции было видно все как на ладони. В кабинет заведующего можно пройти только мимо нее. За стойкой кассы сидела красивая черненькая девушка.

— Мое почтение, пани Нинуся, — подчеркнуто вежливо поздоровался с нею Володя.

Весело блеснув большими черными глазами, девушка ответила:

— День добрый, Володя. Проходи, пожалуйста, Жорж в кабинете.

— У него никого нет?

— Один. Что-то там подсчитывает... Заходи.

В голосе девушки доброжелательность и ласка. Когда дверь кабинета закрылась за Володей, Нина встала и пошла следом за ним.

Кабинетом считался маленький уголок, отгороженный от торгового зала. Его стена с дверью, выходившей в зал, отделяла третью или четвертую часть витрины. Окно низкое, и, чтобы прохожие не заглядывали в кабинет, его закрыли занавесками из марли.

Здесь часто собирались подпольщики — близкие знакомые Володи Омелянюка и Жоржа Фалевича. Аптека была удобным местом: работники службы безопасности не могли подумать, что в соседнем доме, в каких-нибудь пятидесяти шагах от логова фашистского зверя, могут собираться советские патриоты-подпольщики.

— Мне можно, Жора? — несмело спросила Нина, переступая порог кабинета.

— Нет, дорогая, карауль там. Ты только не обижайся, пожалуйста... У нас сейчас серьезный разговор, нужно, чтобы никто не помешал. Всем говори, что меня нет.

— Хорошо...

Она повернулась и пошла на свое место, в кассу. Разве можно обижаться на Жоржа; он бережет ее больше, чем самого себя. Сейчас он не позволил ей присутствовать при его разговоре с Володей не только потому, что нужно караулить, следить, чтобы никто чужой не сунулся в кабинет. Но была и другая причина. Как-то однажды, провожая ее после работы домой, Жорж признался:

— Ты, Нина, давно знаешь, что для меня нет на свете человека дороже тебя. Работу мы делаем очень опасную, в любой момент можем очутиться в застенках наших соседей, в СД. Я очень боюсь за тебя. Поэтому ты не обижайся, если я буду поручать тебе только самое необходимое, и ничего не

спрашивай у меня, пока я не скажу сам.

Их связывала давняя студенческая дружба, к этому чувству постепенно присоединилось другое, более нежное. Нина покорно выполняла все его приказы. Она была глубоко уверена — Жорж ничего не сделает, что повредило бы подпольной работе и ей, Нине. Если Жорж сказал, что она должна караулить, — значит, так нужно.

Жорж и Володя долго советовались о чем-то, потом вышли. На прощание Володя молча приподнял шляпу, кивнул головой, а Жорж подошел к кассе, склонился к нижним ящикам, где обычно лежали сигнатуры (ярлыки для лекарств), и положил туда пакет, завернутый в газету. На ухо шепнул Нине: — Хлебные карточки... Володя принес.

И пошел в свой кабинет.

Нина не стала спрашивать, кому Володя принес карточки. Это не первые. Он уже не раз приносил сюда прятать не только продовольственные и хлебные карточки, но еще и какие-то документы. Нина не интересовалась, какие и для чего. Так нужно.

В застенках СД еще пытали руководителей и активистов подполья. А в это время собирались на совещание те, кто избежал ареста. Пришли Вячеслав Никифоров («Ватик», «Максим», «Тимофей»), Владимир Омелянюк («Володя»), Змитрок Короткевич («Дима»), Константин Хмелевский («Костя», «Клим») и другие активисты-подпольщики.

Был здесь и Иван Ковалев («Иван Гаврилович», «Невский», «Стрельский»). Еще до войны многие знали его как секретаря Заславского райкома партии. Когда над Минском нависла опасность, он в общем потоке беженцев отступал на восток. Где-то около Витебска его встретил один из руководящих работников ЦК КП Белоруссии и сразу начал пробирать:

— Ты почему самовольно оставил свой район и людей? А еще руководящий работник! Так вот: добирайся в свой район любыми средствами и возглавляй там борьбу с врагом. Действуй, как покажут местные условия. Главное — наносить врагу большие потери... Понятно?

— Как же я проберусь в Заславль? Это же за фронтом?..

— Теперь война, и такие вопросы задавать бессмысленно. Каждый коммунист должен проявлять инициативу в борьбе с врагом. Захочешь — доберешься...

После такого сурового разговора Ковалев задумался: как бы выполнить неожиданный приказ? Но фронт так быстро катился на восток, что Ковалев невольно очутился на оккупированной территории. В Заславском районе останавливаться было очень рискованно: там его хорошо знали почти в каждой деревне. Партизанских отрядов еще не было. На кого обопрешься? Вот он и решил податься сначала в Минск, надеясь встретить там знакомых коммунистов. Его надежды оправдались. В Минске Ковалев нашел знакомых из числа подпольщиков. Подпольному горкому партии они отрекомендовали Ковалева как уполномоченного ЦК КП Белоруссии.

Ковалев не сказал, что направили его не в Минск, а в Заславль. «Ну и что ж? — рассуждал он. — Если нельзя работать в своем районе, так почему я не имею права работать в Минске? Ведь руководящий работник ЦК сказал мне, чтобы я действовал с учетом местных условий...»

Никто не проверял у него документов, не спрашивал полномочий. Ведь и остальных подпольщиков никто лично не уполномочивал делать то, что они делали. Только конкретные дела служили мандатом для каждого из них. А Ковалев, который имел определенный опыт партийной работы, часто давал горкому полезные советы. И это очень ценилось.

Во время провала он успел скрыться в лес, в партизанский отряд. А как только аресты притихли, снова вернулся в Минск. Он принял все меры, чтобы собрать активных подпольщиков, которые еще оставались на свободе.

И вот теперь шло первое после арестов заседание партийного актива. Оно фактически стало первым заседанием Минского подпольного комитета партии второго состава. Председательствовал Ковалев — наиболее старший и опытный в партийных делах человек. Еще до начала заседания вместе с Ватиком они выработали план восстановления организации. Этот план — несколько листов мелко исписанной бумаги и один листок со схемой — лежал на столе. Рядом с Ковалевым сидел высокий блондин — Ватик — и на чистом клочке бумаги выводил карандашом какие-то завитушки.

Рыжеватый, горбоносый Костя Хмелевский неотрывно смотрел на верхнюю губу Ковалева, на которой будто случайно приклеились маленькие черные усики. Володя Омелянюк сгреб в ладонь свою бородку и, упершись локтем в колено, сосредоточенно рассматривал затоптанный пол. Лобастый, почти лысый Змитрок Короткевич то и дело тер тыльной стороной ладони широкий подбородок и вопросительно смотрел то на одного, то на другого подпольщика, стараясь отгадать, о чем каждый из них думает. Дело обсуждалось очень серьезное.

— Вы уже знаете, товарищи, — спокойно, немного сутулясь над столом, говорил Ковалев, — что наша организация была провалена. Арестованы руководящее ядро парторганизации и Военный совет. Сейчас мы должны вдумчиво и всесторонне разобраться, как это произошло, какие причины привели к такому положению.

На минуту он замолчал, будто ожидая, что скажут присутствующие, но все молчали, и он продолжал:

— Бесспорно, врагу удалось пролезть в нашу организацию и при помощи своих агентов-provokatorов нанести нам тяжелый удар, ликвидируя самое ценное для нас — партийные кадры. Но видеть причину провала только в провокации — значит принять следствие за причину. Мы с Ватиком и некоторыми другими товарищами уже обсуждали этот вопрос и пришли к заключению, что сама наша организация была построена неправильно.

Оторвавшись от своих рисунков, Ватик обвел всех глазами и в знак согласия молча кивнул головой. — Как подбирались люди в нашу организацию? — продолжал Ковалев. — По личному знакомству. Поэтому на важнейших с военной точки зрения предприятиях и в учреждениях нет наших партийных организаций. А оторвавшись от масс, подпольщики превращаются из революционеров-большевиков в заговорщиков. Стоит одному из них провалиться, как он тянет за собой провал всего, с чем был связан. Получалось так, что мы больше конспирировались от масс, чем от врага. Не случайно, когда начались аресты, нам трудно было прятаться. Большевистское дореволюционное подполье и опыт коммунистов капиталистических стран учат нас, что нет лучшей защиты от врага, как защита масс.

Мы допускали непростительные ошибки, — будто каясь, продолжал Ковалев. — Создание Военного совета, в состав которого вошло очень много людей, а также и то, что эти люди собирались все вместе, даже устанавливали дежурство, — это забвение элементарных правил конспирации, и оно дорого обошлось нам. Люди знали друг друга, знали, где кто живет, кем кто был в прошлом и что делает сейчас, — все это только и нужно было провокатору.

Володя поднял голову и тоже начал следить за каждым движением Ковалева. «Правду говорит этот

молчун, — мелькнула у него мысль, — раньше больше молчал, а теперь, смотри ты, заговорил. И говорит как раз то, что и я думал... Сурово, жестоко, но справедливо. С этим нельзя не согласиться». — Все это так, — заметил, нетерпеливо крутнув горбатым носом, Хмелевский, — но мы не каемся сюда собрались, а что-то решать...

— Конечно, не каемся, — согласился Ковалев. — Но для того, чтобы решить что-то, нужно разобраться, какие ошибки мы допустили раньше, чтобы не повторить их. Я не хочу осуждать нашу прежнюю работу, но положение, в которое мы попали в результате своих ошибок, требует осторожности в дальнейшем. Оттого, что мы открыто, не таясь от самих себя, признаем их и поправим, дело наше только выиграет. Так я говорю?

Он обвел глазами присутствующих. За всех поддержал Ковалева Змитрок Короткевич:

— Да что и говорить...

Ватик взял из-под рук Ковалева два длинных листа бумаги в клетку и начал читать. Это был проект организационных принципов и структуры подпольной партийной организации. По рукам пошла нарисованная на листке из школьной тетради схема организации подполья: горком — райком — первичные парторганизации.

Во главе городской подпольной организации — Минский комитет. Каждый из его членов руководит определенным участком работы. Секретарь комитета возглавляет непосредственно всю военную работу. Один из членов занимается исключительно организационными вопросами и связан с секретарями райкомов. Второму поручается агитмассовая работа. Он же является одновременно редактором всех изданий комитета. Под его руководством работает группа журналистов и художников.

В руках одного из членов комитета концентрируются все вопросы техники и связи. Еще один — возглавляет оперативную группу.

В проекте, который читал Ватик, предусматривались и другие детали организационной структуры. Володя слушал и с горечью думал: «Какой крови стоит нам опыт борьбы! Сколько чудесных людей гибнет потому, что мы перед войной сами себя обманывали. С увлечением смотрели кинофильм «Если завтра война», читали пухлую ура-патриотическую книжку Шпанова «Первый удар» и думали, что нам на роду написано воевать на чужой земле. Верили, что в первый же день войны все немцы восстанут против Гитлера. Какой самообман! Вон что они делают на улицах Минска! Сколько раз уже заливали кровью стены города во время еврейских погромов. Сколько людей расстреляно и сожжено в Тростенце! А что еще впереди? Нет, Ковалев прав, свои ошибки надо жестоко критиковать, чтобы не платить за них кровью... То, что здесь предлагается в проекте, будет, видимо, лучше, чем прежняя организация подполья. Мы должны установить тесную связь с предприятиями, опираться на рабочий класс. В этом будет наша сила...»

Выступая в прениях, он горячо поддержал предложение Ковалева и Никифорова о перестройке подполья.

Начали выбирать членов Минского комитета. Володя был избран единогласно. Ему поручили агитационно-массовую работу и редактирование всех изданий.

Здесь же было решено начать выпуск подпольной газеты «Звезда». В состав комитета вошли также Вячеслав Никифоров, Змитрок Короткевич, Иван Ковалев.

Когда договаривались о связях комитета с партизанскими отрядами, записали, что Володя по-

прежнему будет поддерживать контакт с партизанским отрядом, действующим в Дзержинском районе.

— Не хватает нам Жана, — сокрушаясь, сказал Ватик. — Его можно послать в любой отряд. Да и в городе работы много. Нам необходимо создать оперативный отдел по борьбе с провокаторами и предателями...

— А где Жан? — спросил Ковалев.

— В отряде Ничипоровича. Давно уже там. Должен был прийти на связь с нами, да отряд далеко забрался аж в Кличевский район. А может быть, и придет...

— Если придет, нужно задержать его здесь, — сказал Ковалев. — Такие люди нам очень нужны. А на связь с Ничипоровичем поставим кого-нибудь другого.

Ковалев говорил тоном старшего, более опытного человека, и это принималось всеми как должное. Никто не оспаривал его мыслей. Может быть, один Володя в какой-то мере критически относился к его словам. Да и то, пожалуй, потому только, что замечал в языке Ивана Гавриловича неотшлифованность, не совсем гладкие фразы. Но кому теперь нужен языковый глянец, если вокруг так много человеческой крови и слез! Только бы разумным, дельным был руководителем, только бы хватило у него силы воли и патриотического огня, только бы не разменялся он на мелочи, не растерял зря боевой запал, накопившийся у подпольщиков...

Само собой получилось так, что секретарем Минского комитета КП(б)Б выбрали Ковалева. Других предложений и не было.

Когда уже заседание заканчивалось, Володя вдруг спросил:

— Как вы думаете, товарищи, не написать ли нам письмо Центральному Комитету партии от имени белорусского народа? Вокруг этого письма можно развернуть большую массово-политическую работу...

— А какое содержание письма вы предлагаете? — спросил Ковалев. — И как думаете развернуть работу? Мы ведь не можем проводить собрания и митинги трудящихся...

— А разве только митингами можно воспитывать людей? Нужно написать такое письмо, чтобы, прочитав его, и тот, кто еще стоит в стороне от нашей борьбы, взялся за оружие. Людей в нашей организации много, передадим несколько экземпляров письма в райкомы, из одной организации в другую, а потом в партизанские отряды и соберем подписи. Нужно только, чтобы письмо это не попало во вражеские руки. Об этом обязаны позаботиться райкомы партии...

Большинство поддержало Володю. Писать письмо поручили самому Омельянюку.

Володя давно уже собирался навестить Дзержинск, где прошла его юность. Маленький, тихий городок оставил в его душе заметный след. Работа в Дзержинской районной газете научила юношу любить людей, распознавать искренних и неискренних, честных и подлых, научила безошибочно разбираться во множестве событий и находить в маленьких фактах большой смысл.

Там, в Дзержинске, еще в детстве он подружился с Геннадием Будаем. Вместе с ним работал в районной газете, вместе учился в Минске, в институте журналистики. Оба были отличниками, и в институтской многотиражке даже была напечатана статья Володи об успехах Гены. Володя, попадая в семью Гены, чувствовал себя как дома, и Гена считал семью Володи своей.

Очутившись на оккупированной территории, они быстро нашли друг друга. Будаю жил в Дзержинске, у своих родителей. Там был создан антифашистский комитет, в который вошел и Гена.

Члены комитета организовали партизанский отряд. С начала 1942 года Гена часто приходил в Минск к Володе то за листовками, то за медикаментами, то договориться о новом пополнении отряда. Во время последней встречи друзья долго и сердечно беседовали. Володя рассказал, как в Минске начались провалы подпольщиков, как спешно пришлось переправлять многих в партизанские отряды, с какой болью писал он листовку о героической смерти Васи Жудро и Саши Макаренки, как тяжело он переживает смерть отца и какие душевные и физические страдания выносит его терпеливая, всегда молчаливая и заботливая мать.

С другими Володя не говорил о личных переживаниях. У каждого хватало своего горя, своей собственной беды. Встречаясь по делу, о деле и говорили, старательно обходя то, что заставляет голос дрожать несвойственно для бойца. Да и какие слова утешения, высказанные хотя бы и близкими людьми, могут изменить то, что уже произошло, чего никак не изменишь. Мертвые не оживут, а живым еще нужно жестоко и беспощадно воевать. Отчаяние нельзя допускать к сердцу. Но с Геннадием — другое дело. Он — свой, с ним все пополам. Не стыдясь своих совсем не бойцовских чувств, со слезами на глазах рассказал Володя, как потрясенная, прибитая горем мать принесла ему тяжелую весть об отце, как возникали у него один за другим фантастические планы освобождения старика из застенков СД и как нужно было сразу же отказываться от этих нереальных проектов. Обо всем этом Володя мог поведать только самому близкому другу, уверенный, что его признания навсегда и для всех останутся тайной.

Вот и теперь на душе накопилось много такого, о чем нужно было поговорить с Генной. Да и хотелось хоть немного отдохнуть после всего пережитого за последние месяцы. Только в семье Будаев мог он почувствовать какое-то облегчение, вздохнуть полной грудью.

Документы были в порядке. Выйдя на Койдановское шоссе, начал «голосовать». Немцы проезжали мимо, даже не поворачивая головы в его сторону. Тогда он пошел пешком.

Упругий, теплый ветер ласкал лицо. Стоило только открыть рот, как невидимый мягкий комок забивался в горло, спирая дыхание. И хотя идти против ветра нелегко, животворный, хмельной дух весны наполнял тело таинственной силой, шаг ускорялся.

Володе всегда казалось, что он воспринимает весну не так, как другие. Как-то по-особенному ощущал он гомон, шум природы. Каждый жаворонок пел для него свою, не похожую на другие песню. Каждый скворец посылал ему свой звонкий, мелодичный привет. В шуме придорожных деревьев, раскрывавших навстречу солнцу жадные объятия, улавливал он симфонию радости, торжества и щедрости жизни. «Нет более гениального музыканта, чем сама природа, — думал Володя, оставляя за собой один километр за другим. — Нужно только уметь слышать ее, понимать ее красоту».

Временами ему казалось, что каждое дерево, каждый кустик, каждая травинка хорошо понимают его и сочувствуют ему. Они готовы в любой момент заслонить его от врага, спрятать в зеленой тени, прикрыть его следы от глаз прищельцев-чужаков. Ведь все вокруг было его, родное.

Какие только мысли не взбредут в голову, когда идешь вот так по весенней, мягкой от сырости дороге, когда над тобой ослепительно сверкает майское солнце, наперебой звенят многоголосые птицы и манят к себе застланные трепетной дымкой дали. Невольно рождаются в душе мелодии еще никем не спетых песен, и сказочные образы сливаются с действительностью.

Где-то около Волкович его подобрал штатский шофер, видать, из бывших военнопленных. Ехали

всю дорогу молча, каждый думая о своем. На прощание Володя протянул шоферу деньги, но тот отмахнулся:

— Брось, братец, я своих людей не обдираю. Иди себе на здоровье...

— Тогда позволь твою руку, друг...

— Пожалуйста...

Удивительное дело: за всю дорогу не перекинулись ни единым словом, а расстались близкими, своими людьми.

К Будаям Володя пришел в хорошем настроении. Родители Гены встретили его, как родного сына. Мать засуетилась около печи, отец посадил гостя за стол, расспрашивал, что делается в Минске и что вообще слышно на свете. Гены не было дома, он работал на механическом заводе и вернулся только вечером. Но Володя не скучал со стариком. Они давно не виделись, и им было о чем поговорить.

К Будаям пришли их соседи, совсем еще молодой человек Павел Хмелевский, пожилой колхозник из деревни Рудицы Семен Юхович, которого подпольщики Дзержинска знали под кличкой «Клим», и давнишний знакомый Гены Иван Жуковец. Трое гостей и Гена — это и был Дзержинский антифашистский комитет. Будай созвал его, чтобы в присутствии Володи обсудить наиболее важные вопросы деятельности антифашистов района.

— Хлопцы хотят знать, что случилось в Минске, — сказал Гена. — Расскажи, пожалуйста, Володя...

Тяжело говорить о том, что кровью запеклось на сердце. Но необходимо. Товарищи должны учиться на ошибках прошлого, чтобы не повторять их. Не торопясь Володя рассказал об арестах руководителей подполья, о предательстве Рогова, Белова и Антохина, об организационных недостатках подполья, о слабой его конспирации.

— Но одно, товарищи, помните, — минское подполье не только не погибло, а набирается еще большей силы. Вскоре и вы почувствуете это. Одну группу людей мы направили к вам в отряд уже в разгар арестов. А теперь мы сможем послать вам еще немало таких групп.

— Вот об этом нам нужно договориться, — сказал старый Клим, — когда, откуда и сколько людей вы пришлете... Видите, на улице как хорошо. Теперь не то, что зимой, — каждый кустик ночевать пустит. Базы легче создать...

— Да и у людей слишком уж наболело на душе, сдержат трудно, — добавил Володя. — Начинаешь говорить с иным, а он аж горит от ненависти к фашистам. Чего, говорит, тянете, в лесах можно целую армию создать... Но это не так просто. Собрать людей — не хитро, а вот как их одеть, накормить, вооружить?

— Народ поможет, — отозвался Иван Жуковец. — Не только одеть и прокормить, но и оружие добыть для начала. У нас вон сколько винтовок и пистолетов подобрано на месте фронтовых боев. А теперь мы оружие у врага отбираем...

— Это все правильно. Но для победы этого мало. Воевать нужно разумно. Мы должны научиться воевать.

— Ничего, научимся. Так когда вы направите к нам новую группу минчан? — не унимался Клим.

— Скоро. После двадцатого мая присылайте связного Миколу Сидоренко. В прошлый раз он удачно провел машину.

— Володя, нужно нам договориться относительно усиления пропаганды, — вмешался в разговор Гена Будай. — Знаешь, как люди жаждут правдивого нашего слова? Каждая листовка до дырок

зачитывается, через сотни рук проходит. А листовок у нас, к сожалению, все еще не богато. Тех, что мы на машинке печатаем, мало, а вы скуповато присылаете. Помоги, пожалуйста, вам же, минчанам, это легче...

— Согласен, приходи ко мне, будет листовка. Я уже отдал печатать ее. А вообще, мы вам посылаем не так уж и мало. Да и не вам одним. В другие районы тоже нужно.

Говорили так до комендантского часа. Потом Хмелевский, Жуковец и Юхович ушли, а Володя остался ночевать у Будаев. Пробыл он здесь еще несколько дней.

Вернувшись в Минск, Володя взялся за выполнение другого поручения горкома — за подготовку первого номера подпольной «Звезды». Уже не один день думал он над тем, каким должен быть этот первый номер. Общее направление его понятно: газета будет пламенно звать советских людей на беспощадную борьбу с врагом. Но как звать, какие формы материала выбрать для этого?

После заседания горкома, на котором решили печатать «Звезду», Володя спросил Михася Воронова-старшего, чем тот будет помогать горкому.

— Могу печатать и подпольную газету, только небольшого формата.

Это определяло и характер материалов. Они должны быть короткими, сжатыми, насыщенными огромной ударной силой. Каждое слово — на вес золота.

Из партизанских отрядов по-прежнему приходили связные. Они приносили новые вести о боевых действиях народных мстителей. Такие сведения могли пригодиться газете, и Володя накапливал их. Еще больше интересовало советских людей, оставшихся на оккупированной территории, положение по ту сторону фронта: что там делается, как живут, как борются братья и сестры? Фашистской брехне больше никто не верил. Сколько раз геббельсовские подголоски объявляли, что гитлеровцы взяли Москву, а она как стояла неприступная, так и стоит.

Многое хотелось бы сообщить читателям подпольной «Звезды». Тем более, что радиоприемник стоял под рукой, Володя забрал его с собой, когда ушел на Немигу из своего дома. Сообщения Советского Информбюро он слушал и записывал регулярно.

Прежде всего нужна передовая статья. Она должна задать тон всему номеру газеты. Володя еще днем сел писать ее. Сколько раз ни начинал, все выходило не так, как хотелось, — нескладно, многословно, тускло. А нужно, чтобы каждое слово зажигало людей, вызывало у них лютую ненависть к врагу.

Начало смеркаться. Хозяйка плотно закрыла окно ставней и завесила плотным одеялом, чтобы ни одна капля света не просочилась на улицу. Ведь под самым окном время от времени слышались тяжелые шаги фашистских патрулей. Каждую минуту они могли ворваться в квартиру и арестовать только за то, что своевременно не потушен свет.

Не карандашом, а, кажется, собственной кровью писал Володя. Чувствовал: все, что напечатает подпольная «Звезда», отзовется тысячеголосым эхом в сердцах ее читателей.

«Партизан! — ложились на бумагу фраза за фразой. — Ты видишь, на фронт тянутся немецкие эшелоны, груженные солдатами, боеприпасами и техникой. Взрывай железнодорожное полотно, мосты, пускай под откос составы — этим ты облегчишь наступление Красной Армии. Видишь телефонный кабель — рви его, этим прервешь связь и внесешь замешательство в среду врагов! Ты слышишь, по твоей стране шагают солдаты и офицеры гитлеровской грабьармии! Уничтожай их, как бешеных псов! Родина только тогда вздохнет свободно, когда на ее земле не останется ни одного

оккупанта.

Ты слышишь, как плачут твои дети, жена, мать. Это подлые предатели вместе со своими фашистскими хозяевами издеваются над ними. Уничтожай эту погань — полицейских, волостных старшин, управских чиновников, — пусть платят за свои злодеяния своей кровью!

Будь мужественным в борьбе! Время расплаты приближается. Отомсти за муки своего народа!

Добивайся того, чтобы ни один немецкий приказ не выполнялся там, где ты находишься!

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует победа!»

Володя слышал, как стучали тяжелые сапоги фашистских патрулей. Больше ничто не нарушало тишину в замершем городе. Казалось, за окном — кладбище. А может, оно так и было? Через несколько кварталов отсюда, в Центральном сквере, жуткий неподвижный месяц обливал холодным светом тела повешенных Казинца, Демиденки и других подпольщиков. На Суражском рынке, на Комаровке, на Червенском рынке — по всему городу толстая проволока сдавливала горло тем, кто до последнего дыхания хранил верность своей Родине. Гулкие шаги патрулей разносились по улицам, будто кто-то забивал гвозди в пустой гроб.

Но так только казалось. Город-боец жил. Разве то, что делал сейчас сам Володя, не свидетельствовало о непокорности минчан, о их готовности бороться до последней капли крови? Фашисты могут приглушить живые голоса, могут повесить, расстрелять, сжечь отдельных людей, даже уничтожить много тысяч патриотов, но вытравить Советский дух из Минска они не в силах. Тем более, что Красная Армия наносит гитлеровцам один удар за другим, и надежда на скорое освобождение горит в сердце каждого советского человека.

Только в полночь лампа последний раз вспыхнула и погасла.

Утром Володя попросил Анастасию Яковлевну:

— Тут я кое-что написал, так вы перепечатайте, пожалуйста, на машинке.

— Как-нибудь сделаю. Во время работы. Передо мной Лида Карсеко сидит, — она не пустит никого ко мне, пока я не перепишу.

— Буду ждать.

В музее Великой Отечественной войны в Минске можно увидеть этот номер подпольной «Звезды».

Он совсем небольшой, скромный. В правом верхнем углу написано:

«Товарищи! С сегодняшнего дня Минский горком КП(б)Б возобновляет издание своего органа — газеты «Звезда». Пишите в газету о жизни партизанских отрядов, о боевой их деятельности, об отдельных партизанах, проявивших себя в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами.

Редколлегия».

Хотя она и маленькая, но такая же, как все газеты того времени: с передовой статьей, со сводками Советского Информбюро, с информацией о деятельности партизан. Даже фельетон есть.

Если смотреть с позиций настоящего времени, знать только сегодняшние мирные условия, можно сказать: «Подумаешь, диво какое, выпускали газету величиной с ладонь!»

А сколько смертей грозило каждому ее слову, пока оно шло от автора к читателю!

...На явочной квартире Володя ждал недолго. Через десять — пятнадцать минут после его прихода дверь отворилась и на пороге показалась огромная Сайчикова борода. Затем высунулся и он сам — высокий, худой старик, подпирая плечом верхний косяк двери. Вошел, осторожно оглянулся, а

потом поздоровался:

— Добрый день в хату!

— Добрый день, Дед! Как живете?

— Ничего себе живем... Назло врагу живем...

— И то хорошо. Есть у меня к вам небольшое дело. Передайте вот это Вороновым. Желательно старшему, он в этих делах лучше разбирается.

Володя вытащил из кармана листочки напечатанных на машинке материалов и макет будущей «Звезды».

— Пусть наберут, а когда будет готово, сообщите мне.

Сначала Сайчик отыскал соседа Вороновых Тимоха Трофимука. Они уже были хорошо знакомы. По заданию подпольщиков Тимох Трофимук, работавший квартирным агентом, устроил Василя Сайчика на жительство в небольшом деревянном доме против Дома печати — место очень удобное для подпольщиков. Через Сайчика Вороновы и Трофимук передавали в горком партии продовольственные и хлебные карточки, бланки разных документов, печати, штампы. Поэтому Дед говорил с Трофимуком как с человеком своим, которому можно доверить серьезное дело:

— Если увидишь в обед кого-нибудь из Вороновых, скажи, что я буду ждать отца после работы.

Пусть зайдет ко мне на минутку.

Отец Воронов пришел встревоженный:

— Видно, что-то случилось?

Но Сайчик успокоил его:

— Все в порядке. Поручение есть очень ответственное. Вот материал для газеты. Нужно набрать его, а когда будет готово, сообщите.

В глазах Воронова засветилась радость.

— Вот это настоящая работа для нас! Теперь я вижу, что подпольный партийный комитет действует.

Ну, такое поручение грех не выполнить.

Казалось, что и очки его в тонкой круглой черной оправе, и высокий с залысинами лоб — все светится радостью.

— Передай товарищам из комитета, что будет сделано...

Кто не попробовал батрацкого хлеба, тот не знает, какой у него горький вкус. Недаром в песнях поется, что слезами и потом полит каждый его кусок.

Такие песни Броня слышала только по радио или на концертах самодеятельности. Слова о батрацкой судьбе не трогали ее сердце, ведь они говорили о каком-то другом мире, других людях, другом времени. От давно минувшего того времени только и осталось что песни. Иногда мелодия западает в душу, а слова — чужие, далекие. Ведь росла Броня и училась в городе и о батраках не имела представления. А вот пришли фашисты — и самой пришлось стать батрачкой.

Случайно встретился такой же бедолага, как и она сама, — Борис Пупко. До войны он работал в районной типографии где-то в бывшей Западной Белоруссии. Удрать от фашистов не успел, его перегнал фронт. Так и остался в Минске: в большом городе легче устроиться.

Первоклассный наборщик, веселый, общительный, еще молодой человек, он сумел завоевать доверие своих хозяев, и они поручали ему набирать ответственные материалы.

Когда Броня рассказала Борису о своем горестном положении, он просто, без всякого криводушия,

сказал:

— Переходи жить к нам в типографию. Нас там много. Как ни тяжело нам будет, вместе как-нибудь перебьемся.

В том же Доме печати жил новый «хозяин» типографии — фашист. Его жена заметила молодую, подвижную женщину и приказала ей быть служанкой. Куда денешься?

Рано начинался день у батрачки. Еще не занималась заря, а она уже на ногах. Хозяйка любила вкусно поесть, хорошо одеться, чисто жить. А сама чистоту не соблюдала. Так и гнула спину Броня от темна до темна, наводя порядок в квартире и уютных, длинных коридорах Дома печати.

И часовые, обычно стоявшие у входа в этот дом, и рабочие, и даже немцы, наблюдавшие за порядком в типографии, — все привыкли к ней, и никто никогда не спрашивал, куда и зачем она идет и что несет. Мало ли что может приказать своей служанке жена шефа! А кто станет перечить жене начальника, кто осмелится стать на ее дороге?

Тяжелая и грязная работа батрачки сначала угнетала Броню. Но она быстро и с этим свыклась.

Однажды в пустом коридоре она чуть не столкнулась с электриком Михасем Вороновым, сыном того дядьки Михася, который сообщил ей о наступлении Красной Армии. Пристально глядя ей в глаза, Михась-младший спросил:

— Вы верите, что наши вернутся?

Вопрос был неожиданный, и у нее невольно вырвалось то, о чем она думала не раз:

— Если бы не верила, давно отравилась бы...

— А что вы делаете для того, чтобы они быстрее вернулись?

— Что могу делать я, женщина? — ответила вопросом на вопрос.

— Очень много. Во всяком случае, не меньше мужчины.

— Вы скажите, что конкретно я могла бы сделать? Все, что будет мне по силам, я сделаю...

— Скажу. Но только завтра.

На другой день, снова встретив ее одну в коридоре, Михась передал ей сверток. В газетную бумагу были завернуты верстатка и другие инструменты для набора.

— Знаете аптеку около интерната политехнического института?

— Почему же не знать?

— Напротив аптеки — телеграфный столб. На нем еще дощечка прибита... Завтра ровно в девять часов утра возле этого столба вас будет ждать молодой парень. Чернявый такой, с густыми черными бровями, пухлыми губами. Волосы немного кудрявятся, зачесаны на левую сторону. Глаза черные, прищуривается. Передайте ему этот сверток...

И он сообщил ей пароль. Броня схватила сверток и почти бегом бросилась к себе в комнату. Там она спрятала его и стала нетерпеливо ждать завтрашнего утра.

Часто еще до завтрака хозяйка посылала ее за молоком. Часовые привыкли к тому, что она выходила на улицу то с молочным бидоном, то с ведрами, полными картофельных очисток, то с помоями.

Никто не обращал внимания на служанку.

Было без десяти минут девять, когда она шла по коридору с тяжелым бидоном и тихо напевала веселую песенку. Подойдя к выходу, вежливо поклонилась и поздоровалась:

— Гут морген, пан!..

Здоровенный курносый немец сидел, развалясь на стуле, и что-то строгал ножиком. Винтовка его

стояла сбоку, у стены. Он поднял на Броню серые кошачьи глаза и ощерился гнилозубой улыбкой:

— Гут морген, фрау Берта...

— Нет, пан, меня зовут Броня...

— Это все равно, Броня или Берта...

И он захохотал, радуясь своей шутке. А она тем временем, сбегая по ступенькам крыльца, торопилась на свою первую подпольную явку.

Чернявый хлопец уже стоял около столба напротив аптеки. Она подошла к нему, приглядываясь и припоминая, как описывал парня Михась.

— Где здесь Тихая улица? — спросила несмело.

— Тихая улица рядом. Я покажу ее вам.

Все так, как говорил Михась. Они повернули назад к Тихой улице, и на ходу незаметно она передала парню бидон. Кивнула на прощанье головой и вернулась в Дом печати.

С этого и началось. Очень часто выносила она из типографии то шрифт, то краску, то бумагу, то типографское оборудование. Передавать все это на улице стало опасно. Тогда Михась Воронов спросил:

— Знаете деревянный домик, что через улицу от нас, около академии?

— Знаю.

— Там живет наш человек. Все зовут его Дедом. И вы так зовите. Теперь вы всё будете носить к нему.

По не известной ей подпольной цепочке типографское оборудование шло на другие тайные квартиры. Она не знала, куда и кому оно идет. Не знала даже, что хлопца, которому она впервые передала бидончик около аптеки, звали Сергеем Благоразумовым. Никто не говорил ей, что она работает под руководством Володи Омелянюка, что в цепи, которая занимается организацией подпольных типографий, немалую роль играет и неуловимый Иван Кабушкин (Жан). Броня видела только, что незаметный, но могучий подземный поток размывает почву под ногами врага. И в этот неуправляемый поток маленьким ручейком вливается и ее скромный труд.

Однажды в мае младший Михась Воронов встретил в цехе Бориса Пупко и по-дружески потряс его за плечи, будто намеревался побороться с ним.

— Нам поручено очень ответственное дело... — прошептал он на ухо Борису. — Вот текст подпольной газеты «Звезда», которую мы должны выпустить. Надеюсь, понимаешь, что это такое. И значение газеты, и ответственность, и опасность...

— Понятно, — сразу ответил Борис, — я должен набрать текст.

— Да. Но один ты такое дело не вытянешь. Это тебе не листовка, а газета. Открыто набирать в цеху не стоит, ведь тут рискуешь не только своей жизнью, но и делом. Мы кое-что придумали. Завтра я проведу электричество в склад наборного цеха и сделаю ключ от склада. Там вам придется работать вдвоем с Броней вечерами. Часть наберет Михась Свиридов.

— Можно и так, — согласился Борис.

Стемнело. «Хозяева» Дома печати рано ложились спать.

Босые, затаив дыхание, чтобы не услышали часовые, ощупью пробирались Борис и Броня в наборный цех. Замок от склада легко отомкнулся. Броня развернула большие полосы черной бумаги и плотно закрыла ими окно. Потом заперла дверь и включила электричество.

Золотистый сноп света упал на соты наборной кассы. Броня удивлялась, как быстро и безошибочно, не глядя на ячейки кассы, брал Борис нужные буквы и ставил их в строчки на верстатку. Строчки росли на глазах, и статья Володи Омелянюка превращалась в свинцовую гранку.

Долго держать руки над головой было тяжело. Кассу опустили на пол. Борис стал перед нею на колени, а Броня уже без напряжения могла направлять вниз узкий луч.

Всю ночь работать нельзя — ведь завтра нужно рано вставать, и никто не должен заметить на их лицах усталости. Перед уходом сделали на складе все так, как было раньше, а набранную гранку передовой статьи и заголовок газеты взяли с собой. Утром Броня отнесла их Деду (Сайчику), а тот — на квартиру Трофимука.

Так работали они каждую ночь. А Михаил Свиридов набирал днем прямо в цехе. Гранок у Трофимука скопилось много. Тогда положили на стол металлическую доску, и старший Михась Воронов начал верстать газету.

Хотя Володя при составлении макета приблизительно рассчитал объем всех материалов, однако в некоторых заметках остались «хвосты», которые не вмещались в газетную полосу. Нужно было сокращать. Михась Воронов оттиснул корректуру и через Деда передал Володе.

— Скажи, пусть осторожно правит... — попросил он Деда.

Володя долго думал над полосами. Нужно было сократить так, чтобы не перебирать текста, так как для этого на квартире Трофимука не было ни достаточно шрифтов, ни необходимых условий.

Обдумывая каждое слово, редактор представлял себе, как старший Воронов трет лысину, пытаюсь побольше втиснуть строчек, не перебирая текста. И находит, на чем сэкономить место.

«Как хорошо, что у нас есть такой человек, — подумал Володя про Воронова. — Главная наша сила — в таких, как он, в том, что люди, подобные Воронову, — с нами».

...Сайчик давно уже ждал правку. Он молча сидел в углу и недовольно смотрел, как Володя мучается, подбирая нужные слова, что-то вписывает, что-то зачеркивает. Выправленные полосы Дед получил только вечером. Прямо с Немиги пошел на Шорную улицу. Воронов-отец был как раз дома, ждал вестей от Володи.

— Держи, — вытащил Сайчик корректуру откуда-то из-под огромной бороды или, может, из-за пазухи. — Что он тут намалевал, лихо его ведает... Я говорил ему, чтоб он не того, не больно мазюкал... У них, редакторов, у всех привычка такая: сам напишет да сам же и зачеркивает...

Многие из подпольщиков знали эту слабость Деда: любит старик поворчать и показать, что он во всем опытнее других. Но ему прощали. У кого нет недостатков! Пусть себе ворчит...

Правка полос заняла не много времени. Когда все было готово и на металлической доске, крепко связанная шпагатом и зажата со всех сторон, будущая газета блестела черной краской, в квартире Трофимука собрались обе соседские семьи. Были здесь отец и сын Вороновы, жена сына — Алена Лысаковская, сам Трофимук с женой Одаркой. Окна завесили. Воронов-отец немного намочил заранее подготовленную бумагу и положил ее тут же, рядом с набором.

Начали печатать. Михась-младший брал валик с типографской краской и накатывал набор, Тимох клал на набор чистую бумагу. На бумагу настилал такой же кусок фетра, а Михась брал другой валик, которым катали белье, и еще раз с силой катал им по фетру. Такая же операция повторялась с другой полосой. На нее клали лист бумаги обратной стороной. После этого вешали сушить — на стулья, кровати, расстилали по полу.

Через два-три часа вся квартира была завешана и завалена листами, пахнущими типографской краской. Когда же бумага немного просыхала, ее складывали в сундук.

Евгений Владимирович Клумов обычно просыпался на рассвете. В таком возрасте человеку не очень спится. А тут еще чужое горе тяжким грузом ложится на старые плечи. Да и чужое ли оно? За долгую трудовую жизнь профессор научился отделять чужую беду от своей. Ведь и профессия такая, что люди шли к нему со своей болью, с бедой и страданиями, доверчиво отдавая себя в его заботливые руки. Со всеми он был спокоен, никогда не выказывал своих чувств. Больной невольно поддавался его влиянию и был уверен, что поправится.

Теперь у Евгения Владимировича хлопот прибавилось. Старый его друг, известный профессор-метеоролог Анисимов, которого он устроил на работу лаборантом в свою клинику, сделал в печке лаборатории нишу, поставил там радиоприемник и замаскировал его так, что никаких следов не осталось. Жили они совсем рядом, в том же корпусе. До начала работы или после нее, когда в больнице никого из посторонних не было, Клумов слушал сообщения Советского Информбюро, а несколько позже мелкими буквами записывал их на листочках папиросной бумаги.

Люди жаждут правды. Им хочется знать, что же делается на фронте. Правда, словно бальзам, лечила страдавшие души, и делать это было не менее важно, чем лечить изувеченные, страдавшие тела. Если честное выполнение функций врача Евгений Владимирович считал своей профессиональной обязанностью, то распространение большевистской правды — обязанностью гражданина.

Без десяти минут девять он выходил на больничный двор и садился на скамейке под окном.

Служащие больницы в это время шли на работу. Одни издали кивали профессору головой, другие подходили ближе и желали ему доброго утра. Вот в калитке показалась невысокая, стройная, подвижная Виктория Рубец.

— Доброго утра вам, Евгений Владимирович! Как ваше здоровье?

— Доброе утро, Виктория Федоровна, — ласково отвечал профессор, вставая ей навстречу. —

Спасибо, я болеть не собираюсь. Что же это будет за медицина, если сами медики займут больничные койки. Не имеем права болеть, дорогая Виктория Федоровна, не имеем права...

Она знала, что профессор болен диабетом, но никогда не говорит о своей болезни. Они крепко пожали друг другу руки. В тот же миг Виктория ощутила в своей ладони мягкий, хрустящий комочек бумаги. Профессор немного задержал в своей огромной руке нежную, красивую руку и еще раз выразительно пожал ее. Витя поняла, что он передает какую-то записку. Лукаво посмотрев ему в глаза и улыбаясь, пошла дальше. Крохотный комочек папиросной бумаги очутился у нее в кармане. А профессор остался ждать, пока явятся остальные медики, которых он хорошо знал как надежных советских людей. С каждым здоровался за руку, оставляя в ней сводку Советского Информбюро. Двадцатого мая 1942 года, когда уже закончился прием больных, к профессору в кабинет вошла медицинская сестра Алла Сидорович.

— Евгений Владимирович, к вам еще один человек...

— Срочное что-нибудь? — немного поморщился он, вытирая руки полотенцем.

— Очень срочное.

— Ну, тогда позовите.

На пороге стоял высокий старик, с огромной как метла, бородой. Он пытливо смотрел на

профессора. Алла заперла дверь на задвижку. Евгений Владимирович хорошо знал Аллу не только как свою сотрудницу, но и как надежного человека. Через нее не раз передавал медикаменты в партизанские отряды. Видно, и теперь она задумала что-то важное. Ведь рослый, дебелий бородач, не спускавший с профессора пытливых глаз, пожалуй, совсем не нуждается в лечении. Вон как крепко стоит на ногах!

— Знакомьтесь, Евгений Владимирович, это наш человек. Зовут его Дедом. Он что-то приятное принес нам.

Старик вытащил из-за пазухи небольшую газетку и молча подал ее профессору. Тот осторожно взял листок и прочитал вслух:

— «Звезда»...

Прочитал и застыл. Глаза его часто-часто заморгали, будто их запорошило. Начал читать одну из статей, но не мог — слезы сыпались градом. Не вытирая и не стыдясь их, Евгений Владимирович сказал:

— Наконец засветилась и наша «Звезда». Я всегда верил, что так и будет, что партия не оставит нас. Большое спасибо ей, от всего нашего народа спасибо...

Сидорович и Дед молчали, пораженные таким глубоким волнением профессора. А он сел на стул, снова попытался читать и все еще не мог. Немного совладав со своими чувствами, пробежал глазами по строчкам передовой статьи. Прочитав, поцеловал газетный листок:

— Вот где святая правда!

И снова углубился в газету. Дед молча вышел, взволнованный тем, что видел и слышал.

Старик торопился. Еще во многих местах люди ждали пламенных слов «Звезды». Нужно было тайно разнести газету по явочным квартирам или раздать другим подпольщикам.

«Звезда» пошла не только по городу. Железнодорожники повезли ее в Барановичи и Бобруйск, Гомель и Оршу, в другие города Белоруссии. Шофер-подпольщик Арсений Гришин доставил газету в некоторые партизанские отряды. Много экземпляров понесли с собой партизанские связные. Яркие лучи «Звезды» светили людям и согревали их, слова ее призывов западали в сердца и тех, кто уже держал оружие в руках, уничтожая врага, и тех, кто еще не принимал активного участия в борьбе. Партизанские отряды пополнялись новыми силами.

Жилось Борису Рудзянке неплохо. Он начал уже забывать, «как прирастает пуп до хребта», что такое пустой живот и как текут слюнки при одном упоминании о еде. Все это осталось позади.

Теперь его живот всегда туго набит. В условиях оккупированного города для таких людей, как Рудзянко, забота о сытости составляла половину смысла жизни. Но только половину. Вторая половина жизни уходила на «работу», — ведь надо было отработать хозяевам положенное, доказать им свою собачью преданность.

А это было нелегко. Ничего подходящего, ничего такого, что хозяева могли бы оценить, не попадалось ему на глаза.

На квартиру к хозяйке часто заходил еще не старый, худой молчаливый человек. Принесет дров и ждет, пока хозяйка или хлеба ломоть отрежет, или пригласит к столу и угостит крупеником либо затиркой. Поест, молча оботрет губы, как-то стыдливо вымолвит «спасибо» и уйдет.

Рудзянко пробовал заговорить с ним о том о сем, но человек только хмыкал. И трудно было понять, соглашается он с собеседником или придерживается какого-то своего мнения.

Через хозяйку Рудзянко узнал, что человек этот — бывший политрук Владимир Тимофеевич Бабенко. В бою под Минском он попал в плен, но убежал из лагеря и устроился работать столяром на товарной станции, а после перешел работать на большой склад, что находился на улице Льва Толстого, возле железнодорожного переезда.

Разве пойдешь к шефу со сведениями о таком вот Бабенке? Осмеет и прогонит. Таких, как Бабенко, сейчас в городе столько, что хоть бреднем собирай. Может, лучше использовать этого Бабенку как-нибудь иначе?

Рудзянко стал постепенно сближаться с бывшим политруком. То хлеба даст, то сахаринном угостит. И все полупшепотом ругает немцев. Бабенко стал более доверчиво относиться к нему, порой и соглашался с тем, что утверждал Рудзянко. Однако души своей открывать не торопился.

К хозяйке время от времени приходил и ее племянник Иван из деревни Слобода, что юго-западнее Минска. Хлопец очень доверчивый, искренний, бесхитростный. Однажды Иван вошел к Рудзянке и сообщил:

— Знаете что? В лесочке за нашей деревней большой бой был, когда немцы Минск брали. Наши там долго держались. Побило там наших много. И вот заглянул я как-то туда, а там оружия — тьма... И винтовки лежат, и патроны...

— Ну, и что ты сделал с ними?

— Ничего. А что я сделаю?

— Как что? Вот дурень! Ведь это все может нам очень пригодиться. Сейчас же иди домой, собери все, что найдешь, и закопай. Сначала хоть немного почисти, небось там заржавело все, смажь каким-нибудь жиром и заверни хотя бы в онучи. И патроны спрячь. Когда сделаешь все это, мне скажешь, сколько чего собрал. — Подумав, добавил: — Нет, тебе одному такое дело, я вижу, нельзя поручить. Давай пойдем вместе.

Хлопец и обиделся, и обрадовался. Обидно было, что Рудзянко не совсем доверяет ему. Но вдвоем идти на рискованное дело, да еще впервые, — смелей.

До деревни было не очень далеко. Через несколько часов пришли в лес. Несли с собой тряпье, масло для чистки оружия, онучи.

И действительно, патронов валялось на краю леса тьма-тьмущая — и в ящиках, и просто рассыпанных по земле.

Собрав оружие, они смазали его оружейным маслом, завернули в онучи и положили в ближайший окоп. Сверху забросали землей и навалили большой камень — для приметы. Руки у обоих были черные, грязные, зато настроение бодрое. Как-никак припрятали десять винтовок и тысячи патронов. Вот теперь Борис Рудзянко будет иначе разговаривать с подпольщиками. С таким приданым можно идти в сваты. Каким бы настороженным ни был этот Клим, но, услышав про склад с оружием, наверно поболеет.

Вскоре Рудзянке вообще начало везти. В конце апреля 1942 года к нему на квартиру пришли Никита Турков и какой-то незнакомый рыжеватый горбоносый человек.

— Ты просил познакомить тебя с хорошим человеком, — сказал Никита. — Так вот, знакомься: Клим...

Пожимая руку Рудзянке, Клим не спускал с него глаз. Рудзянко заерзал, засуетился, стараясь скрыть свое смущение под маской гостеприимства и приветливости.

— Пожалуйста, садитесь, прошу вас. Я сейчас, на минуту на кухню пойду, приготовлю кое-что...

— Подождите, — остановил его Клим, — поесть успеем. Сначала поговорить нужно.

— За столом и говорить удобней...

— Смотря о каких делах. Нам лучше вот так. Садитесь...

Можно было подумать, что хозяин в этой комнате не Рудзянко, а Клим. Он сел на стул, а другой поставил напротив и показал на него Рудзянке. Тот вынужден был сесть, но отодвинулся немного, не выдерживая пронзительного взгляда Клима.

— Разговаривать тогда хорошо, когда знаешь, с кем говоришь. Расскажите о себе.

Рудзянко начал издали, почти с детства. Учеба, служба в армии... Он все расписывал, не жалея романтических красок. О первых днях войны говорил с горечью: тяжелые бои, окружение, ранение, плен и госпиталь для военнопленных.

— Добрые люди помогли мне выбраться оттуда. Была у нас медицинская сестра Ольга Щербацевич... Упомянув это имя, напрягся: как бы не сфальшивить, не выдать себя. И все же голос изменил ему, задрожал. Но Никита и Клим по-своему объяснили его волнение: жалеет, мол, переживает.

— Так вот, она многим раненым принесла гражданскую одежду, достала где-то старые паспорта, которые мы потом подделали... Словом, помогла многим выбраться из госпиталя, в том числе и мне... А позже, видно, не убереглась, я видел ее на виселице в Центральном сквере... Вместе с сыном...

Он растроганно сморщился, скривил рот, и было в его лице в тот момент нечто такое, от чего Клим, не выдержав, отвернулся.

— Ну, а я вот приспособился кое-как и живу. Откровенно говоря, сахарином торгую... Деньги есть, продукты есть, жить потихоньку можно было бы, но совесть не позволяет так жить. Где-то там братья наши воюют, кровь проливают, а я тут пристроился в затишке и жду, пока мне кто-то вернет советскую власть... Как подумаю, сердце болеть начинает... А что я могу? Куда ни сунься — везде только враги. Никак не попаду на своих людей, а я мог бы многое сделать...

— А именно?

— Для начала мог бы передать партизанам десять винтовок и тысячи патронов. Ого! Разве этого мало?

— Где вы их взяли?

— Собрал. В лесу собрал и там же закопал. Хоть сейчас могу передать, было бы только кому...

— Найдется кому передать. Только скажите нам, где они лежат, — заберем. Ну, хорошо. Будем знакомы: Клим.

И протянул руку. Рудзянко уцепился за нее и долго радостно тряс. Тут уж он искренне радовался. Наконец клюнуло! Значит, не такой уж он никчемный, и хозяева не пустят его в расход. Он еще может пригодиться им...

— Нужно, чтоб мы вместе боролись против фашистских оккупантов, — сказал Клим.

Конечно, конечно, я всей душой, я очень рад... Наконец сбылась моя мечта, и я могу отомстить им за кровь и издевательства, за слезы и унижение...

Говорил, говорил не останавливаясь, а сам все думал, как бы не переиграть, как бы они снова не насторожились, не почувствовали фальшь.

— А вы знаете, чем вы рискуете? Фашисты разгромили подпольный комитет. Вы видели

повешенных на Центральном бульваре, на Суражском, Комаровском, Червенском рынках? Все это наши боевые товарищи. Петля, а в лучшем случае пуля ждет каждого из нас, кто попадет в лапы СД. Но это не пугает нас. Мы снова собираем свои силы. Восстановлен подпольный горком партии. Он уже действует. Все это я говорю вам для ориентировки.

Из подкладки своего рыжеватого, старенького, протертого на локтях пиджака он вытащил напечатанную на небольшом листке сводку Советского Информбюро и отдал Рудзянке.

— Вот прочитайте и дайте другим прочитать. Только надежным. А теперь и поесть не повредит.

Он встал и прошелся по комнате, разглядывая снимки на стенах — фотографии родственников хозяйки. Когда Клим отвернулся к стене, Рудзянко заметил, что штаны у этого Климана еле держатся, протерлись и короткие, тесные. Эту деталь он запомнил.

Попотчевать гостей было чем, и Рудзянко не скупился. Клим ел молча, наклонившись над столом, жадно перемалывая все, что было на тарелках. Только когда последний кусок ветчины исчез у него во рту и была выпита последняя чашка чаю, он откинулся на спинку стула и смотрел на собеседника осоловевшими, хмельными глазами.

«Ну, видно, и проголодался ты, — подумал Рудзянко, наблюдая, как Клим вытирает рукавом крупные капли пота на лбу. — Не очень сладко тебе живется. Как бы получше использовать это?»

На очередное свидание со своим шефом из Абвера Рудзянко шел уверенно (у него — хорошие козыри!). С наслаждением рассказал о том, как познакомился с Климом, о чем говорили. Шеф приказал описать, как он выглядит. Напрягая память, Рудзянко детально, черта за чертой, нарисовал портрет человека, который, утолив голод, осоловевшими глазами смотрел на собеседника.

— А из тебя выйдет толк... — похвалил шеф. — Постарайся войти в комитет. Снова предупреждаю: действуй так, чтобы они ничего не подозревали.

Он мог и не предупреждать. Рудзянко и сам уже научился притворяться, принаравливаясь к условиям.

После первой встречи Хмелевский (а это он носил клички «Клим» и «Костя») стал часто заходить к Рудзянке. Бывало так, что целые сутки ему не попадало ни крошки в рот, и тогда, измученный голодом, он шел к Борису. А у того всегда было что-нибудь припасено для желанного гостя. Спустя некоторое время Костя начал и ночевать у Рудзянки.

— Ты будешь помогать нашей организации экономически, — сказал он однажды Борису. — От продажи сахара у тебя всегда есть деньги. А они нам очень нужны. Кроме этого, я часто буду жить у тебя, возможно, совсем обоснуюсь здесь, у меня нет другого места, где я мог бы отдохнуть. Да и с питанием у тебя легче, что теперь очень важно.

— Да что там говорить! — согласился Рудзянко. — Я — в распоряжении комитета, и все, что у меня есть, принадлежит комитету.

Через несколько дней Костя Хмелевский перебрался к Борису. Они подружились. Вечером, оставшись вдвоем, Костя рассказывал о своей жизни, о том времени, когда он работал директором стеклозавода. Сказочные, радужные переливы света в граненом хрустале, звон бокалов, ваз, графинов, неуловимые движения рук мастера, превращающего бесформенную каплю расплавленного стекла в чудесную, радующую взоры вещь, — все это волновало Костю. Он мог часами рассказывать о своих мастерах-чародеях. Таких, по его словам, нигде на свете больше не найдешь.

— Что теперь случилось с заводом? — вздыхал он. — Груды кирпича и металла... Даже подумать страшно. Как же не мстить фашистским гадюкам за все это!

— Конечно, — соглашался Рудзянко. — И мы будем мстить. Что касается меня, я ничего не пожалею, чтобы уничтожить эту погань...

Наконец Хмелевский предложил:

— Пора тебе уже более активно браться за работу. Я рекомендую тебя в состав одного райкома партии. Вместе будем работать...

Сердце Рудзянки затрепетало от радости. Но сразу согласиться было бы неразумно — вдруг это вызовет подозрения. Пусть Костя получше попросит. Теперь он не отстанет, если уж предложил конкретную работу. Такие предложения предварительно обдумываются.

— Нет, Костя, — ломался он для вида, — благодарю за доверие, но я не могу быть членом райкома. Ведь я даже не член партии, а только кандидат...

— Ничего, в условиях подполья такое можно допустить.

Рудзянко понимал, что Хмелевский твердо решил сделать его членом райкома. В таком случае нужно набить себе цену.

— Все это так, но очень уж серьезное дело ты предлагаешь мне. Справлюсь ли я? Позволь немного подумать.

Слушая эти слова, видя сопротивление Бориса, Хмелевский окончательно убедился, что имеет дело с серьезным и честным человеком, который не переоценивает свои силы.

— Хорошо, подумай, — согласился Костя. — Когда решишь — скажешь. Но долго не тяни.

Подпольный горком восстанавливает связи с партизанскими отрядами, снова руководит их деятельностью. Нам нужно ускорить отправку людей в леса. Это дело хорошо было бы поручить тебе.

— Подумаю, Костя.

Как раз приближался срок следующей встречи с шефом. Она должна была произойти на Комсомольской улице, в одном из уцелевших домов, в обычной на первый взгляд квартире. Правда, жители в ней были новые, так как прежде здесь жили евреи, выселенные теперь в гетто. Но в то время лишь немногие сидели в своем довоенном гнезде, все изменилось, перемешалось...

Озираясь, как вор, чтобы никто не видел, заполз сюда в назначенный час Рудзянко. На его приветствие шеф брезгливо скривил свое длинное, будто побитое оспой лицо и коротко приказал:

— Садись. Докладывай.

Когда бы ни пришел сюда Рудзянко, никого, кроме этого черного длиннолицего типа, он не встречал. Но по всему видно, что шеф здесь не живет и сам только что явился. Значит, есть еще некто, такой же, как Рудзянко, кто помогает фашистам, скрываясь от чужих глаз.

Борис подробно рассказал о том, что предложил ему Хмелевский. Длиннолицый задал несколько вопросов, чтобы уточнить показания своего шпика, и Рудзянко понял: не он один кружит над подпольным комитетом, есть еще более ловкие. Чувствовалось, что шеф уже знает кое-что о деятельности подпольщиков.

Обрадовало ли это Рудзянку? Нет, скорее напугало. Не дай бог, если он не угодит хозяевам! Они сами и рук не станут пачкать о него. Через своих агентов выдадут комитетчикам как абверовского шпиона, и подпольщики оторвут ему голову. Хмелевский как-то проговорился, что при горкоме

создан оперативный отдел по борьбе со шпионами и провокаторами и что возглавляет его какой-то Жан. Хвалился еще Хмелевский, что Жан очень смелый и решительный парень, безотказно выполняет все задания комитета. Нет, теперь у Рудзянки одна дорога — стараться заслужить милость хозяев.

— Так, говоришь, предлагает в комитет войти? — Шеф с наслаждением причмокнул губами. — Это очень хорошо. Обязательно соглашайся. И старайся как можно глубже залезть, налаживай больше связей.

На том они и расстались.

Дома ждал его Костя.

— Ну, надумал?

— Да, надумал. Согласен. Но если что не так буду делать — поправляй и помогай. У меня в таких делах опыта нет.

— Мы все не проходили университетов подпольной борьбы с фашизмом, — успокоил его Костя. — Максим Горький считал жизнь самым серьезным университетом. Она и нас учит. Завтра проведем заседание райкома.

Собирались на улице Карла Либкнехта, в кабинете начальника противопожарной охраны одной базы Миколы Коржановского. Он и был третьим членом райкома.

— О том, что здесь говорится, будем знать только мы трое, — предупредил Хмелевский. — Если наш разговор выйдет за пределы этих стен, ответит кто-то из нас. Работать будем так. Каждый имеет свою группу людей и ею занимается. Я буду передавать вам общие директивы и указания горкома. На Миколу возлагается обязанность подбирать и готовить людей к отправке в отряд. Борис будет обеспечивать организацию деньгами и непосредственно переправлять людей из Минска в Слободской лес. Там в условленное время будут ждать связные отряда, которые поведут людей дальше. Наша задача — держать связь главным образом с отрядом, который действует в Дзержинском районе. Все понятно?

— А как часто мы будем собираться? — поинтересовался Рудзянко.

— При первой необходимости. Вот наши явочные квартиры... И он перечислил несколько квартир.

— Сюда будут заходить и связные партизанского отряда. Главное — больше инициативы. На каждый шаг инструкций не наберешься. Считаешь, что это дело принесет вред врагу и пользу нам, — делай.

Снова наступило время идти Борису к шефу. Нелегкий предстоял разговор, ой, нелегкий! Что сказать хозяину? Все, как есть? Даже о том, что поручено держать связь с проводником отряда? Тогда фашисты потребуют выдать и проводника и людей, которых Борис должен будет направлять в отряд. А проводника, как сказал Хмелевский, никто не будет знать, кроме Рудзянки. Если проводника схватят, на кого падет подозрение? Конечно, на него, на Бориса. И чем все это кончится? Какой-нибудь Жан всадит нож в бок или стукнет из пистолета — и амба! Кто будет искать убийцу Рудзянки? Кому это нужно? Может, шеф слезу пустит? Держи карман шире!

При встрече с шефом на этот раз Рудзянко рассказал не все. О том, что ему поручено держать связь с партизанским отрядом и выводить людей из города, промолчал.

Началась сложная двойная игра. Она требовала большого напряжения нервов, хитрости и актерских способностей. Однако другого выхода для него уже не было. Да и опыт кое-какой накопился. Иной

раз Рудзянко осмеливался даже с иронией думать и о своем шефе и о подпольщиках. Они, мол, гоняются друг за другом, а он стоит между ними, знает планы тех и других, вредит им, и все они считают его своим. Вот и бдительность, проницательность их хвалена! Оказывается, самое главное в жизни — уметь приспособиться.

Дома он застал Хмелевского, который протянул ему несколько листков бумаги:

— На, читай...

А сам сел напротив и стал наблюдать, какое впечатление производит на Рудзянку прочитанное. Тот, чувствуя на себе пристальный взгляд, то причмокивал после каждой фразы, то выражал свое восхищение каким-либо восклицанием, то просто крутил головой. Он читал напечатанное на машинке письмо белорусского народа Центральному Комитету партии.

— Вот это да! — проговорил Рудзянко. — Сильно сказано!

— Способный парень писал, — согласился Костя. — Что ни говори — журналист. Подожди, скоро принесу тебе нашу газету «Звезда», которую редактирует Володя... А это письмо я принес, чтобы ты не только сам прочитал, но и собрал подписи под ним. Мы пошлем его через линию фронта.

— Ого, вот это дело! Постараюсь собрать побольше подписей...

— Ну, всего хорошего, я завтра не приду. У меня есть еще дела. А ты с подписями не затягивай...

Как только за Хмелевским закрылась дверь, Борис начал торопливо переписывать письмо. Взялся за это с азартом, — в руки попал очень ценный для фашистов документ, и они должны засчитать его в актив Рудзянки. Тогда можно будет усилить работу и в стане подпольщиков. Ведь и в их пользу нужно что-то делать, одними деньгами да возгласами одобрения от них не отцепишься.

Переписывать пришлось долго. Рука даже онемела. «Лихо твоей матери, и намахал же столько! — ругал он в мыслях автора письма. — Что за Володя? Нужно сказать шефу...»

Отправляясь собирать подписи, долго обдумывал, как он будет агитировать людей. Если гестаповцы расшифруют подпись, можешь смело выбирать себе место на любом телеграфном столбе или на суку в Центральном сквере...

Каково же было его изумление, когда почти все, кому он давал читать письмо, не задумываясь расписывались.

«Ошалели они, что ли? — недоумевал Рудзянко. — Будто в ведомости на зарплату. А что, если я весь этот список отнесу шефу? Ох и стоило бы проучить, чтобы покрутились на шомполе, как я крутился... Смотри ты, расхрабрились...»

И от злости сжимал кулаки, скрипел зубами.

Почему Борису так больно было видеть, как простые люди подписывались под письмом?

Даже самому себе он боялся признаться в этом.

А причина ясная: зависть. Как ему было не завидовать, если все они, те, что расписывались, считают себя честными людьми. Пусть не каждый из них принес какую-то пользу Родине, но и не предавал ее, не изменил ей. Каждый имеет право считать себя честным.

А Борис?

Он должен крутиться, хитрить, приспособливаться. У тех один враг — фашисты. А у него все люди — враги. Каждый имеет право уничтожить его — и советский человек, и фашист. А кто дал им это право, кто? Почему чужие руки тянутся к его горлу?

Он теперь ненавидел всех, с кем ему приходилось иметь дело, и чем больше ненавидел, тем шире

расплывалась на его худом лице кривая лъстивая улыбка. Ему очень хотелось выжить.

Письмо с подписями отнести шефу он не осмелился, вернул Хмелевскому, но копию все же передал Абверу. И о Володе-редакторе сообщил. Но шеф пренебрежительно бросил:

— Не много же ты успел. О Володе мы лучше тебя знаем. Нужно более энергично действовать...

Работы у подпольщиков стало больше. Готовили новую, резервную типографию. По городу распространялось переписанное на машинке Настей Цитович и Лидой Карсеко письмо в ЦК. На Володе лежала обязанность проследить, чтобы райкомы собрали как можно больше подписей. Много хлопот требовала связь с антифашистским комитетом Дзержинска.

Каждая минута на счету. Как хорошо, что Настя Цитович взяла на себя заботу о его питании и даже одежде. Хоть эта забота отпала. Можно думать только о делах.

Из Дзержинска за пополнением для партизанского отряда приехал Микола Сидоренко. Люди были предупреждены. Володя продумал все — и где собираться, и кто повезет, и какой маршрут выбрать. На явку, так же как в прошлый раз, пошел сам. Хлопцы в условленное время были на месте.

— Поехали! — приказал Микола Сидоренко.

Володя кивнул ему головой на прощанье и пошел к Дому правительства.

Ярко светило солнце. Трава пробивалась даже сквозь потрескавшуюся мостовую, покрывала руины зеленым ковром. В развалинах домов буйно рвались к солнцу темно-бурым, словно загоревший бурьян, чертополох, крапива.

Но хоть утро выдалось светлое, на душе у Володи — холод, ему было не по себе. Что-то беспокоило его, какая-то неясная и непонятная тревога лежала на сердце. Он чувствовал себя так, будто кто-то гадкими, потными, липкими руками хватал его за плечи.

С таким неприятным ощущением зашел в аптеку напротив Дома правительства. В кассе, как всегда, сидела Нина.

— Добрый день, — громко поздоровался он, а потом, подойдя совсем близко, тихо спросил: — Жорж здесь?

— Нету.

— Скоро будет?

— Скоро.

И снова громко, на всю аптеку:

— Так этого лекарства у вас нет?

— Нет, сейчас нету.

Вышел быстрым шагом. Первое, что бросилось в глаза на улице, — рыжий верзила прохаживался взад-вперед. Рука невольно сжала пистолет, лежавший в кармане макинтоша. Сомнений нет — гестаповец. И совсем рядом с СД метнул на Володю быстрый взгляд.

Здесь, на улице, стрелять не будешь — можно нечаянно попасть в невинного. Ведь кругом ходили люди. Нужно заманить шпика дальше от центра города и, если не будет возможности скрыться, застрелить.

На перекрестке повернул направо, в сторону мединститута, прижимаясь ближе к домам. Только бы выскочить туда, где больше руин, там можно спрятаться. Но шпик догонял. Володя слышал тяжелые, быстрые шаги и громкое сопенье.

За мединститутом Володя сделал вид, что хочет бежать в скверик, а сам резко повернул направо и

нырнул в высокие ворота. Еще каких-нибудь полсотни метров — и он спрячется в руинах. На ходу начал вытаскивать пистолет.

И в тот же миг почувствовал, как кто-то дважды сильно толкнул его в спину и выхватил землю из-под ног.

Выстрелов уже не слышал и выстрелить не успел.

Человек, застреливший его, боязливо озираясь по сторонам, побежал назад, в СД. А через полчаса сюда подъехал «черный ворон», тело Володи Омелянюка забрали и куда-то повезли.

...В то утро, 26 мая 1942 года, в аптеке людей было не много. Нина могла спокойно наблюдать за всем, что происходило вокруг.

Жорж, немного поработав в своем кабинете, закрыл его на ключ и, выходя, сказал:

— Я скоро буду. Если кто придет, пусть подождет.

Потом пришли связные Женя и Ольга. С ними когда-то познакомил Нину Володя Омелянюк.

Темно-русая Женя и белыночка Ольга, казалось, никогда не разлучались. Куда бы они ни шли — обязательно вместе. Вот и теперь зашли, как старые знакомые, и начали говорить о своих мнимых болезнях. Это — для отвода глаз. Ольга заслонила собой кассу, а Нина тайком передала Жене сетку со шрифтами, которые накануне принес сюда Володя. Шрифты подготавливались для отправки в партизанские отряды.

Девчата постояли еще немного, поговорили и ушли.

Вскоре вернулся весь бледный Жорж. Проходя мимо кассы, тихо сказал:

— Зайди ко мне.

У Нины аж сомлели ноги. Взволнованная, растерянная, пошла она за Жоржем. Плотнo закрыв дверь кабинета и глядя ей в глаза, Жорж сообщил:

— Спокойно, Нина, не волнуйся... Только что на улице убит Володя...

Нервно оторвал кусочек газеты и насыпал мелко накрошенной махорки. Дрожащие пальцы скрутили козью ножку. Жадно затаился.

— Иди работай...

Не сказав ни слова, она пошла в кассу. Слышала, как Жорж перешел в комнату, где был аптечный склад, и что-то делал там, — видно, уничтожал следы подпольной работы.

Не верилось, что Володи, того самого Володи, который только что стоял здесь и разговаривал с нею, нет в живых. Как же так, не может быть!.. В ушах еще звучали его слова: «Так этого лекарства у вас нет?» Перед глазами — его светлый макинтош, рыжая бородка и темные очки. Неужто этого чудесного человека она уже никогда не услышит и не увидит?

Посетителей мало, и она может думать, охваченная тревогой, отчаянием... Настороженный слух ловил каждый шорох за стеной. Что там делает Жорж? Хотя бы его минула эта напасть, хотя бы пронесло мимо... А что у него на душе сейчас? Нине хотелось броситься к нему, обнять, утешить, хоть немного облегчить его боль, взять на себя часть тяжести, которая гнетет сердце любимого. Но Жорж приказал быть здесь, и нужно быть.

Долго в задумчивости, неподвижно сидела она, опустив голову.

Вдруг тяжелая тень упала на ее лицо. Не просто заслонила свет, а именно упала и придавила тяжелым прессом. Это Нина запомнила на всю жизнь. Она и не подозревала, что тень может быть такая тяжелая. Нина вздрогнула и подняла голову. Перед нею стояли Женя и Ольга, а между ними

рыжий молодой человек в темных очках. Девчата были совсем серые. Пряди льняных волос Ольги, вылезавшие из-под платка, слились со щекой. Обе, и Женя и Ольга, стояли молча, опустив глаза. Женя держала в руках сетку, ту самую сетку, в которой лежали шрифты.

Человек в черных очках прочитал что-то в бумажке, которую он держал перед собой, и спросил, показывая на Нину:

— Эта?

— Нет, — тихо ответили девчата.

В аптеку ввалились гурьбой более десятка молодых людей. Они говорили между собой по-латышски.

— Ни с места!

Все служащие аптеки замерли. Теперь Нина поняла: СД! Несколько гестаповцев прошмыгнули в кабинет Жоржа, оттуда — в аптечный склад.

Через две-три минуты из склада вывели Жоржа и сторожа аптеки, бывшего студента Митю. Всех арестованных выстроили в вестибюле. Начался обыск.

Не только разговаривать, даже поворачивать голову арестованным запретили.

Дорогие, родные люди стояли совсем рядом, можно было дотянуться до них рукой, слышать, как часто стучат их сердца. Страшной, непреодолимой стеной уже отгородили враги Нину от Жоржа.

Когда рухнет эта стена, да и рухнет ли когда-нибудь? Доведется ли почувствовать в своей руке руку любимого человека?

Нет, видно, для них все осталось позади. Володю застрелили прямо на улице. Что же сделают с ними в застенках СД вот эти головорезы?

Страшные мысли охватили Нину.

Обыском руководил гестаповец, арестовавший Ольгу и Женю. Он самодовольно приказал:

— Спокойно, выходите по одному направо!

Сразу поняла, куда поведут!

В пятидесяти шагах отсюда — здание СД. Прошли по коридору, поднялись по широкой лестнице.

Гестаповец, который шел впереди, отворил дверь в большую пустую комнату. Посреди комнаты стоял низенький стол, и на нем — машинка. По молчаливому приказу конвоиров все вошли в комнату. Арестованных поставили лицом к стене. Молодой гестаповец сел за машинку и начал что-то печатать.

Все молчали. Только фашист что-то долбил, как дятел. Треск машинки отдавался в ушах Нины болезненным звоном.

Привели еще человек десять. Тех, кого арестовали раньше, заставили потесниться. Ольга успела шепнуть Нине, показывая глазами на новых:

— Схвачены по дороге...

Это были те, кого утром Володя Омелянюк отправлял в партизанский отряд. Часть остались лежать на дороге, километрах в пяти от города, где их обстреляла фашистская засада.

Всех переписали, вывели во двор, где их уже поджидал грузовик. Мужчинам приказали лечь лицом вниз, держа руки под собой, а на них погрузили женщин. Гестаповцы стали на женщин и закрыли борт кузова.

По городу ехали недолго. С тротуаров можно было заметить только группу людей в штатском, сидевших молча по углам кузова.

Около тюрьмы их встретила большая толпа немцев. Они громко, самодовольно хохотали. Когда слезали с машин, Нина пропустила девчат, чтобы стать рядом с Жоржем. Улучив удобный момент, он наклонился ближе к стене и беззвучно, одними губами прошептал, вкладывая в свои слова и просьбу и приказ:

— Ты ничего не знаешь!..

По движению губ она поняла, что он хотел сказать, и молча, еле заметно кивнула головой. Сразу же лицо его стало спокойней. Значит, Жорж боялся, что она, не зная, как держаться на допросе, может проговориться или умышленно взять на себя вину, чтобы до конца быть вместе с ним. А зачем гибнуть обоим? Или, может, он просто решил все взять на себя, выгородить любимую девчину. Это похоже на Жоржа Фалевича. Иначе он не мог поступить. Ведь она так хорошо знала его...

Начались дни великих испытаний. Две силы столкнулись между собой: нечеловеческие пытки, с одной стороны, и беспредельная любовь к Родине, пламенная, чистая юношеская любовь, — с другой.

Фашистские газеты трубили об аресте «аптечной группы». А об убийстве Володи — ни слова.

Но подпольный горком быстро узнал обо всем. Ковалев созвал совещание. Собирались тайно, с большими предосторожностями. Неизвестно, не прицепился ли еще к кому-либо «хвост», — тогда в застенки СД попадет все руководство подполья.

Членов горкома беспокоило, кто же выдал Володю и «аптечную группу». Зная ответ на этот вопрос, можно судить, будут ли еще аресты, нужно ли менять документы и явочные квартиры.

Документов к тому времени наделали много. Произвести замену было нетрудно. Но нужно ли?

После убийства Володи и ареста группы Фалевича прошло несколько дней, и СД больше никого не трогало. Видно, предатель не глубоко пустил корни, не очень много знал. А арестованные терпеливо сносили пытки, никого не выдали.

Все члены горкома особенно болезненно переживали смерть Володи. Скромный, умный, приветливый, он был душой подполья.

Когда собрались все, Ватик предложил:

— Прошу почтить память Володи Омелянюка минутой молчания...

Все встали. Каждый чувствовал, что Володя незримо присутствует здесь.

Когда прошла печальная минута и все снова сели, заговорил Ковалев. В его голосе не чувствовалось растерянности, отчаяния.

— Что ж, товарищи, там, где борьба, там и жертвы. У нас здесь тоже фронт. Избежать потерь трудно. Как бы ни было больно от утраты боевого друга, нам нужно продолжать его дело.

Члены горкома задумались. Журналистов среди них больше не было. А для литературной работы в редакции нужны журналисты. Не может быть, чтобы не нашлись такие люди среди честных советских граждан. Не будет журналистов — можно попросить учителей-«литераторов». Однако редактором, как было условлено с самого начала, является заведующий отделом пропаганды. Вот на этот пост и нужно подобрать человека.

Кого?

— Самая лучшая кандидатура — Ватик, — предложил Короткевич. — В старом составе горкома он участвовал в организации типографии, кое-что знает в этом деле. Подберет людей и будет работать. А энергии у него хватит.

Ватик молча посмотрел на Короткевича и по старой привычке продолжал что-то рисовать на кусочке бумаги.

— Я поддерживаю эту мысль, — сказал Ковалев. — Мне кажется, что лучшей замены у нас нет. Все согласны?

— Все, — слышались голоса.

— Теперь у меня есть думка. Новый номер «Звезды» быстро подготовить не удастся. А на убийство Володи нужно ответить массовым распространением нашей газеты. Может быть, сделаем так: заменим в старом наборе оперативные материалы, в частности сводку Советского Информбюро, а остальное оставим прежнее и напечатаем еще один тираж «Звезды»?

— Предложение правильное, — поддержал Ватик. — Я поговорю с печатниками. Если набор еще цел, так и сделаем. Выпустим газету под тем же первым номером, но немного подновим. И сразу начнем готовить второй номер. Я прошу помощи у вас, товарищи. Собирайте материалы для газеты... После того как вопрос о газете был решен, стали думать о пополнении состава горкома.

— Я предлагаю избрать в члены горкома Костю Хмелевского, — сказал Ватик. — Он у нас фактически и работал как член горкома, хотя и считался секретарем райкома. А райком пусть возглавляет Микола Коржановский. Костя будет помогать ему.

— И то правда, — согласился Ковалев. — Костя хорошо знает дело.

Придя с заседания домой, Костя рассказал Борису Рудзянке об изменениях в составе горкома.

— Что ж, поздравляю тебя, Костя, — льстиво сказал тот. — Значит, стоишь того, чтобы в горкоме быть. Только не зазнавайся...

— Не болтай глупости, — оборвал его Хмелевский. — Лучше о деле поговорим. Завтра утром пойдешь на явочную квартиру. Тут Дед и Микола приведут шесть человек. Жди, пока соберутся все. Потом выведешь их. Скажешь, чтобы по одному выходили и шли на запад. Я буду ждать поблизости. Пойдете за мной, только по разным сторонам улицы.

На следующий день, выходя из дому, Борис напомнил:

— Так я пошел. Не задерживайся...

— Не задержусь, следом пойду. Они, должно быть, там уже. Немного подожду вас на улице.

— Хорошо, я медлить не стану. Как только явятся все — и пойдём.

На явочной квартире застал много людей. У входа, возле самой двери, на скамейке примостился высокий худой старик с большой бородой, бедно одетый. Казалось, он случайно попал сюда и потому чувствует себя неловко. «Это, видно, и есть тот Дед, о котором говорил Хмелевский, — подумал Рудзянка. — Нужно заметить, запомнить».

И он внимательно присмотрелся к Деду, стараясь запомнить каждую черту его лица.

Из всех присутствующих только Микола был знаком Рудзянке. Остальные настороженно смотрели на него.

— Так вот, товарищи, — обратился Микола ко всем сразу, — теперь вы пойдете за ним...

И показал на Бориса.

Шли на определенном расстоянии друг от друга, Костя — впереди, за ним Борис, а за Борисом — те, кого он должен вывести в партизанский отряд. Хотя в городе уже исчез запах гари, не очень дымили предприятия, да и машины ездили не так уж часто, — дышать было тяжело. Может, потому, что обстоятельства такие: все время будто на острие ножа и никогда полной грудью не вздохнешь.

Когда Костя очутился примерно в трех километрах от Минска, он прежде всего бросился на обочину дороги, распластался на ее душистом ковре и с наслаждением, с хрустом в костях потянулся. Так и лежал, зачарованно глядя в бездонную синеву неба. Лежал, пока подошел Рудзянко. Дальше шли вдвоем, а остальные — поодаль. Неподалеку от дороги показался лесок. Свернули туда.

На опушке они увидели девушку. Она сидела, подобрав под себя ноги, и плела венок из луговых цветов. Золотисто-белые ромашки, синевато-лиловые черноголовки, трепетная смолка под ее быстрыми, ловкими пальцами ложились в ровный, красивый ряд. Над головой девушки, где-то на высокой березовой ветке, весело, с переливами пела берестянка, предвещая солнце, тепло и хорошее настроение. Девушка плела венок, слушала берестянку и внимательно следила за теми, кто неторопливо подходил к ней.

Только когда они приблизились, девушка встала и Рудзянко увидел, что она совсем маленькая, стройная, чуточку курносая и чем-то очень напоминает парнишку лет четырнадцати-пятнадцати. Одень ее как мальчишку да спрячь короткие волосы под шапку — и не отличишь от подростка. — Знакомся, Борис это Нина, связная партизанского отряда, — отрекомендовал ее Костя. — А это Борис, он будет нашим связным.

Нина Гарина неожиданно крепко, по-мальчишески решительно пожала руку Борису и пытливо посмотрела ему в глаза. Рудзянко даже встревожился: а может, она почувствовала, с кем ее знакомят? Нет, это только показалось. Но с этой егозой в юбке, видно, нужно держаться осторожно. Постепенно подходили и те, кого ему было поручено вести в лес. Осторожно здоровались с Костей и Ниной, отходили в сторону и садились.

— Закурим, доктор? — спросил один мужчина другого.

«Ага, здесь, значит, и доктора идут», — подумал про себя Рудзянко.

В эту минуту ему вдруг нестерпимо захотелось самому пойти в партизанский отряд, чтобы хоть на время скрыться от своих шефов. Вероятно, оттуда можно перебраться и через линию фронта... О, тогда бы он приспособился... Тогда бы он забился в такую щель...

— Костя, разреши и мне с ними, — попросил он.

— Ты что это, с ума сошел? — удивился Хмелевский, — тебе ответственное дело поручили, а ты еще не ознакомился с ним — и уже в кусты... Нет, так не выйдет. Работать нужно...

— А разве в отряде не работают? Я ведь воевать прошусь.

— А мы разве не воюем?

— Какая это война? Я в отряд хочу...

— Это похоже на дезертирство, — решительно заявила Нина. — Так и я могу сказать: зачем мне снова туда-сюда, рисковать на каждом шагу? Не лучше ли сидеть в затишке, за чужими спинами? Если вы не выполните задание горкома, это будет рассматриваться как дезертирство со всеми выводами...

Рудзянко искоса глянул на девчину и смолк. Хмелевский начал расспрашивать Нину о делах отряда. На прощанье сказал ей:

— Будете приходить теперь только на квартиру к Борису. Ни с кем из подпольщиков больше не встречайтесь. Только через него будете поддерживать связь. Это гарантирует вас от предательства...

— Согласна. Давайте немного пройдемся, Борис.

Они отошли в сторонку. Она расспрашивала его, когда он попал в подполье, знает ли конспирацию,

как легче найти его квартиру, когда лучше застать дома и чем он вообще занимается.

— У меня здесь недалеко запрятано оружие, — сказал он. — Еще весной собрал. Я говорил Косте, он обещал переправить его в партизанский отряд, но почему-то тянет. А ведь оно, должно быть, нужно в отряде. И патроны там есть. Много!

— Заберу в следующий раз, — пообещала Нина. — Приеду через две недели. А вы к тому времени припасите медикаментов. И как можно больше.

Возвращались домой вдвоем с Костей. Почти всю дорогу молчали. Каждый думал о своем. У Рудзянки забот прибавилось. Нужно же о чем-то новом докладывать шефу. Но о чем? Ведь не скажешь, что сам отвел шесть человек в партизаны. После такого сообщения сразу угодишь на виселицу. И Нину не выдашь. Значит, даром ел фашистский хлеб. А фашисты бесплатно ничего не дают. Нужно за это расплачиваться жизнью — если не чужой, то своей.

На явке донес на Деда. Рассказал все, что видел и слышал.

— Откуда ты его знаешь? — спросил шеф.

— От Хмелевского. Он рассказывал.

— Следи за стариком.

Однажды погожим весенним утром Жан вызвал Ватика на явку. Ватик встревожился: видно, что-то серьезное случилось, если Жан не в срок добивается встречи.

На явочной квартире никого, кроме Жана, не было. Хозяин пошел на работу, а хозяйка, выпроводив детей во двор, сама пошла караулить на улицу.

— Что случилось? — спросил Ватик, когда за хозяйкой закрылась калитка.

— В городе появился провокатор СД. Называет себя Иваном Ивановичем. Фамилия его, кажется, Давыдов. Выдает себя за подполковника Красной Армии. Влазит в доверие, говорит, что готовит хлопцев для партизанских отрядов, собирает в определенный момент целую группу, сажает на машину и отвозит прямо в тюрьму. Возле тюрьмы их встречают гестаповцы...

— Факты есть?

— Я проверял. Все это подтверждается.

— Где он живет, знаешь?

— Приблизительно знаю. Можно установить точно.

— Проследи за ним. Всех, кто готовит людей в партизанские отряды, мы знаем. Но это не значит, что без нас кто-нибудь не отважится создать партизанский отряд. Прежде чем решать судьбу этого Ивана Ивановича, нужно убедиться в его преступлениях. Проследи, кого он будет вербовать, узнай, когда будет отправлять людей в лес, и понаблюдай, куда повезет. Подтвердятся твои сведения — сразу докладывай, примем решение.

У Жана было, как он говорил, сто ушей и сто глаз. Каждый шаг Ивана Ивановича был на счету: и кого он навещал, и что говорил, и что предлагал. Наконец небольшая группа людей, которые поверили провокатору, собралась около военного кладбища.

Поблизости, на углу Долгобродской и Галантерейной улиц, копался в своем велосипеде Жан. Он наблюдал, что будет дальше. Мимо сновали пешеходы, мчались машины. Одна из них, грузовая, вдруг притормозила возле кладбища. В кабине рядом с шофером сидел Иван Иванович. Он молча кивнул головой стоявшим на тротуаре людям, и они забрались в кузов. Машина рванула с места и помчалась в сторону Советской улицы. Люди в кузове попадали, хватаясь за борта, а потом

подползли к кабине и сели, держа в руках узелочки.

Вслед за ними на велосипеде помчался Жан. Он боялся отстать. Даже натренированное сердце спортсмена чувствовало перегрузку. Особенно колотилось оно, когда пришлось въезжать на крутую горку за Пролетарской набережной. У Жана пересохло во рту, перехватило дыхание. Дальше стало легче. Пересекли улицы Энгельса, Ленина, Комсомольскую.

Возле улицы Володарского, почти не сбавляя скорости, машина круто повернула направо, к тюрьме. Жан был готов к такому маневру. Он нарочно притормозил и сделал вид, что от неожиданности свалился. А когда поднялся, начал громко ругать шофера, который не придерживается правил уличного движения.

Вот так, с руганью, он тихо перешел улицу Володарского.

Машина стояла посередине улицы. Ее окружила большая свора вооруженных гестаповцев. Люди, сидевшие в кузове, по одному слезали с машины. Гестаповцы обыскивали их, били прикладами автоматов.

Задерживаться здесь было очень опасно — улица кишела переодетыми шпиками. Не переставая ругать шофера, Жан снова сел на велосипед и поехал дальше.

В тот же день он нашел Ватика и подробно рассказал обо всем, что видел.

— Жаль людей, — задумчиво проговорил Ватик. — Так нелепо погибнуть... Хотя бы что-нибудь полезное успели сделать. Сегодня же обсудим и примем решение. Завтра утром приходи на явку. В десять часов. Получишь приказ.

Конечно, приказ мог быть только один — уничтожить врага. Выполнение его поручили особому отделу по борьбе с провокаторами, шпионами и предателями, во главе которого стоял Жан.

Получив приказ, Жан сразу наметил план действий. Прежде всего он решил встретиться с двумя хлопцами — Толиком и Леликом, с которыми познакомился еще зимою, когда приходил в город из партизанского отряда.

Обоим только что перевалило за двадцать. Жили они в одном доме, на Академической улице, ходили всегда вместе, не разлучались ни днем, ни ночью. Лелик — высокий, стройный, с красивыми чертами лица. Толик же — маленький, сутулый, казался даже горбатым. На белом круглом лице его светились голубые глаза, всегда полные душевной теплоты и доброжелательности.

Леонард Лихтарович, или Лелик, как все звали его тогда, жил на квартире у Катерины Сергеевны Романчук на первом этаже. Соседнюю комнату занимала немецкая охрана, а еще дальше по коридору была квартира сестер Лейзер — Ирмы и Эльзы.

Квартира Толика Левкова, или Толика Маленького, как окрестили его потом подпольщики, была на втором этаже. С ним жили старенькая бабушка и младшая сестра.

Лелик еще в детстве проявил способности художника. Во время оккупации, чтобы заработать на хлеб, он начал кое-что рисовать. Немцы-соседи заметили это и заказывали ему портреты своих фрау, отцов и матерей. Приносили фотокарточки и говорили:

— Сделаешь хороший портрет — заплатим.

И он делал.

А когда оставались вдвоем с Толиком, все мечтали:

— Вот бы с партизанами установить связь да в лес податься...

В то время и познакомился с ними Жан. Зачастил к хлопцам. Придет, поговорит, в карты поиграет и

уйдет.

Однажды хлопцы признались ему:

— Знаешь, Жан, что мы надумали? В лес податься. К партизанам. Только не знаем, как это сделать.

— Смотри, чего захотели...

— А что? Разве нельзя?

— Только примут ли туда вот так, ни с того ни с сего? — умышленно поддразнивал их Жан.

— Не понимаю, — запротестовал Толик, — что же нужно для того, чтобы приняли?

— Не знаю. А если захочу, так узнаю.

— Хвастаешь! Докажи!..

— И докажу. Только не подгоняйте меня. Дело серьезное.

Однако хлопцам не терпелось. Если уж решили идти в партизаны, нечего медлить. Они начали сами искать людей, которые помогли бы им связаться с партизанами.

Жан тем временем исчез, а к Толику пришла знакомая молодая женщина Вера Шевелева с высоким старым человеком, грудь которого прикрывала большая седая борода, и сказала:

— Недавно Жан познакомил меня с Дедом и советовал вас познакомить с ним. У Деда есть дело к тебе, Лелик.

И ушла. А старик остался с хлопцами.

— Жан рассказывал мне о вас, — начал он глуховатым голосом. — Говорил, что вы хлопцы хорошие, надежные и что ты, Лелик, рисовать умеешь. Помоги мне в одном деле. Из лагеря нужно вывести несколько пленных. Им необходимы документы. Бланки у меня есть, осталось только хорошо оформить их.

— Это пустяки, — согласился Лелик. — Сделаю, давайте бланки. Но нужны образцы подписей и печатей.

— Принесу. У меня есть.

С того времени вместо Жана сюда начал приходить Дед. По его просьбе Лелик сделал клише немецкого паспорта и сам делал бланки, оформлял документы. Печать СД, которую он смастерил, ничем не отличалась от настоящей. Теперь можно было оформить любой пропуск. Всю зиму Лихтарович обеспечивал подпольщиков документами. И всякий раз спрашивал:

— Когда же вы нас с Толиком направите в партизанский отряд?

— Подожди, парень, подожди. У тебя и здесь важное дело есть. Успеешь в лес.

Весной неожиданно на квартиру к Лелику пришла знакомая девушка.

— Один человек хочет вас видеть, — сказала она. — Сам он советский подполковник. Говорит, что собирает людей в партизанский отряд.

— Откуда ты знаешь его?

— Он родственник одной моей знакомой. Я сказала ему, что знаю двух молодых хлопцев, которые могли бы пойти. А он прицепился ко мне: познакомь да познакомь меня с ними. Вот я и пришла.

Позвав Толика, Лелик стал советоваться с ним:

— А может, это гестаповец какой-нибудь?

— Да нет, — сказала девушка. — Моя знакомая говорила, что он действительно до войны служил в Красной Армии, был подполковником.

— Давай поговорим, — согласился Толик. — Пусть он завтра в двенадцать часов дня подойдет к

костелу, что на Долгобродской улице. Мы будем стоять на крыльце.

Встреча была короткой. Человек, добивавшийся знакомства с ними, назвался Иваном Ивановичем. Он предложил хлопцам пойти в партизанский отряд.

— Вообще мы согласны и сами искали такой возможности, — сказал Толик. — Подготовим кое-какие вещи, чтобы взять с собой, и айда!

Вскоре после этой встречи к хлопцам пришел Дед. Ему снова понадобились паспорта. Лелик рассказал ему о знакомстве с Иваном Ивановичем. Старик внимательно слушал, усы его сурово топорщились, глаза стали круглые.

— Эге, мальцы, да вы напали на провокатора. Берегитесь! Ничего не делайте, не посоветовавшись со мной или с Жаном, не то загинете.

В тот же день пришел Жан. Он принес пистолет.

— Вот вам задание, хлопцы, — сказал он необычно суровым голосом, как еще ни разу не разговаривал с ними. — Иван Иванович загубил уже немало честных советских людей. Подговорит таких доверчивых, как вы, и прямой дорогой — в СД. Мы это проверили. Нужно уничтожить гадюку. Подпольная партийная организация поручает это дело вам. Если выполните задание, сразу отправим в отряд. Это и будет вашей проверкой.

Пистолет спрятали на квартире у Толика. А когда Жан ушел, стали советоваться, как лучше добраться до провокатора. Может, подсыпать ему отравы? Но как? Ведь для этого нужно незаметно пробраться на его кухню или к себе пригласить и угостить. Нет, такой мерзавец не станет есть в чужом доме, побоится. Да и небезопасно иметь дело с отравой, ненароком невинный человек может погибнуть...

Более надежно — стрелять. Где стрелять? Вот в этом и вся загвоздка...

— Застрелим днем, — предложил Лихтарович. — Заведем на военное кладбище. Оно густо заросло. Да и народу там бывает мало...

— А как заманить его туда?

— Сам прибежит. Да еще высунувши язык. Я придумал...

Пошептавшись еще, они на том и порешили. А все же Толика беспокоила мысль: а что, если стрелять нельзя будет и провокатор заметит, что ему угрожает опасность? Нужно еще что-то придумать. Не лучше ли пристукнуть негодя тихо, без выстрела?

Встречу на кладбище назначили на час дня. Ночью над городом прокатилась большая гроза. Пахло хвоей и молодой сочной травой. Зелень густо переплела кресты, ограды и памятники, выгородила глухие, таинственные углы. В одном из таких укромных уголков и спрятались Толя и Лелик.

Раздвинув руками густые ветви сирени, стали ждать. От напряженного ожидания острый носик Толика, как казалось Лихтаровичу, еще более заострился, вытянулся, голубые глаза настороженно следили за всем, что происходило у входа на кладбище.

Неотвязная мысль сверлила мозг — хватит ли у них решительности убить негодя? Только бы не растеряться в последнюю минуту... Ведь это не шуточки — убить человека, хотя этот злодей и недостойн того, чтобы его называли человеком... А может, он не один придет, а с гестаповцами?

Иван Иванович пришел точно в назначенное время. Шел уверенно, решительно, не оглядываясь и, казалось, ничего не боясь. А по улице ходили немцы — и военные и штатские.

Хлопцы не торопились выходить из своего укрытия. Нужно было понаблюдать за поведением Ивана

Ивановича. Да и на улице, как назло, было многолюдно. Стрелять опасно.

Правда, Толик на всякий случай положил в карман молоток. Теперь он показал товарищу на свой карман и шепотом сказал:

— Молотком пристукнем.

— Одним молотком не убьешь, — также шепотом возразил Лелик, — оживет, гадина. Нужно заманить на польское кладбище, в склеп, что за костелом... Я там недавно был, никого и ничего, пусто... Под землей выстрел не слышен...

— И то правда. Кажется, он один пришел. Идем?..

Иван Иванович уже нервничал. Он, видно, решил, что хлопцы обманули или испугались. Стоял и нетерпеливо озирался. Увидев их, он приветливо, как давним хорошим друзьям, заулыбался, заторопился навстречу.

— Ну, что у вас, орлы? Важное что-нибудь?

— Очень важное, Иван Иванович, — ответил Лихтарович. — У нас есть клише для паспортов и печати СД. Они вам могут пригодиться.

— Конечно, конечно... Давайте их сюда, вам они в отряде не понадобятся.

— Только не здесь они у нас. Мы их спрятали в склепе возле костела.

— Ну так пойдём, заберем.

— Идем. Нужно только осторожно, чтобы не нарваться на гестаповцев.

— Что, боитесь?

— А зачем самим врагу в руки лезть?

— Это правда. Умно рассуждаете. Идемте!

Впереди шел грузный, краснолицый Иван Иванович, рядом — высокий, ловкий Лелик и немного сзади — маленький, сутулый Толя. Около костела остановились, постояли. На улице было много людей. Хотя склеп и за костелом, но выстрел могут услышать фашисты. Тогда не успеешь спрятаться.

Сели на пригорочек, неподалеку от склепа.

— Что-то вы медлите, хлопцы... — забеспокоился Иван Иванович. — Никто не обращает на нас внимания. Пойдем!

— Хорошо, идемте, я вам покажу, — сказал Лихтарович.

Он первый спустился во мрак подземелья. Ударило в нос гнилью, смрадом.

— Подождите, я ничего не вижу, — сказал Лелик, вытянув руки перед собой. — Нужно освоиться.

С минуту постояли.

— Так где же? — нетерпеливо спросил Иван Иванович. — Что-то вы мне крутите мозги...

— Что вы, что вы!.. Вон там, в нише, направо.

Лихтарович сделал еще несколько шагов. Иван Иванович шел вслед за ним, а Левков — сзади. Вдруг Иван Иванович круто обернулся, как раз в тот момент, когда Толик вытаскивал молоток, который неожиданно зацепился за карман. Инстинктивно Иван Иванович поднял руки, загородился и дико заорал. Толик ударил его по голове. Молоток скользнул по виску, не оглушив провокатора. Иван Иванович с воплем бросился к противоположному выходу, белевшему во мраке. Он был уже почти возле двери, когда зацепился ногой за камень и хлопнулся на землю. Тогда Лихтарович навалился на него, заткнул ему рот.

— Давай пистолет! — крикнул он своему другу, и тот выстрелил провокатору в висок. Уже механически Лелик обыскал убитого, вытащил из кармана какую-то тетрадь. Теперь быстрее наверх. И только выбрались на свет, как заметили, что по улице, совсем близко, проходят гитлеровцы. Хлопцы спустились снова в склеп и через другую дверь вышли на кладбище. Спрятавшись за могильными холмиками, осмотрелись. Лица у обоих побледнели, руки дрожали. Щеки у Лелика нервно подергивались. В горле словно застрял какой-то комок. Лелик все глотал его, заглушая тошноту.

— Ты весь в крови, — прошептал Толя. — Снимай рубашку.

Хорошо, что припекало солнце и можно было смело идти в майке. С кладбища выбрались на Молявщинскую улицу, а по ней — в Низкий переулок.

— Подожди, Толя, — сказал Лелик, — здесь знакомые есть, помнишь?

— А как же. Я имею их в виду, к ним и зайдем.

— Выходит, мы одинаково думаем.

— А что же тут удивительного? Одно делаем, одно и думаем.

Дом знакомых оказался на замке — какая неудача! Что делать, куда податься? Они немного растерялись.

В любой момент убитого могут найти.

Высокий штакетник отгораживал деревянный домик от здания поликлиники. Толя схватил друга за локоть:

— Как это мы забыли?! Здесь же, в поликлинике, Леля работает сестрой-хозяйкой. Она нам поможет...

— И правда! Прыгаем!

Они перемахнули через штакетник и очутились во дворе поликлиники. Как раз в ту минуту старая санитарка выносила корзину с мусором. От неожиданности она вздрогнула и чуть не выпустила корзину из рук.

— Тьфу, чтоб на вас пропасть, полоумные! Что вам, дороги нет, или что?

— Не ругайтесь, тетка, мы не собирались вас пугать. Далеко до ворот идти, вот мы и прыгнули.

Позовите, пожалуйста, Лелю.

— У Лели, может, забот полон рот, а вам бы только зубы скалить, гайдуки скаженные! Ладно уж, сейчас позову...

Леля — их давняя знакомая, девушка хорошая, скромная, молчаливая. Она не выдаст, в этом хлопцы были уверены.

Появление парней в такое время удивило ее.

— Что хотите от меня, мальчишки?

— Крайняя необходимость, Леля, — тихо сказал Толик. — Мы надеемся на тебя. Нам нужно вот эти вещи сейчас же выбросить и хорошо вымыть руки.

Взяв у Лихтаровича скомканную окровавленную рубашку и тетрадь провокатора, Левков передал их Леле.

— Нужно это уничтожить или спрятать так, чтобы никто никогда не нашел.

— Да это нетрудно... Подождите, я сейчас вернусь.

Она ушла куда-то и через несколько минут вернулась с флаконом, наполненным какой-то светлой

жидкостью.

— Мойте руки...

В нос ударил острый запах эфира. Зато на руках и одежде юношей не осталось ни одного пятна. Некоторое время от них неприятно пахло, но легкий майский ветерок развеял этот запах, и можно было смело идти по улице.

— Теперь еще одна просьба, Леля, — сказал Толик. — Вот эту вещь тоже надо спрятать, но не так, как тот сверток...

На ладонь девушки опустился небольшой пистолет. Рука Лели вздрогнула, но Толик схватил и согнул ее пальцы так, чтобы они зажали рукоятку пистолета.

— Не бойся. Он сам не выстрелит. Смотри, я ставлю на предохранитель, — и повернул рычажок. — Спрячь ненадолго. Скоро мы заберем...

Девушка колебалась.

— Не бойся, кто подумает, что ты такая вооруженная! — И Толик впервые в тот день улыбнулся.

— Ну хорошо, хлопцы, — наконец решилась она. — А теперь, надеюсь, все?

— Все. Спасибо. Скоро мы придем к тебе.

— Вы уж лучше домой приходите, здесь опасно. Я туда принесу.

— Хорошо. Пока!

Весть об убийстве провокатора быстро облетела весь город. О нем говорили в СД и Абвере, в подпольных организациях, на квартирах минчан. Гестаповцы сбились с ног, разыскивая того, кто покарал их верного холуя.

К хлопцам тем временем пришел Жан. Он приказал побыстрее собираться в отряд. Когда они были готовы, повел их на Грушевку, где была явочная квартира Рудзянки. Толю и Лелика передали ему, а он, дождавшись связной Нины Гариной, сказал:

— Этих ребят посылает в отряд горком. Отведешь их. Сейчас я приведу еще двух парней, которых направляет горком.

Похожая на подростка маленькая девушка и четверо хлопцев шли глухими полевыми стежками друг за другом, «на расстоянии зрительной связи» в далекий Негорельский лес. Для тех, кого вела Нина, началась новая полоса жизни, партизанская.

Правда, спустя некоторое время Толик Маленький снова появился в Минске.

Подпольщиков объединял единый центр — Минский комитет КП(б)Б, потом появились и райкомы партии. Многие знали друг друга еще до войны, другие познакомились в подполье, а некоторые плечом к плечу прошли тяжелый путь борьбы, вынесли все пытки в застенках СД, легли рядом в могилу или сгорели в одной печи в лагере смерти, так и не зная друг друга. Но на то оно и подполье: каждый должен меньше знать о других и больше делать сам.

До сих пор я еще ни разу не вспомнил о Павле Романовиче Ляховском, выполнявшем отдельные задания подпольного комитета.

Однажды он зашел к своей знакомой Марии Лисецкой. Знал, что никого из посторонних у нее не бывает, поэтому, как всегда, явился, не соблюдая каких-либо особых мер предосторожности. Едва открыл дверь — увидел высокого, стройного, атлетического сложения человека. Лисецкая, заметив, что оба они смутились, поспешила познакомить их:

— Это мой двоюродный брат Сергей. А это тот самый человек, о котором я тебе говорила.

Ляховский сначала чувствовал себя неловко. Он не знал, что у Лисецкой есть где-то двоюродный брат, не слышал, что она говорила о нем этому брату. Как держаться с ним?

Но Сергей взял инициативу в свои руки.

— Проходите, садитесь, — пригласил он. — Ну, как идут ваши дела?

— Обыкновенно, как и у всех людей, — неопределенно проговорил Ляховский, приглядываясь к Сергею. — Живем, пока что ходим...

— А как ваши новые хозяева? С любовью принимаете их?

Вопрос был острый, рискованный для обоих. И тот и другой понимали — от того, что ответит Ляховский, зависит многое. А Ляховский рассудил так: Лисецкая человек надежный, она не стала бы знакомить с провокатором... Если бы ее брат был ненадежный, она как-нибудь предупредила бы.

— С великой любовью... — ответил он в том же ироническом тоне. — Только гранат не хватает, а то отношения были бы еще более горячие...

— Ого, это уже другой разговор. Только вслух об этом не стоит говорить.

— Да, так, сорвалось... Это я на ваш вопрос ответил.

Павел Ляховский не собирался задерживаться у Лисецкой. Нужно было торопиться домой. Сергей заметил, что он хочет уходить, и спросил:

— Что бы вы сказали, если бы я поручил вам сделать что-нибудь на пользу Родины?

— Я уже делаю кое-что для своей Родины. И не откажусь делать больше.

— А что именно вы делаете?

— У нас есть подпольная парторганизация. Я выполняю ее распоряжения.

Сказал и смутился: а может, лишнее болтнул? Увидел человека впервые и доверился.

— Тем лучше, — поддержал Сергей. — Значит, у вас есть надежные люди. Их помощь нам нужна. Я из-за линии фронта. Мне и моим друзьям нужна ваша помощь. Но с одним условием: те, кто будет работать с нами, должны порвать все связи с другими подпольными группами. Это необходимо для конспирации. Чем меньше людей будут знать о нашей работе, тем надежнее мы будем работать.

— Хорошо. Я согласен. Посоветуюсь с руководителями.

— Предупреждаю, обо мне — никому ни слова. Разговор вести, не называя имен. А пока что раздобудьте нам аусвайсы.

— Это проще. Есть у меня свои хлопцы...

Поговорив еще несколько минут, они распростились.

Сергей Вишневский с группой разведчиков за несколько дней до этого был выброшен на парашюте неподалеку от Минска. Не случайно его во главе группы направили в Минск. До войны его имя было хорошо известно минчанам, любителям спорта. Многие еще и теперь помнят, как горячо они аплодировали победителю в велосипедных гонках Сергею Вишневскому. Помнят его и как отличного лыжника. Настойчивый, волевой, он, казалось, никогда не знал усталости и не отступал перед трудностями. Чем больше их встречалось на его пути, тем упорней добивался он своей цели... Близкие товарищи знали и другие его качества — чуткость, отзывчивость, внимательность к людям. Все это, безусловно, учитывалось, когда Вишневскому поручили руководить группой разведчиков в оккупированном фашистами городе.

Сразу же после того, как он попал в Минск, Вишневский встретил знакомого спортсмена. Тот сказал, что хороший друг Вишневского, велосипедист Данила Максимов, тоже в Минске, и дал его новый

адрес: Полесская улица, 13, на Серебрянке. Запомнив адрес, Сергей пошел к Марии Лисецкой, у которой когда-то до войны лет пять жил на квартире. Знал ее как честного советского человека и надеялся, что она не изменилась за время оккупации.

Так оно и было. Лисецкая согласилась дать ему приют. Узнав, с какой целью Сергей вернулся в Минск, пообещала познакомить с человеком, который, по ее мнению, имеет связь с подпольем и может быть полезен разведчикам. Она имела в виду Ляховского. Он как раз и пришел к ней сразу же после их разговора.

Потом Вишневецкий пошел искать Максимова. Старый друг был так взволнован, что даже позабыл познакомиться с худощавым рыжеватым человеком, тихонько сидевшим в углу. А тот, почувствовав себя лишним, встал и направился к двери:

— Будь здоров, Данила, я зайду потом...

— Прости, Костя, посиди еще минуточку...

— Нет, я в другой раз зайду...

— Что это за человек? — настороженно спросил Сергей, когда за Костей закрылась дверь.

— Это мой старый знакомый... До войны соседями были. Хороший человек.

— В каком смысле хороший?

— Совесть не потерял. Какой был, такой и остался.

— Надеюсь, что и ты остался такой же самый.

— А разве ты сомневался?

— Если бы сомневался, не сидел бы здесь. Ведь я не просто так пришел, а по делу...

Дети, игравшие в углу столовой, притихли и с любопытством стали разглядывать нового гостя.

Сергей глянул на них и улыбнулся. Данила уловил его взгляд.

— Пойдем в спальню, — предложил он. — Там никого нет.

— Дело у меня ответственное и опасное, — начал Сергей. — Говорю я с тобой не от своего имени, а от имени тех, кто направил меня сюда. Согласен ли ты помогать мне? Прежде чем отвечать, подумай, взвесь всю опасность. Семья твоя большая, дети маленькие. С другой стороны, я хорошо знаю тебя и надеюсь, что ты согласишься. У тебя очень удобно поставить рацию.

Действительно, домик, в котором жил Максимов, как нельзя лучше подходил для подпольной радиостанции. Он был обнесен высоким зеленым штакетником, калитка закрывалась на крепкий засов. Сразу же во дворе начинались огороды, а за ними — Свислочь с густо заросшими берегами. Во дворе, на отшибе, стоял хлев. Все это взял на заметку Сергей, входя в дом.

Да и само помещение распланировано очень удобно. Через коридор можно зайти в столовую и оттуда в спальню. Еще одна спальня представляла собой совершенно изолированную комнату. Три окна — из столовой и смежной с нею спальни — выходили на улицу и три — из столовой и другой спальни — во двор. Таким образом, подходы к дому хорошо просматривались. А это очень важно для работы разведчиков.

— Что ж, если ты мне открылся, то и я тебе откроюсь, — сказал Данила. — Вот этот человек, который только что вышел, — Костя Хмелевский, наш бывший сосед, один из руководителей минской подпольной парторганизации. Он и меня привлек к делу.

У меня часто прячут оружие, документы, листовки. Без согласия подпольного горкома я не имею права ничего делать. Посоветуюсь с Костей и скажу тебе.

— Когда?

— Скоро. Костя часто бывает у меня. Может, даже завтра скажу.

— Предупреди товарищей, что конспирация требует, чтобы ты порвал все другие связи. Мы должны быть изолированы. Ну, пока всего доброго, приду завтра. А жене всего не рассказывай. Только предупредить надо, чтобы остерегалась, не говорила и не делала ничего лишнего.

— Не беспокойся, она у меня опытная.

С Максимовым был знаком не только Костя Хмелевский. Его знал еще Исай Казинец, ему давал поручения Ватик Никифоров.

И вот теперь надо порвать старые связи. Что скажет подполье? Лучше посоветоваться с товарищами, чтобы не бросать на себя тень. С этой целью он и встретился с Хмелевским. Костя молча слушал, что рассказывал ему Данила о госте из Москвы.

— Надо человеку помочь, — подумав немного, сказал Хмелевский, — кто же ему поможет, если не мы. Дело у нас общее. Конечно, жаль терять такую базу, как твой дом, но если нужно, так нужно.

Работай. Я скажу хлопцам, что к тебе теперь ходить нельзя. И сам не буду больше заходить.

Сергей энергично взялся за дело. Радист Ефрем Мельников, которого все почему-то звали Макаром, помогал ему.

С виду они были на диво разные люди. В высоком, широкоплечем, могучем Сергее легко было узнать опытного и уверенного в своих силах спортсмена. Макар — небольшой, живой, подвижный.

На скуластом смуглом лице светились слегка раскосые и черные, как бусинки, глаза, из которых одно, как говорится, толчет, а другое — мелет. Надвинет Макар кепку на лоб, засунет руки в карманы, насмешливо прищурит глаза, и посмотришь — самый настоящий босяк.

Но во всем, что касалось работы, они были одинаково усердными и ловкими.

Вскоре отец Валентина Павловича — еще одного разведчика, прилетевшего с ними, — привез на квартиру Максимова рацию. Данила нашел на пожарище несгораемый ящик. Положили в него рацию и спрятали в сарае, в яме. Сверху старательно присыпали мусором и навалили бревна.

Чудесный тайник! Никакой фашистский пес не пронюхает.

За рацией приходил всегда сам Сергей. Никому не доверял он такого ответственного дела. Да и никто, пожалуй, не смог бы так ловко замаскировать тайник.

Местом для работы выбрали изолированную спальню, выходившую окнами во двор. Возле печки-голландки пристраивали табуретку, на которую ставили рацию. Жена Максимова — Вера Васильевна — лезла на чердак. Сергей просовывал антенну в щель возле трубы. Вера Васильевна подхватывала ее сверху, цепляла на металлический штырь и выторкивала ее возле самой трубы над крышей. Чтобы кончик штыря, который возвышался над трубой, никто не заметил с улицы, Вера Васильевна затапливала печь, и клубы дыма застилали штырь.

Передачи велись утром, с восьми до девяти часов. В это время хозяйки готовят завтрак, и никого не удивляло, что из трубы Даниловой хаты поднимались густые клубы дыма.

Хозяин и хозяйка тем временем из окон, выходивших на улицу, следили за всем, что на ней происходило. Калитка была старательно закрыта на засов, по двору бегала спущенная с цепи собака Букет.

Точки и тире летели в эфир. Они миновали непокоренный Минск, бесконечные леса и болота, реки и голубые озера родной Белоруссии, летели над просторами братской Смоленщины, над фронтовой

московской землей. Где-то там, в далекой, но родной Москве, может быть, совсем молоденький радист или радистка прислушивались к этим точкам и тире, записывали донесение и даже не представляли себе, из какого пекла летят эти звуки и какую опасность таят они в себе не только для врага, но и для тех, кто их передавал.

Точка, тире, точка, точка. Снова тире, три точки... Они сливаются почти в один звук, и только опытное ухо может что-нибудь понять в этом непрерывном писке. И совсем ограниченный круг людей может расшифровать то, что передали разведчики из Минска.

Враг тоже, наверно, прислушивается. Он может настроиться на их волну. Тогда фашисты попытаются расшифровать радиограмму и, конечно, начнут искать радиостанцию.

Как только заканчивали передачу, быстренько складывали рацию, и Сергей нес ее в тайник.

Для конспирации, на случай фашистского налета, ночью начали копать лаз из хлева к речке. В хлеву его закрыли так, что сверху и не заметишь. Работали упорно, каждый день по очереди. Ночью выкопанную землю Данила высыпал в речку.

Ночевал здесь Сергей очень редко. Он был прописан у Марии Лисецкой и там жил на правах двоюродного брата.

Рация работала исправно. Москва откликалась на каждый ее сигнал и требовала все новых и новых сообщений. Особенно интересовалась она движением на Минском железнодорожном узле. Нужно было установить круглосуточное наблюдение за поездами, которые шли во всех направлениях — и на запад, и на восток, и на юг. Сергею требовались люди — скромные, неутомимые, молчаливые, надежные.

Из квартиры Максимовых было видно, как идут поезда в сторону Москвы. Вишневский попросил Веру Васильевну:

— Ты все время дома. Как только услышишь, что идет поезд, — посмотри, куда идет, что везет, сколько вагонов и платформ, и хорошо запомни все. Примечай и время — когда прошел поезд. Потом обо всем этом скажешь мне.

Она согласилась, и с той минуты каждый стук колес на железной дороге звал ее к окнам или во двор. Как-то в мае 1942 года Вишневский шел по улице с куском алюминиевого листа в руке. Понадобился небольшой ремонт рации. Неожиданно он увидел перед собой удивительно знакомое лицо.

Маленькие светло-карие глаза сузились в радостной улыбке, длинный, лопаточкой нос забавно сморщился. Сергей смотрел и не верил своим глазам.

— Привет! — решительно протянул руку давнишний приятель, велосипедист-спортсмен Владислав Садовский. — Что это ты с алюминием ходишь?

— Да вот собираюсь в соревнованиях участвовать, так бачок под воду мастерю... — пошутил Сергей. — Самое время для велокросса. Скорости теперь нужны большие...

Садовский понял.

— Не доверяешь? Могу паспорт показать.

— Паспорт ты покажи кому-нибудь другому, мне не нужно. Я и без паспорта хорошо знаю тебя. Где ты живешь?

Домик Садовского стоял возле самого железнодорожного переезда неподалеку от Червенского рынка. Владислав назвал адрес.

— Вот хорошо, я скоро зайду к тебе. Может, даже сегодня. Согласен?

— Буду ждать.

Для Вишневого встреча с Садовским — большая удача. Этого парня он очень хорошо знал еще до войны. Вместе участвовали в велосипедных гонках. Обычно молчаливый, тихий, даже неприметный, Садовский обладал отличными качествами спортсмена: огромной физической силой, волей к победе. С ним нелегко было соревноваться. За это и уважал его Сергей. Именно такие люди нужны ему теперь.

Найти дом Садовского было нетрудно. Вишневский прежде всего предложил:

— А ну, хозяин, покажи свои владения...

Окно из кухни выходило во двор. Из окна виден был небольшой сад. Сразу за садом, на возвышении, как на ладони — полотно железной дороги. Лучшей позиции для наблюдения за движением поездов и не придумаешь.

— Поместье у тебя просто княжеское...

— Какое поместье?

— Да вот этот дом твой. Скажи, не согласишься ли ты помочь мне в одном хорошем деле?

— Если оно хорошее, почему не помочь?

— Нам нужны сведения о движении поездов. Тебе в окно хорошо видно, что делается на железной дороге. Следи и отмечай.

Он достал из кармана крохотный блокнотик и подал Владиславу.

— Не пиши открытым текстом. Сначала обозначай время, когда шел поезд, потом — что вез. Если танки — пиши «т», бензин — «б» и так далее. Не знаешь что — не пиши. И, наконец, сколько вагонов или платформ. На запад идут — пиши на одной стороне листочка и наверху поставь букву «з», на восток — на другой, с буквой «в». Постарайся следить на протяжении суток. Правда, ночью они редко пускают поезда, боятся. Но если удастся и ночью проследить — отмечай.

— И что делать с этими сведениями?

— Я познакомлю тебя с одной девушкой. Она будет все забирать. А если она не придет, будешь опускать в почтовый ящик.

Садовский с удивлением посмотрел на Вишневого: шутит тот или серьезно говорит?

— Чего ты смотришь? У нас есть свой почтовый ящик. Идем, покажу.

Около Червенского рынка стоял металлический фонарный столб. В нем было нечто вроде дупла.

— Будешь класть сюда.

Когда прощались, Вишневский спросил:

— Максимова ты не забыл?

— Ну что ты. Неужели у меня такая короткая память?

— Приходи как-нибудь к нему, я бываю иногда там. Запомни его новый адрес.

И вот они собрались снова, три товарища, три спортсмена-велосипедиста, а теперь — три советских разведчика. Собрались и с наслаждением вспоминали прошлые спортивные соревнования, радость побед и горечь поражений. Всякое бывало когда-то. Теперь все это — словно сказочное видение. Будто не они, а кто-то другой, более счастливый, прожил ту чудесную, довоенную жизнь, а они сейчас только вспоминали о ней с завистью и восхищением. Как не хватало им теперь самого главного — мира, спокойствия. За этот мир, за тишину нужно было бороться, каждую минуту рискуя не только своей жизнью, но и жизнью вон тех маленьких девочек, которые тихо играли в углу

столовой. Если фашисты нападут на их след, то и детям не миновать смерти. А бороться нужно. После встречи с друзьями Садовский большую часть времени проводил на кухне. Как только загремят на путях вагоны, он становился возле окна и считал. Жена, должно быть, догадывалась, что у Владислава появилась какая-то своя тайна, но ни разу не спросила его об этом. Вишневский вскоре привел девчину и сказал:

— Знакомьтесь. Она будет навещать тебя иногда.

— Шура, — назвала себя девушка.

Это была дочь Марии Лисецкой. Время от времени она приходила к Садовскому, и он передавал ей листочки, заполненные цифрами и отдельными буквами. А чаще всего Садовский опускал свои сведения в тайный «почтовый ящик».

Фашисты готовились к большому наступлению на фронте. Поезда с войсками, оружием, боеприпасами, бензином все чаще и чаще шли на восток, а с востока везли раненых и награбленное добро. Партизаны непрерывно пускали под откос эшелон за эшелон, но фашисты исправляли пути, и по ним снова гремели составы.

— Нам нужны еще более точные сведения, — сказал как-то Вишневский. — Есть ли у тебя, Владик, кто-нибудь знакомый на железной дороге?

— Да, есть, — проговорил Владислав. — Сосед мой. Микола Асташевич, работает составителем поездов.

— Что это за человек?

— Думаю, что надежный.

— Ты уверен?

— Да, уверен.

— Познакомь меня с ним.

Миколу не нужно было уговаривать. Он сам старался найти способ помочь своим. Составляя поезда, с душевной болью думал он о том, что вот эти пушки, танки, которые высятся на платформах, попадут на фронт, где льется кровь его братьев и сестер. Но один он ничего не мог сделать. А здесь такая возможность... Микола ухватился за нее.

Ежедневно после работы он приходил к Владиславу и приносил сведения о положении на железнодорожном узле, а тот пересылал их Сергею.

Сведения нужны точные. Чтобы проверить их, Вишневский посылал на железную дорогу Павла Ляховского, Марию Лисецкую, подобрал еще нескольких человек, которые жили около завода имени Октябрьской революции. Целыми днями они стояли или ходили неподалеку от железной дороги и считали, запоминали вражеские эшелоны.

Утром радиостанция выбивала тире и точки, посылая в эфир, в далекую Москву, ценные сведения о враге, собранные преданными советскими людьми. Передал Сергей и о том, что в Минске действует подпольная партийная организация. Из Москвы запросили: что представляет собой эта организация? Кто руководит ею?

...Рация долгое время работала на одном месте. Вишневский начал тревожиться: гестаповцы могут запеленговать ее. Нужно искать новое пристанище. Снова он пошел к Садовскому.

— Покажи еще раз твои владения.

Осмотрел комнаты, кухню.

— А там что у тебя? — показал он на пристройку.

— Ничего, когда-то, видимо, была частная лавка, ну, а мы складываем там все лишнее.

— Давай посмотрим...

Зашли туда. Сергей обрадовался:

— Вот это нам и нужно. Подожди, мы скоро принесем рацию. Ты не против?

— А мне что? Если вам здесь удобно, работайте.

Спустя несколько часов с Полесской улицы к Червенскому рынку шли дюжий, рослый Сергей и маленький Макар. Они несли рацию. В пристройке начали прилаживать ее к работе. Вскоре длинные пальцы Макара застучали ключом: тив-ти-ти-ив; тив, тив.

В наушниках глухо отозвалась Москва. Очень глухо, сквозь непрерывные шорохи, треск и писк.

Где-то совсем рядом, почти на той же волне, работала вражеская рация. Москва говорила, что она плохо слышит, не разбирает, что передают.

Снова Макар взялся за ключ, и снова волны вражеской радиостанции забивали его рацию.

Сергей вошел в дом и спросил Владислава:

— Ты не знаешь, нет ли поблизости немецкой радиостанции?

— А разве ты не видел? Вон за теми домами — целый лагерь их. Метров двести отсюда...

— Понятно. Пока что не сможем работать у тебя. Мешают.

На следующий день Владислав лег спать поздно: шло много поездов, и нужно было проследить за ними. Едва только задремал, как его подбросило могучей волной взрыва. Кровать под ним зашаталась. По всему городу слышны были выстрелы зениток, лучи прожекторов шныряли по черному небу.

В этом грохоте и треске отчетливо выделялся ровный гул самолета. Он быстро затихал, а затем и совсем исчез.

Утром Владислав вышел посмотреть, где же это так рвануло ночью. Оказалось, бомбы попали на территорию немецкой радиостанции.

— Это ты вызвал самолет? — спросил Садовский у Сергея при первой же встрече.

— А тебе что до этого?

— Почему же ты меня не предупредил? Ведь могло и меня зацепить.

— Мало ли что могло быть, но не было же... И вообще такие вопросы лучше не задавай. Хотя мы с тобой и друзья, но лишнего нам не нужно знать.

Опасность черной тучей надвигалась на группу разведчиков. Вишневский и Максимов чувствовали это.

Максимов некоторое время работал в городской управе. Он владел специальностью портного, и она пригодилась ему в тяжелую годину. Ему предложили стать директором пошивочного ателье, которое помещалось на углу Комсомольской и Революционной улиц.

— Соглашайся! — посоветовал Вишневский. — И не задумывайся. Нужно, чтобы немцы доверяли тебе. Это во-первых, а во-вторых, нам нужны хорошие документы, и ты будешь обеспечивать ими нашу группу.

Немцы назначили заместителем директора какого-то гладкого, здоровенного верзилу лет под тридцать. Заместитель очень уж выслуживался перед фашистами, и Максимов избегал его. Но тот почему-то настойчиво набивался в друзья, выпытывая, кто ходит к директору, чем он интересуется.

Даже оформить нужные документы становилось трудно — всюду он совал свой нос.

Это можно было бы еще терпеть, но подпольщикам стало известно, что заместитель директора ателье — агент СД и что он приставлен специально для того, чтобы следить за Максимовым.

— Плохие дела, — сказал Сергей, узнав об этом. — Что-то пронюхали, гадюки. Нужно уничтожить твоего заместителя, а то сами попадем в СД.

— А как это сделать?

— Пригласить сюда и потихоньку пристукнуть.

Лицо Максимова передернулось. Никогда в жизни он не зарезал даже поросенка. Когда кололи свиней, уходил из дому. А тут самому надо участвовать в таком страшном деле...

— Чего морщишься? — сурово спросил Сергей. — Разве тебе лучше будет, если они начнут распинать на дыбе не только тебя самого, но и твоих детей? Они не пожалеют никого.

— Да я не жалею его. Только гадко это, отвратно очень.

— Можешь надеть белые перчатки... Им не отвратно полосовать наших людей. Ты не считай такую мразь за человека. Да он и сам себя не считает человеком, с потрохами продан врагу, ты ведь это знаешь.

— Я сам понимаю, что ничего другого не придумаешь.

— Завтра на работу не выходи. Я зайду к твоему заместителю и скажу, что ты заболел и зовешь его по делу. Приведу сюда, тут мы его и приберем. Без выстрела. Шум поднимать нельзя.

Так и сделали. Заместитель охотно пошел на квартиру к Максиму. Только в коридоре, когда дверь за ним с треском закрылась, он понял, зачем его позвали. Перед ним стояли Данила с топором в руках и Макар. А сзади Сергей держал пистолет наготове. Спасенья не было. И крик отсюда не услышат на улице. Шпион сразу же побледнел, повалился на пол и заскулил:

— Миленькие, родненькие, простите... Клянусь своей жизнью, всем святым клянусь, что не буду доносить на вас... Меня принудили, я не по своей воле... Простите, что хотите делайте, что хотите приказывайте, все сделаю, только не убивайте... Я еще пригожусь вам, очень пригожусь...

Данила начал было нерешительно опускать руку с топором, но Сергей грозно глянул на него:

— Ну, чего ждешь?

Раздался глухой стук обуха по черепу.

Сергей, Данила и Макар сами удивлялись потом, почему шпик не кричал, а только тихо скулил, взхлёб. Видимо, до последнего мгновения надеялся, что ему простят измену.

На другой день гестаповцы подняли тревогу: бесследно исчез их шпик. Будто в воду канул.

Бросались во все концы города, но никто не видел его. Так и остался он под пластом навоза во дворе у Максимова.

На его место гестаповцы поставили нового агента. Тучи над головами разведчиков не рассеивались. Теперь уже Сергей не оставлял рации в хлеве. После каждой передачи ее несли в руины и прятали там незаметно где-нибудь в укромном месте.

Всю весну, лето и осень по субботам велись передачи. В последний раз почему-то решили не брать рацию из тайника, отложить передачу на неделю.

Ровно в восемь часов около дома Максимовых остановилась приземистая машина СД. Из нее выскочили офицер и трое солдат. Они торопливо побежали в дом.

— Максимов? — спросил офицер.

— Да, я Максимов, — спокойно ответил Данила.

— Документы!

Вера Васильевна полезла в шкаф, вытащила сумочку с документами и подала офицеру паспорта — свой и мужа.

— Где рация? — спросил офицер.

— Какая рация? — удивилась Вера Васильевна.

— Радиостанция, при помощи которой вы передавали шпионские сведения.

— Вот она, — показала Вера Васильевна пальцем на стену. — Но разве на ней передашь что?..

Офицер круто повернулся в ту сторону. Со стены на него смотрело жерло репродуктора.

— Не прикидывайся дурочкой! — закричал он на хозяйку. — Я спрашиваю, где рация.

— Это и есть радио. Другого у нас нет. Можете искать где хотите.

Солдаты повели Данилу Максимова в машину. Офицер допытывался у его жены:

— Ты бросишь прикидываться? Мы засекли, что передачи велись из вашего дома!

— Не понимаю, что и как вы засекли. Я не видела ни разу, чтобы у нас что-нибудь засекали...

— Дура! — выругался офицер. — Но ты еще заговоришь у меня... Обыскать!

Один солдат остался возле машины караулить Максимова, а двое других бросились переворачивать вверх дном все в доме. Полетели на пол одеяла, подушки. Тучей взвились перья. Шкаф был опустошен, чемоданы поломаны. Словно буря ворвалась в дом, закрутила, загремела, срывая все со своих обычных мест.

Поиски в квартире оказались безрезультатными. В сарае тоже ничего подозрительного фашисты не обнаружили. Все хорошо замаскировано: и потайной лаз, и несгораемый ящик. Вещественных доказательств того, что радиопередачи велись из дома Максимовых, не нашли. Но пеленгатор показывал именно на эту точку. Поэтому хозяина забрали, а хозяйку оставили, предупредив, чтобы она ни на один час никуда не отлучалась из дома, так как ее могут позвать в СД в любой момент.

Как только машина с арестованным Данилой Максимовым отъехала от дома, Вера Васильевна бросилась к окну и отодвинула в сторону вазон с китайской розой. Это был условный знак — в доме опасность, заходить нельзя. Как раз в этот момент проходил под окном Макар. Он увидел сигнал и, не замедляя шага, прошел мимо калитки. Теперь Вера Васильевна знала: весть о том, что дом Максимовых запеленгован, дойдет до подпольщиков.

Вскоре семью Максимовых выбросили из дома, а на Полесской, 13 поселили сотрудника СД. Веру Васильевну не арестовали. Ее периодически вызывали на допрос, били, истязали, и под угрозой смерти приказывали никому об этом не говорить. А Данилу Максимова вывезли в Тростенец и расстреляли.

За Вишневым началась погоня. Его опознал один предатель. Пришлось всю группу разведчиков переправить в партизанский отряд.

Убийство Володи Омелянюка и арест группы Фалевича вынудили горком партии искать новое помещение для типографии и новых работников для редакции. Легко сказать — новых работников. Не создашь же подпольный институт журналистики!

И людей искали.

Первому повезло Николаю Шугаеву. Однажды в начале июня он сказал Ватику:

— Пойдем, я познакомлю тебя с человеком, который может помочь тебе.

Они пошли на улицу Куйбышева. Как секретарь райкома, Шугаев знал многих людей, связанных до войны с издательским делом, — в этом районе когда-то проживало много литераторов и полиграфистов.

Зашли они в третью квартиру дома № 71в. Кроме хозяина их встретил еще один человек, невысокий, худощавый, — Владимир Казаченок.

— Знакомьтесь, — сказал Шугаев Ватику. — Это тот, о ком я тебе говорил.

— Очень приятно, — сказал Ватик, внимательно приглядываясь к новому знакомому. — Скажите, вам до войны приходилось быть на газетной работе?

— Да, я по специальности газетчик.

— Вы знаете, что Минский комитет партии выпускает газету «Звезда»?

— Знаю.

— Так вот для работы в этой газете недостает квалифицированных журналистов. Вы согласны с нами сотрудничать?

— С большой охотой, — быстро ответил Казаченок. — Я сам думал об этом.

— Ну, вот и хорошо. Сразу могу дать вам задание: подготовьте листовку. Тема: место каждого честного советского человека — в партизанском отряде.

Они распрощались.

Вскоре Шугаев познакомил Ватика с Ядвигой Савицкой. До войны она училась в институте журналистики, работала в республиканских газетах. Чтобы проверить способности нового журналиста, Ватик дал ей несколько сводок Советского Информбюро и попросил:

— Сделайте из этого материала небольшую листовку. Нужно рассказать населению, что делается на фронтах, и призвать к вооруженной борьбе.

В следующий раз он пришел к Савицкой уже с Ковалевым. Секретарь комитета хотел посмотреть, каких сотрудников подбирает себе редактор, смогут ли они справиться с нелегкой задачей.

— Кем вы работали до войны? — спросил он Савицкую.

— В «Звезде» заведовала отделом культуры...

— Очень хорошо. Таких нам и не хватало. Материалы будут поступать к нам из отрядов. Там квалифицированных корреспондентов нет. Нередко вам будут писать люди малограмотные, заметки придется старательно обрабатывать. Ватику хватает организаторской работы. За ним общее политическое руководство газетой. А вот литературной обработкой материалов будете заниматься вы.

Когда вышли, Ковалев сказал:

— Сотрудник хороший. Только видишь — женщина, мать... Не надо ей поручать работу, связанную с риском. А Володя, которого Шугаев рекомендовал, имеет семью в городе?

— Нет, не имеет.

— Ему и поручи основные хлопоты, связанные с газетой. И не тяни, — время выпускать очередной номер.

— Выпустим. Я уже все подготовил и передал печатникам.

— Хорошо. Действуй. Второй номер газеты должен выйти как можно быстрее. Пусть знают враги, что, убив Володю Омелянюка, они не убили «Звезду».

Снова Борис Пупко и Броня Гофман на ночь заперлись в складе типографии и набирали строчку за

строчкой. Стояла мертвая тишина. Только изредка в темных углах склада вдруг с шорохом пробежали крысы. Броня от неожиданности вздрагивала.

— Да не бойся ты... — шепотом успокаивал ее Борис. — Кому взбрдет в голову лезть сюда!

— Я не боюсь, — отвечала она. А сама еле сдерживала дрожь в руках. Если бы ей сказали пойти ночью одной в этот склад — умерла бы, а не пошла.

— А удобное место мы выбрали, — чтобы немного успокоить ее, начал Борис. — Хоть из пушки стреляй, никто не услышит. Хозяева наши где-то храпят, пока мы им подарок готовим.

Представляю, какую рожу скорчит герр шеф, когда узнает, что кроме фашистских газет выходит еще и большевистская...

Но закончить набор «подарочка» ему не пришлось. Фашисты заметили, что подпольная «Звезда» набирается точно таким же шрифтом, какой имеется в типографии Дома печати. Кто мог сделать это? Заподозрили неудержимого, всегда веселого и временами дерзкого Бориса Пупко. Его вызвали в СД. Допрашивали сурово. Увесистый кулак следователя не раз опускался на его голову.

— Не крути, негодяй, признавайся, ты сделал?

— Напрасно вы меня бьете, — спокойно отвечал Борис. — Спросите хоть у хозяина, что он скажет вам про меня.

Хозяин за ним ничего плохого не замечал.

— Хорошо работает, шельма, — вот и вся характеристика, которую дал Борису фашистский шеф.

По-видимому, достоверных доказательств у них не было, и Бориса выпустили. Придя домой, сказал Броне:

— Судя по всему, напали на след. Нужно выбирать...

— Я пойду к Деду, — может, он что-нибудь посоветует.

— Сходи.

Деда она не застала дома и ни с чем вернулась обратно.

В большой тревоге прошла ночь. Ждали, что придут гитлеровцы. А утром решили покинуть квартиру.

День стоял жаркий, душный. Перебираться на новую квартиру, к Деду, им было недалеко — нужно только перейти улицу. Чтобы часовые ничего не заподозрили, они ничего не взяли с собой.

Когда очутились на другой стороне улицы, почти у самого домика, в котором жил Дед, Борис спохватился:

— Подожди, Броня, я забыл свой пиджак.

— Да ну его, пойдём... — уцепилась она за руку хлопца.

— Как же я теперь без пиджака? Ты подожди... Я быстренько вернусь.

— Не выдумывай, Боря, идем... Тут жизнь на волоске, а у тебя пиджак в голове.

— Не бойся, больше минуты я там не задержусь... — И пошел.

Она долго смотрела ему вслед. Сердце сжимала тревога. Сгорел бы он, этот пиджак, хотя бы он и золотой был... Какой удивительный этот Борис. Все ему с рук сходит... Долго ли так до беды?..

Может быть, и на сей раз Борису повезло бы, но не хватило одной минуты. Той самой минуты, которая нужна была, чтобы перебежать улицу. Его схватили около самой двери, когда он выходил с пиджаком в руках. Схватили шпики СД.

А там, на квартире Деда, его ждала Броня. Разве знала она, что не вернется Борис ни через минуту,

ни через час, никогда...

Прошла неделя. Дед перевел ее на квартиру к Трофимуку, где она прожила еще полмесяца. Из отряда, действовавшего в Дзержинском районе, не было связных. Наконец из горкома Деду сообщили: пришла связная Нина Гарина и ждет Броню.

Дед подготовил необходимые документы и привел Броню в Грушевский поселок.

— Не задерживайтесь здесь, — предупредил он связную, — ее ищут...

— Не беспокойтесь, все будет хорошо...

После провала Бориса Пупко пользоваться типографией Дома печати было нельзя. Хорошо, что на квартирах Василя Сайчика, Марии Долголантевой и во многих других местах было припрятано несколько пудов шрифтов и других типографских материалов. Нужно было найти только наборщиков, верстальщиков — и можно выпускать газету.

Одна из подпольщиц, «Тетя Нюра» (Ганна Ширко), которой Ватик поручил подыскать дом с надежными хозяевами, сказала ему:

— Есть такой дом. На Издательской улице, номер четыре. Там живет наш человек Арсений Гришин.

Тот, что листовки и газету развозит по партизанским отрядам. Человек он тихий, совсем неприметный, молчаливый. Живет там не очень давно, снимает отдельную комнатку. В остальных двух комнатах живёт хозяйка квартиры, Татьяна Яковенко. Женщина малограмотная, с маленькими детьми, но надежная. Муж ее в Красной Армии. Я разговаривала с обоими. Они согласны отдать комнату для подпольной работы. «Я здесь редко бываю, — говорит Гришин, — больше в разведке, так вы делайте все, что нужно».

— Спасибо, тетя Нюра, — сказал Ватик. — Я проверю.

— Вас Дед может проводить. Он заходил туда, когда там были явки...

Наборщика для подпольной типографии нашел Казаченок. Он встретился со старым знакомым, Хасеном Мустафовичем Александровичем, бывшим заместителем директора Государственного издательства Белоруссии. Много лет Хасен Мустафович работал наборщиком. И он с большой охотой согласился помогать подпольщикам. Когда на явочной квартире дали ему текст листовки, он жадно впился глазами в написанное.

«Смерть немецким оккупантам!

Крестьяне!

Началась уборка урожая. Вы должны позаботиться о том, чтобы этот урожай достался вам, вашим детям, вашему народу, вашей Родине. Вы должны принять все меры к тому, чтобы плодами вашего труда не пользовался чужеземный враг, который уже более года грабит Беларусь...

Подлые грабители и убийцы — фашисты не считают вас за людей. По-ихнему, только немцы имеют право жить и пановать над другими народами. Вот почему они так торопятся забрать ваш хлеб в Германию, а вас посадить на ничтожный паек. Иначе говоря, поступить так, как они уже поступили с крестьянами Греции, Югославии, Болгарии, Франции и других поработанных фашизмом государств.

Кровожадный враг, который разрушает наши города и села, грабит, убивает мирное население, мучит и уничтожает пленных красноармейцев, по-зверски убивает стариков, женщин и детей, не остановится перед тем, чтобы забрать ваш хлеб и обречь вас на голодную смерть.

Нельзя допустить этого, дорогие братья!

Считайте своим долгом спрятать от врага свой хлеб для самих себя. Защищайте его всеми средствами и так, чтобы ни одно зерно не попало в кровожадный рот фашиста...»

Александрович еще больше заволновался, когда прочитал внизу подпись: «Минский комитет Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии».

— Так вот чье задание... Это я набрал бы немедленно. Но где же набрать?

— У нас есть шрифты и все необходимое.

Владимир вытащил из-под кровати большую корзину, заваленную сверху тряпьем. В ней лежало много маленьких свертков. На каждом из них была надписана какая-либо буква или название необходимого для набора материала.

— Раскладывай на столе и начинай, — сказал Казаченок и передал ему верстатку.

Засучив рукава, Александрович вместо фартука надел старую, драную рубашку, которой была накрыта корзина, разложил на столе шрифты в том порядке, в каком они обычно лежат в наборной кассе, и начал набирать.

Через день Ватик вынес из квартиры Степана Гринвальда-Мухи, где жил тогда Казаченок, большую пачку листовок. Они лежали на дне корзины, наполненной разными овощами. Партизанские связные понесли листовки в отряд.

Шрифтов еле хватило на одну листовку. Да здесь, собственно говоря, и не собирались размещать подпольную типографию. А нужно было выпустить второй номер «Звезды». Ватик повел Александровича и Казачёнка на Издательскую улицу.

Дом, куда они вошли, ничем не выделялся из числа других домов этого района. Одноэтажный, деревянный, покрытый дранкой, он был разделен капитальной стеной на две половины. Во дворе стоял сарайчик, а в нем — погреб.

Квартира имела, общий коридор. Если идти прямо по коридору — попадешь в комнату, занятую Арсением Гришиным, а налево — две комнаты, в которых жила Татьяна Яковенко с маленькими детьми.

Гришина дома не застали. Дверь открыла Татьяна Яковенко. Она уже знала Ватика, поэтому, ничего не спрашивая, пошла в свою половину, взяла там ключ и открыла комнату Гришина.

У самого окна, выходящего на улицу, стоял кухонный стол, слева от него — топчан. Несколько табуреток, холостяцкая кровать...

— Подходит? — спросил Ватик у Александровича.

— А почему же? Подходит.

— Тогда завтра и начнем. Приходите сюда во второй половине дня. Все необходимое оборудование будет здесь. Оно уже давно приготовлено.

Когда на следующий день Александрович пришел в комнату Гришина, оборудование действительно было уже на месте. Ватик передал ему тексты материалов для набора, попрощался и ушел. В комнату вошла Татьяна Яковенко и спросила:

— Долго ли вы будете работать?

— Часа три или четыре.

— Я запру вас на замок, а сама пойду караулить на улицу. Кто бы ни постучал в дверь, не отзывайтесь. Если придет Ватик или Володя, я сама открою, без стука.

— Хорошо, соседка, так и сделаем.

Они в самом деле были соседями. Александрович жил на той же улице, напротив. И знали друг друга хорошо.

Оставшись один, Александрович сразу же начал набирать текст передовой статьи. По старой привычке работал почти машинально, а в голове одна за другой проносились разные мысли. Одни были связаны с текстом набора, а другие — с воспоминаниями о прошлом.

Сколько воспоминаний вызвал, например, один только заголовок газеты. Дорогое для Хасена Александровича слово! Оно связано с боевой пламенной молодостью, с тем временем, когда редактором «Звезды» был незабвенный Александр Федорович Мясников. Он всегда приносил с собой в редакцию и в типографию какое-то необычайное, приподнятое настроение. Особенно любил набирать Хасен статьи самого Мясникова. Набирал с чувством радости и гордости, что пламенные слова, написанные таким выдающимся человеком, первым читает он. Вслух об этом никому не говорил, но в душе всегда гордился.

В то время тоже приходилось работать в трудных и сложных условиях. Но теперь, при фашистах, куда тяжелее и опасней. Таких лютых выродков, как фашисты, земля еще не носила.

Правда, тогда Хасен был молодым человеком. Рисковал только своей головой. А теперь у него полный дом детей, и все маленькие...

Только из-за них пошел он работать на электростанцию чернорабочим. Не умирать же детям с голоду! Грузил. Стискивал зубы, кряхтел, но грузил. И каким же тяжелым был уголь, награбленный врагом! И потому сразу так горячо ухватился Хасен Александрович за предложение Казаченка набирать подпольные материалы. Это то, чего не хватало теперь его душе. Он почувствовал, что наконец нашел свое место в строю. И главное — снова «Звезда», та самая «Звезда», в которой он начинал свою сознательную жизнь.

Шапку набрал на всю первую страницу: «Беларусь была и будет советской!»

В то время грозные бои происходили на всем советско-германском фронте. Особенно жестокая борьба развернулась на Волге, где стеной, насмерть стояли советские воины. Девизом для них стали слова: «За Волгой нам земли нет!»

Радиоволны доносили горячее дыхание далекой битвы. Да и так каждый видел — происходит что-то необычайное. Еще более напряженно работала железная дорога. Фашисты посылали на восток бесконечные подкрепления. Они под метлу вычищали амбары колхозников. Еще более люто расправлялись с советскими людьми. Значит, туго им пришлось, если так озверели.

«Беларусь была и будет советской!» — заверяла своих читателей «Звезда».

А на другой странице газеты — написанные Ватиком слова: «После полного уничтожения врага наша свободная Родина спросит каждого из нас: «Что ты сделал, чтобы освободить свою страну от издевательств немецкого фашизма?»»

«Обязательно спросят, — думал Хасен Александрович, набирая новую «шапку». — Теперь, в тяжкую годину, каждый человек должен показать, чего он стоит. Не все еще сражаются за Родину. Одни, спасая свою шкуру, побежали лизать пятки врагу, другие забились в темные щели, нашли разные причины для оправдания своего бездействия, хотят отсидеться, дожидаться, пока опасность пронесет мимо. Но какими глазами будут смотреть они на свет? Нет, если уж мне доведется остаться в живых, то не стыдно будет открыто глянуть людям в глаза. Хоть маленькое дело, но я делаю, приближая час победы».

Александрович знал цену правдивому слову, которое он набирал. Поэтому и рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своих детей. Ведь то, что он делал сейчас, — дороже жизни. Это — совесть и честь коммуниста и гражданина.

Не хватало некоторых букв, особенно для заголовков. Хасен Александрович набирал эти буквы другим шрифтом. «Ничего, читатели простят такое нарушение техники», — рассуждал он.

Когда начало смеркаться, зашла Татьяна Явменовна и спросила:

— Может, лампу зажечь?

— Нет, не нужно. Я завтра закончу.

Убрав гранки со стола, заторопился домой. Дети бросились навстречу, жадно поглядывая на его руки и карманы: может быть, тата несет что-нибудь? Но в руках у отца ничего не было. Он ласково погладил их огрубевшей ладонью по головкам и утешил:

— Ничего, когда-нибудь я принесу вам подарки... Вот подождите...

Дети впальми щеками прижимались к его невымытым рукам, а в глазах горел голодный блеск.

На другой день он пришел набирать сразу же после работы на электростанции.

— Вы хоть не так открыто ходите сюда, — сказала Татьяна Явменовна. — Соседи заметят, разговоры начнутся.

— Хорошо, буду остерегаться. Недаром люди говорят: береженого и бог бережет.

Вскоре Ватик привел молодого высокого парня и девушку с пышными темно-русыми волосами.

— Знакомьтесь, Хасен Мустафович, это ваши помощники. Сергей и Клава. Вы им расскажите, что и как делать, они будут печатниками.

— Очень, очень приятно... Одному мне трудно справиться. Работы здесь много.

— Только вы нас научите сначала, — попросила Клава.

— Наука эта несложная. Сейчас покажу.

Окончив набирать, Александрович рассказал своим помощникам, как и что надо делать. Сережа и Клава начали готовить валики. Пришел Владимир Казаченок. Вместе с Ватиком он сокращал материалы, не уместившиеся на полосе.

Всю ночь Клава и Сережа печатали газету — второй номер «Звезды». Клава натирала бумагу влажной губкой и клала ее на набор, смазанный краской, а Сережа тискал валиком листы. Когда они немного просыхали, Клава складывала их в кипу. Полторы тысячи экземпляров напечатали за сутки Сергей Благоразумов и Клава Фалдина.

Днем пришел Ватик. Он взял пачку газет и понес на явочные квартиры. Потом явился Дед и тоже забрал пачку. А за ними — Казаченок.

Свою пачку газет Ватик временно оставил на явочной квартире Варвары Матюшко, недалеко от подпольной типографии. Сюда часто приходили Ковалев, Шугаев и другие подпольщики. Долго прятать газету здесь было опасно. Уже меньшими пачками сам Ватик разносил ее на другие явочные квартиры.

Где находится типография, Ватик не говорил никому, даже членам подпольного комитета. Поэтому разносить «Звезду» на явочные квартиры он поручал только тем, кто был связан с типографией.

Даже район, в котором делалась газета, держался в секрете.

Выход второго номера газеты явился крепким ударом по врагу. «Звезда» ходила из рук в руки, миновала самых ловких шпииков и отыскивала тех, ради кого печаталась. Настроение у минчан

поднялось, стало еще более боевым: значит, подпольный комитет где-то рядом, он действует. А в результате все больше и больше людей шло в партизанские отряды. Связные не успевали выводить их в лес. Все чаще слышались взрывы на предприятиях, возникали пожары в цехах.

А Ватик сразу же начал готовить третий номер. Заметок, писем, сообщений набралось много, раз в пять больше, чем нужно. Отдавая их на литературную обработку Казаченку и Савицкой, он говорил: — Делайте заметки короче. Нам нужно помещать как можно больше материалов.

За передовую статью взялся сам.

«От полярного Мурманска до солнечного Севастополя, по всему огромному фронту и на всю глубину всей временно захваченной врагами территории полыхает пламя партизанской войны, — писал он. — Против врага ополчились народные мстители, и нет такой силы, которая могла бы приглушить или сломить ее».

Ватик горячо верил в то, что советский народ добьется победы над врагом. Поэтому каждое его слово дышало бодростью и звало к борьбе.

Значительное место в третьем номере занимало обращение Федора Кузнецова к железнодорожникам. Бывший начальник депо призывал рабочих железной дороги выводить из строя паровозы, оборудование депо, а самим идти в партизанские отряды.

«Не бойтесь кровавой расправы гитлеровских палачей. Никогда не сломить им боевого духа наших советских граждан. Смело бейте врага, чтобы после освобождения нашей земли вы с гордостью могли сказать: «Мы, железнодорожники, честно выполнили свой долг перед Родиной».

С приветом, бывший начальник Минского паровозного депо, сейчас красный партизан Ф. Кузнецов». Набор номера был почти совсем готов. Пришли Ватик и Володя для читки первой корректуры. Они внимательно вчитывались в смысл каждой заметки, правили, сокращали. Вдруг в комнату вбежала испуганная Яковенко:

— Полицай идет!

Ватик спокойно встал.

— Он не должен заходить в дом, — сказал Ватик. — Хасен Мустафович, вы оставайтесь здесь.

Татьяна Явменовна, запирайте комнату на замок. Володя, пойдем...

Через несколько секунд на двери комнаты, в которой была типография, висел большой замок... Ватик и Володя сидели в комнате Яковенко и прислушивались к тому, что происходило во дворе и в коридоре. Под лавкой наготове лежал топор. Если бы полицай решил зайти к Гришину, его тут же стукнули бы. Но полицай и не думал заходить в комнату. Назвав фамилию какого-то незнакомого человека, он спросил у Татьяны Явменовны, не знает ли та, где он живет?

— Нет, не знаю такого...

И полицай пошел прочь.

Ватик и Володя снова вернулись в комнату Гришина. К вечеру газета была сверстана и выправлена. Сережа и Клава приступили к своему делу. Они уже здорово наловчились. Работа у них шла слаженно и ритмично.

Поздней ночью обессиленная Клава заглянула к хозяйке и прилегла на минутку отдохнуть. А Татьяна Явменовна пошла посмотреть, что же делается в комнате Арсения.

А там, будто осенью листья под кленами, лежали газеты — на полу, на столе, диване. Только одно место на диване не было застелено газетами — то, на котором сидел Сережа. Он устало прислонился

к стене и задумчиво смотрел вверх. Когда Татьяна Явменовна вошла, освободил ей место и пригласил:

— Садитесь, хозяйка, помечтаем немного вместе...

— О чем мы с вами мечтать будем, Сережа? — удивилась она такому необычному предложению.

— Сижу я здесь, — начал он, — и представляю себе, какая красивая жизнь наступит после войны. За войну мы научились ненавидеть врагов и любить своих. Враги будут разбиты, уничтожены. Хорошие люди, наученные войной, станут жить дружно, сплоченно, с большой любовью и уважением друг к другу. Какое это будет счастье!

— Может, оно так и станется, — сказала Татьяна Явменовна, — только мне, наверно, не дожидаться этого...

— Что вы говорите, хозяйка! Почему не дожидаться?

— Очень просто. Вы вот поработали тут сутки, ну пусть двое суток, вымыли руки — и пошли. А все ваше имущество, ну шрифты там и все прочее, — остается у меня. А у меня малые дети. Налетят фашисты — тут и яма! Где уж мне это счастье искать? Пусть оно достанется хоть моим детям.

— А мне сдается, что я еще жить не начинал, что самое интересное, самое светлое — впереди. Вот ради него и хочется сделать как можно больше...

— Вы и так делаете много. Каждая листовка и газета, может, не одну душу утешит, правильный путь укажет... Ну, хорошо, Сережа, заговорились мы, а вам отдохнуть нужно. Я пойду.

— Разбудите, пожалуйста, Клаву. К утру нужно все закончить.

Он глянул на плотно завешенное одеялами окно, будто надеясь увидеть там рассвет.

— Жаль будить ее, — сказала Татьяна Явменовна о Клаве. — Спит, будто мертвая. Пусть бы часик еще отдохнула. Да и вы прилегли бы. Я разбужу.

— Нет, нельзя. Ватик просил, чтоб к утру было тысячи полторы экземпляров, за ними придут.

Через минуту, протирая кулаками глаза, вошла Клава.

— Какой же ты безжалостный... Такой чудесный сон прогнал... Больше никогда не увижу...

— Что за сон такой?

— Это мой секрет, Сереженька... Вот если доживем до старости, я расскажу тебе о нем в день своего семидесятилетия.

— Хватит болтать, а то, я вижу, мы договоримся...

И они снова делали каждый свое.

— Что-то мужчины уж больно часто ходят к вам, — хитро поглядывая на Варвару Матюшко, сказала одна соседка.

— А вы не заметили, с чем они ходят?

— А кто его знает. В газетах что-то завернуто...

— Вот именно, «что-то». Белье стирать приносят. А то на какие еще доходы нам с Настей жить?

Дети маленькие — работать не пойдешь. А есть надо, и даже каждый день. В этом вы не сомневаетесь?

— Конечно, нужно зарабатывать на хлеб.

Соседка, почувствовав неловкость, перевела разговор на другую тему. А Варвара подумала: «Видно, нужно предупредить своих, чтоб остерегались. Смотри, какая проныра...»

На квартире Варвары Матюшко действительно часто собирались подпольщики. Приходили сюда

Ковалев, Короткевич, Никифоров, Хмелевский, Шугаев, Кабушкин, Сайчик, Будаев, Думбра... Приходили смело, так как знали, что хозяйка квартиры — человек свой. С нею жила еще Настя Карпусенко. Она тоже участвовала в общем деле. Вот почему в этой квартире подпольщики чувствовали себя уютно, как дома. Не раз собирались они здесь на совещания. И всегда несли под мышкой свертки — будто бы грязное белье. В квартире жили две женщины, нет ничего удивительного в том, что они зарабатывают себе на хлеб стиркой белья.

Да и кто мог заподозрить, что Варвара Матюшко занимается политикой, если у нее маленькие дети. До войны она работала заместителем директора научно-исследовательского института пищевой промышленности, а перед этим — секретарем ЦК комсомола Белоруссии. Оставшись в оккупированном городе (когда началась война, Варвара лежала в родильном доме), она собрала небольшую группу людей и вместе с ними распространяла сводки Советского Информбюро. Но это были только несмелые шаги впопыхах. В настоящую, активную подпольную работу она включилась после встречи с Николаем Шугаевым, которого давно знала по работе в комсомоле. Шугаев привел к ней на квартиру Ковалева и остальных членов горкома и активных подпольщиков. С Короткевичем она также была хорошо знакома с 1938 года, когда он работал секретарем Заславского райкома партии, а она приезжала в Заславль по комсомольским делам.

Шугаев к моменту встречи с Варварой был уже секретарем подпольного райкома партии. Он и предложил горкому использовать квартиру Матюшко как явочную.

Теперь ей, как члену райкома, предложили и ответственную работу.

— Недавно у меня были связные отрядов «Мститель» и «Штурм», — сказал на очередном заседании Шугаев. — Многие партизаны ходят в лаптях, а то и совсем босые, сообщили они. Немецкие склады или обозы с обувью никак не попадают им во время операций. Одна надежда — на город, на вас, товарищи подпольщики. Так вот, давайте посоветуемся, — может, что-нибудь и раздобудем.

Думбра посмотрел на Матюшко. Та молчала, думала. Потом согласилась:

— Попробую кое-что поискать... может, и выйдет.

Перебирая в памяти всех своих знакомых, имевших какое-нибудь касательство к обувным мастерским, складам или предприятиям, она вспомнила одного комсомольца, — кажется, Володей его звали. Матюшко знала его когда-то как заведующего отделом горкома комсомола. Отец Володи до войны работал на кожзаводе «Большевик». Может быть, он и теперь там работает? Тогда дело решить было бы нетрудно — до войны это была честная рабочая семья.

Взяв на руки маленького Сашу, Матюшко пошла искать Володю. Она раньше знала, где он жил, но за войну ведь все сдвинулось с места, и здесь ли он, или, может, выбрался куда — кто его знает.

К счастью, она застала его дома. За время, пока они не виделись, Володя похудел, почернел, глаза запали, утратили свой веселый блеск.

— Как ты живешь? — спросила Володю Варвара Феофиловна.

— Как видишь, Варя, — печально сказал он. — А тебе, видно, еще хуже, с малым ребенком...

— Не сладко. Но не нам, Володя, хныкать. Вспомни, как мы жили и работали до войны, как говорили, что выдержим любые испытания, если потребует Родина. А теперь она требует от нас мужества, самопожертвования. На вот, прочитай...

Вытащила из-за пазухи завернутый в немецкую газету небольшой лист «Звезды» и отдала Володе. Тот схватил и жадно пробежал глазами по строчкам. Живым голосом партия обратилась к нему с

газетного листа: «После полного уничтожения врага наша свободная Родина спросит у каждого из нас: «Что ты сделал, чтоб освободить свою страну от издевательств немецкого фашизма?»»

Не отрываясь, читал статью за статьей и, пока не окончил, не поднял глаз на Варвару Феофиловну.

— Теперь говори, что я должен делать.

— Отец твой работает на кожзаводе?

— Да. И я там работаю.

— В таком случае получай задание.

— Чье?

— Наше. Патриотическое. Больше пока что тебе не нужно знать. Задание такое: выносить как можно больше готовых кож и передавать мне. Я сама буду приходить.

— Согласен.

Договорившись о времени встреч, они простились. А на другой день к ней зашел Шугаев.

— Как твои дела, Варвара Феофиловна? Не нашла еще ничего? — спросил он.

— Есть один человек, обещал помочь. Только не знаю, как я смогу переправлять вам?

Шугаев задумался. И вдруг:

— Тьфу!.. Как это я раньше не вспомнил! Жди меня, я быстро.

Часа через три он шагал по улице Добролюбова и катил перед собой еще новую, красивую детскую коляску. Увидела это Варвара Феофиловна и даже вскрикнула от удивления.

— Где ты добыл такую?

— Свет не без добрых людей. Вот на ней и будем перевозить...

Дно коляски устроили так, что там можно было прятать целые кожи. Варвара Феофиловна закутала в чистенькие пеленки своего Сашу, положила в коляску и покатила с Комаровки, через весь город, на Серебрянку.

Вот и территория фабрики «Коммунарка». На месте бывших цехов высились руины, на которых уже хозяйничали бурьян и чертополох, зеленела жгучая крапива. Нетронутым остался только фабричный скверик. Мало кто заглядывал сюда — людям стало не до прогулок, и даже проторенные когда-то аллеи густо заросли травой. Кусты буйно раскинули свои ветви, переплели их и образовали живую зеленую стену. Кое-где сохранились скамеечки. На одну из них села Варвара.

Скоро пришел и Володя, но не один, а с девушкой.

— Это Реня, тоже комсомолка, — отрекомендовал Володя. — Она будет помогать мне. А завтра придет еще один парень, его Яшей зовут. Втроем будем работать.

— Больше никого, — предупредила Матюшко. — Опасно.

— Мы втроем справимся, — сказала Реня.

Спрятавшись за кустами, они быстренько достали принесенные подошвы и хорошо обработанные кожи, Матюшко взяла Сашу, будто бы для того, чтобы переменить пеленки, а Володя и Реня тем временем спрятали все в коляску.

— Значит, завтра в это же время, — напомнила Реня.

— До свидания!

Снова коляска с Сашей мягко катилась по мостовой, на Белорусскую улицу, где была явочная квартира подпольщиков. Там и передала Варвара Матюшко привезенное добро.

С того времени маленький Саша ежедневно ездил с Комаровки на Серебрянку. Лежал мальчик в

коляске, сосал свою соску и не знал, что и он участвует в большом деле.

...Скоро на Белорусской собралось много кож, в том числе подошвенных. Из партизанского отряда «Мститель» бригады «Дяди Васи» приехал в город командир роты Евгений Волосных. Он забрал все, что собрали за это время Матюшко и ее знакомые.

— Передайте товарищам наше партизанское спасибо, — сказал Волосных на прощание подпольщикам.

Летом 1942 года партизанские отряды стали большой силой, с которой не могли не считаться фашисты. Дерзкие налеты народных мстителей на немецкие гарнизоны стали регулярными. Отряды объединялись в бригады, их удары становились все более мощными, концентрированными.

Минское подполье прилагало все усилия к тому, чтобы помочь партизанам в их борьбе. Все чаще в чаще подбирались люди для отправки в партизанские отряды. Жан по-прежнему держал связь с лагерями военнопленных. Захар Галло и Иван Козлов еле успевали готовить документы для тех, кого Жан через своих знакомых выводил из лагеря в город. Нужна была одежда, и ее тоже собирали подпольщики.

Освобожденных военнопленных направляли в разные партизанские отряды — и на север от Минска, и на запад, и на восток.

Тогда же летом из отдельных отрядов, в том числе и из отряда, действовавшего в Дзержинском районе, была создана партизанская бригада. Подпольный комитет должен был направить туда комиссара и начальника штаба, а также группу бойцов. Это дело поручили Косте Хмелевскому. Вот тогда он и вспомнил про обещание Рудзянки.

— Борис, а то оружие, которое ты закопал в лесу, еще там?

— Там...

— Вот и хорошо. Двадцать третьего августа на явку придет Нина. С нею ты выведешь за город группу людей. Среди них будет будущий комиссар бригады и начальник штаба. Выведешь в тот лесок и всех вооружишь. А дальше их поведет Нина. Все понял?

— Чего же здесь не понять? Не первый раз...

Солнце уже клонилось на запад, когда Борис и Нина выехали на подводе из Грушевского поселка. Вслед за ними с Грушевки и по Рязанской улице шли по одному те, кого Нина должна была вести в лес. Издали Рудзянку увидел того высокого бородача, на которого уже донес своему фашистскому шефу. Старик шел рядом с молодой черноволосой женщиной и, слегка наклонившись к ней, что-то говорил, глазами показывая на повозку. «Неужели и он спрячется в лесу? — подумал Рудзянку. — Будет мне тогда от шефа...»

Но старик, выйдя из города, кивнул молодой женщине и вернулся, а она пошла следом за повозкой. Немного позже Рудзянку узнал, что женщину зовут Броня Гофман. Ее и проводил Сайчик из квартиры Трофимука.

За городом Рудзянку разглядел, что в лес идет и Никита Турков, тот самый Никита, который познакомил его с Хмелевским и о котором так много было рассказано абверовскому шефу.

«Выскользнул! — ужаснулся Рудзянку. — Прямо из рук выскользнул, и теперь не удержишь его.

Съест меня шеф, если узнает, ей-богу, живьем съест... Как же это я выпустил? На свою голову выпустил... А может быть, Никита пронюхал что-нибудь обо мне? Ведь не сказал, что в лес собирается. И Костя не сказал, утаивают что-то. А может быть, догадываются?..»

Всю дорогу Борис нервничал. Заметив это, Нина наконец не вытерпела:

— Ты что, на гвоздь сел? Чего крутишься?

— Сам не знаю чего.

Пока добрались до леса, который был в семи километрах от города, стемнело. Рудзянко живо соскочил с повозки и, опираясь на лопату, чуть не бегом бросился вперед, к тому месту, где было зарыто оружие. Быстро разбросал насыпанную сверху землю и вытащил завернутые в истлевшее тряпье десять винтовок и тысячи патронов.

Он стоял по пояс в яме и передавал Нине оружие. А она, не глядя на Рудзянку, смахивала с винтовок куски гнилых тряпок и складывала трехлинейки на телегу, под солому. Было уже совсем темно, когда все уложили и Броня с Ниной уселись на подводу.

Незаметно опустился туман. Одежда стала влажной. Шевельнув плечами, Броня прижалась к маленькой Нине.

— Что, боязно? — спросила та. — Видать, ночью в лесу никогда не была?

— Никогда...

— Привыкайте. Теперь вся ваша жизнь лесной будет. Честному человеку теперь только в лесу и приют.

— Привыкну... Это меня от холода немного трясет.

Нина набросила ей на плечи пиджак, который до этого времени держала в руках, достала из кармана платок и повязала им голову.

— Ну, поехали, друзья. Пока, Борис. Скоро еще увидимся.

— Пока, Нина. — И он исчез во тьме, будто сквозь землю провалился.

В ту ночь Рудзянке плохо спалось. Снился ему абверовский шеф, который злобно тыкал в зубы пистолетом и все допытывался, где Никита и Нина. А потом, словно злой дух, появился сам Никита, — он издали показывал Борису кукиш и издевательски дразнил:

— Что, выкусил?..

А тут и явка приближалась. Она очень пугала Рудзянку. Чувствуя себя виноватым перед шефом, он пришел в условленное место — скверик напротив университетского городка — минут за пятнадцать до назначенного срока. Сидел как неживой...

Наконец явился шеф, веселый и ласковый. Видимо, ему где-то повезло. Сев рядом, он вытащил из кармана толстую сигару и большой ножик со множеством инструментов на нем, аккуратно обрезал кончик сигары и сунул ее в рот, а нож — в карман. Потом так же неторопливо достал из другого кармана маленький пистолет и нацелил в Рудзянку. У того дух заняло, лицо стало желто-восковым. Щелкнул курок, и из ствола пистолета выскочил и затрепетал огонек. Шеф поднес его к сигаре.

Душистый синий дым поплыл на Рудзянку, щекоча ему нос.

— Что, испугался? То-то же. Ну, рассказывай...

Сообщив обо всем, что слышал от Хмелевского о Ковалеве, Рудзянко отважился признаться:

— Никита Турков убежал в партизаны...

Сказал и замер: что будет?

А шеф даже ухом не повел, будто ничего не случилось.

— Убежал так убежал. Дьявол с ним. Птичка невеликая. Тут более важные лица есть. Нужно быстрее комитет выявить. Я вижу, ты тянешь с этим делом. СД перегоняет нас. Они действуют не

так медленно, как ты...

— Постараюсь.

И старался.

Спустя некоторое время он явился к шефу и дал еще более подробные сведения о Жане и Ватике.

— Где они живут? — спросил шеф.

— Не знаю.

— Так откуда же такие сведения?

— От Хмелевского.

И тут же пошел выполнять очередное задание Хмелевского. На Комаровке, на явочной квартире, нужно было забрать лампочки для радиоприемника. Там он встретил Толика Маленького.

— Я ведь тебя недавно проводил, — будто между прочим сказал Рудзянко Толику.

— Не утерпел в отряде, выпросился на задание в город. — И познакомил Рудзянку с чернобородым, высоким, статным мужчиной, назвав его Толиком Большим.

Под кличкой Толика Большого развил свою «деятельность» бывший военнопленный Анатолий Филипёнок, которого заслало в подполье СД. В результате его стараний СД узнало многие явочные квартиры подпольщиков.

Рудзянко ничего не знал о Филипёнке. Но и не торопился доносить на него шефу — нужно было сначала выяснить роль обоих Толиков в подполье. Тем более, что доносить и без того было о чем: Костя все чаще и чаще просил денег. Нужно было покупать бумагу для листовок и газеты, деньгами помогать членам комитета, которые нигде официально не работали. Не раз Борис старался выпытать у Кости адрес типографии, кто наборщик, но Костя ничего конкретного не говорил.

— Я даю тебе деньги и не знаю, куда они идут, — напирал Рудзянко, — хотя бы ты расписки какие мне давал.

Но на это Хмелевский отрезал:

— Ты, милый человек, не в лавке работаешь, а в подполье. Какой дурак будет тебе расписки писать? Ты что, не доверяешь комитету?

Пришлось проглотить горькую пилюлю да еще и льстиво улыбнуться:

— Нет, я только хочу быть уверен, что действительно приношу пользу делу.

— А если ты еще не уверен в этом, то почему участвуешь в нем?

— Ты не понял меня, Костя, — уже встревожился Рудзянко, почувствовав, что очень далеко зашел в своих требованиях. Тем более, что Костя в последнее время почему-то отдалялся от него, часто ночевал где-то на других квартирах.

— Сколько раз я говорил тебе, Борис, что подпольщик не имеет права интересоваться тем, что его не касается непосредственно. Это закон.

— Хорошо, учту...

Но интересоваться не переставал. Ему хотелось сблизиться с Толиком Маленьким, который теперь самостоятельно ходил в город и из города без помощи Рудзянки.

Однажды с Толиком в отряд пошел и Анатолий Филипёнок. В лесу пробыл он недолго. Нужно было идти на явку с резидентом СД. Но как? Что придумать? Правда, и на этот раз ему повезло. Толик Маленький получил новое задание идти в город, и Анатолий Филипёнок напросился помогать ему.

Командование отряда отпустило. Так снова агент СД очутился в городе. Он донес своим хозяевам не

только о деятельности подпольщиков, но и о их связях с лесом.

Над подпольем нависла новая угроза, еще более тяжелая, чем в марте. И самое страшное было то, что сами подпольщики об этом и не подозревали.

Жан все лето был в походах. Не успеет вернуться из одного отряда, как Ватик или Короткевич дают ему новое поручение. Оружие и медикаменты, сведения о противнике и одежда — все, что горком предлагал ему доставлять в лес, попадало туда в назначенный срок. Почти во всех партизанских бригадах вокруг Минска знали веселого, неутомимого, всегда уверенного в своих силах Жана. Ни разу он не пожаловался никому на трудности, не сказал членам горкома или командованию какой-нибудь бригады: «Нет, такого задания выполнить я не могу». Вообще слов «не могу» в его лексиконе не существовало.

— Не заколдован ли он? — порой говорили завистники. — Очень уж удачливый...

Но тот, кто знал Жана в деле, кто видел, чего стоили его внешняя беззаботность, веселость и необычная смелость, тот не думал об удачливости.

Очередное его задание — снова собрать медикаменты и доставить их на озеро Палик, в бригаду «Дяди Коли». На Мопровской улице находилась аптека, в которой заместителем заведующего работала Лида Девочко (Ларина). Туда и пошел Жан.

Увидев на пороге знакомую фигуру высокого, плечистого Жана, Лида заторопилась ему навстречу.

На такой случай у него всегда были рецепты, и она обычно сама выдавала ему лекарства.

Получив сверточек, Жан незаметно дал знак Лиде: выйди, есть дело, — а сам, приветливо простившись с работниками аптеки, пошел на условленное место. Вскоре туда пришла и Лида.

— Я снова иду в путь-дорогу. Подготовь хороший подарок, — попросил он Лиду. — Да не скупись. Занесешь к Вите Рубец. Профессору Клумову тоже передай, чтоб и он чего-нибудь собрал. Впрочем, к профессору Витя Аллу Сидорович пошлет... А ты принеси часть сегодня, часть завтра. Будет надежная попутная машина, могу много отвезти. Бинтов не забудь...

— Все будет сделано.

И они сердечно пожали друг другу руки на прощанье.

На другой день большой сверток с медикаментами лежал в сиденье шофера, а рядом с шофером сидел Жан и рассказывал разные сказки. Документы им оформил Иван Козлов по образцам, которые только передал из городского комиссариата Захар Галло.

Дорога то взбегала на пригорки, то резко, так, что у путешественников дух захватывало, спускалась в низины, то петляла между песчаными холмами. Все вокруг было хорошо знакомо Жану. Когда-то здесь он начинал свою партизанскую деятельность. Вот обрыв, за которым лежал он в кустарнике, ожидая, когда внизу, на дороге, появится фашистская дичь. Вон на том повороте бросил он гранату под колеса фашистской машины... По тому вон лесу, который тянется на восток, возвращались они с первых операций...

Кажется, не год прошел, а целое столетие! Сколько событий произошло за этот короткий промежуток времени! Если бы начал рассказывать обо всем по порядку, не хватило бы и нескольких месяцев. Да и сам себе не поверил бы, что так оно было, что все это правда.

А как возмужал Жан за этот год! Однако после всего пережитого не утратил он своей веселости и бодрости. Если уж жить, так с музыкой, и умирать с музыкой, чтоб врагам не по себе стало.

За Логойском началась партизанская зона. Несколько бригад народных мстителей облюбовали

болотистую пойму реки Березины, а возле озера Палик разместились партизанские базы.

Сразу же за Плещеницами Жан сошел с машины и забрал с собой большой сверток. Шофер повернул обратно (у него было свое задание), а Жан взял направление на восток.

День выдался на диво солнечный, теплый. Над пустым полем медленно плыла паутина бабьего лета. Плыла высоко, в светлой голубизне, потом опускалась ниже, до земли, цепляясь за колючее жнивье. За пригорком начался лес, притихший, словно затаивший какую-то глубокую думу. Ярко-красным огнем горели гроздья рябины, золотом сверкали клены.

Дубы еще похвалялись своей молодостью. Но и их кроны то там, то здесь осыпала желтоватая седина. А зябкие осины уже дрожали и ныли от холода, хотя и не слышно было ветра и солнце еще светило.

По обеим сторонам лесной дороги багровели брусника, клюква. Будто хитрые лисьи глазки, смотрели на путника ягоды крушины. Синевой отливал можжевельник. Манящая, ласковая осень царила над просторами родной Белоруссии.

Жан шел по лесной дороге и не чувствовал усталости. По еле приметной тропинке он свернул в кустарник. Ноги утонули в мягком мху. Упругие ветки хлестали по лицу.

Вскоре на полянке показалась хата лесника. Во дворе, за изгородью, хрипло залаяла собака. Из хаты вышла хозяйка, осмотрелась и, заметив высокую, широкоплечую фигуру Жана, издали улыбнулась: — А, Жан пришел! Пожалуйста, пожалуйста, такому гостю всегда рады. Жалко, старик мой куда-то пошел. Но он обещал скоро вернуться. Заходите в хату, раздевайтесь, отдыхайте.

Упрашивать Жана не нужно было. Всюду, куда он ни приходил, чувствовал себя как дома. И всякий раз не обходилось без шуток.

— А вы, матуля, все молодеете, ей-богу, молодеете, — похвалил он хозяйку. — Только бы не сглазить!

— Что это вы сегодня? — даже покраснела она. — Такой разговорчивый! Не то что мой старик... Он все молча. Привык в лесу больше слушать, чем говорить.

— Знаете, это теперь не порок. Наоборот. Молчаливые люди очень нужны.

Хозяйка поставила на стол крестьянскую еду. Жан ел и после каждой ложки похваливал кушанье: и вкусное, и наваристое, любой ресторанный повар позавидовал бы.

Вскоре пришел сам лесник. Крепкий старик с широченной седой бородой, он смотрел на Жана светлыми, пытливыми, совсем молодыми глазами. Под густыми, порыжевшими от табака усами затеплилась скупая улыбка.

— А, Жан! — и крепко, по-молодому, пожал гостю руку.

Старик и в самом деле был неразговорчивый. Бросил два-три слова и замолчал.

И так до утра. А утром вместе с Жаном он пошел на Палик.

Кроме медикаментов Жан нес с собой ценные сведения о фашистских военных частях, размещенных в Минске, и о работе железнодорожного транспорта.

Командование партизанской бригады «Дяди Коли» предложило ему отдохнуть несколько дней.

— За это время мы подготовим мины и термитные шашки, которые просил горком партии. Отнесете в город.

Он согласился. И, пользуясь тем, что выдалось свободное время, решил послать письмо родным.

Попросил в штабе два листа чистой бумаги и сел писать.

А кому? Жене? Неизвестно, где она. Выбралась ли тогда на восток? А может быть, попала где-нибудь под фашистскую бомбу или под автоматную очередь гитлеровских десантников?

Матери? Так она же под Барановичами. И он там недавно был.

Больше никому. Разве тестю написать. Он же в Казанском облвоенкомате работает. Если Тамара успела эвакуироваться, то она обязательно поедет к родителям. Узнав, что сюда иногда прилетает самолет с Большой земли, он решил послать тестю весточку о себе. Вначале перо быстро забегало по бумаге.

«Добрый день, дорогие папа и мама, а также Люда!

Может быть, Тамара дома (но это вряд ли). Или, может быть, вы имеете с нею связь, то передайте...»

Тут он запнулся. А что передать? Он и сам не знал, как высказать то, что переживал в эту минуту.

«...Но что передать, и не знаю...»

Он рассказал, как тяжело пережил нападение гитлеровцев на Советскую Родину, как стал сражаться с врагом. «Я являюсь красным партизаном, — писал он дальше, — и этим званием горжусь, и вы гордитесь, что ваш близкий не в рядах холуев».

Потом описал трудности, которые приходилось переживать партизанам, рассказал об издевательствах гитлеровских бандитов над мирным населением и пленными. «В Минске есть парк культуры и отдыха, а напротив него в недостроенных помещениях находился лагерь военнопленных. Как их там били, морили голодом, даже воды не давали вволю! И результат — за шесть месяцев прошлого года 18 тысяч человек было брошено в ямы один на одного и поставлен памятник высотой около двух метров и шириной больше метра. Получается квадрат. На нем написаны фамилии и имена похороненных. Очень и очень много. А внизу с одной стороны написано: «2859 неизвестных» — и так с других сторон.

Всего не опишешь. Я сам свидетель и на сегодняшний день живой. Буду мстить за разрушение наших сел и городов, за издевательства...»

Свернув листочки, положил в конверт и написал адрес тестя: «г. Казань, ТАССР, Татвоенкомат, ул. Свердлова, дом 52, Петровым».

Письмо было оставлено в штабе. Но случилось так, что его не могли переслать на Большую землю. Оно попало в штабные бумаги, оттуда — в архив, и только через девятнадцать лет мы прочитали его. Строчки, адресованные родственникам, голосом живого Жана передают нам его любовь и ненависть: любовь к своему народу, своей Родине и ненависть к фашизму. Они звучат как завещание тем, кто остался живой.

СД и Абвер детально разработали операцию. Они, через свою агентуру, проследили за членами комитета и активными подпольщиками. Фашистская агентура глубоко проникла в подполье. Только Рудзянко и Филипенко знали десятки людей, которые участвовали в работе партийной организации. В ночь с 9 на 10 октября была схвачена семья Вороновых. Правда, их не подозревали в связи с горкомом партии. В последнее время Вороновы на своей квартире печатали много продуктовых и хлебных карточек и раздавали знакомым. Одна из знакомых и выдала их. Вороновых страшно пытали, но они никого из подпольщиков не назвали.

После ареста Вороновых их сосед и друг Тимох Трофимук, на квартире у которого печатались листовки и первый номер «Звезды», запер свою квартиру и спрятался у знакомых на Комаровке. Жан вместе со связной из отряда «Дяди Коли» Олей Курильчик пришел в Минск 27 сентября. Он

принес термитные шашки и взрывчатку, чтобы по решению комитета вывести из строя ТЭЦ и водопровод, сжечь парашютную фабрику.

В тот же день на Подлесной улице, на квартире Александры Янулис, он встретился с Василем Сайчиком и Сергеем Благоразумовым. Руководители партизанских бригад, в которых ему довелось побывать, просили присылать как можно больше испытанных, проверенных людей. Эту просьбу и нужно было обсудить с Сайчиком и Благоразумовым. Они имели хорошие связи с лагерями военнопленных, вывели много людей оттуда.

— Как у тебя с документами? — спросил Жан у Сайчика.

— Бланков хватает. Зорик и Иван Козлов, если нужно будет, оформят все как следует, хлопцы работают хорошо.

— Тогда давайте готовить новую группу пленных. Только проверяйте как следует, кого попало не тащите. Как бы провокаторов не подцепить. Гестаповцы, видно, насторожены, столько людей у них из-под носа выскользнуло.

— Завтра же начну готовить, — согласился старик. — Меня беспокоит, что Ватик на явку не пришел. С пятницы я не видел его. Так раньше никогда не было.

Новость встревожила Жана.

— С пятницы нет, и вы даже не узнали, почему? Ведь это же черт знает что! Разве можно так работать? Немедленно нужно все выяснить.

Они вскоре разошлись. И в тот же день все узнали, что Ватик, Ганна Ширко («Тетя Нюра») и многие другие подпольщики схвачены СД.

Нужно было предупредить тех, кто оставался на свободе. Во все концы города понеслась невидимая эстафета — от подпольщика к подпольщику, с квартиры на квартиру: остерегайтесь, начались аресты. Десятки людей успели перебраться из Минска в партизанские отряды. Десятки, но не все.

Руководство горкома было уже на примете в СД. За ним установили особое наблюдение.

Насторожился и Жан. Всегда находчивый, он не растерялся и на этот раз. Зайдя на квартиру к одной знакомой женщине-врачу, которая время от времени приносила медикаменты и бинты для партизанских отрядов, прежде всего спросил:

— Что нужно сделать, чтобы сразу стать брюнетом?

— А мне блондины больше нравятся, — ответила она, приняв его вопрос за очередную шутку.

— Нет, я серьезно спрашиваю.

— Если серьезно, то это не очень сложно. Подожди, я сбегаю в аптеку к Лиде Девочко. У нее должны быть такие химикаты.

— Кстати, попроси у Лиды темные очки. У нее должны быть...

— И это можно.

— Только не задерживайся.

Через какой-нибудь час она вернулась и повела Жана к умывальнику.

Женские пальцы ласково ворошили его мягкую волнистую чуприну. Он закрыл глаза, а она поливала и поливала его каким-то неприятным раствором.

— Хочешь быть красивым, так терпи...

Через несколько минут Жан стал неузнаваем. Белые волосы, которые зачесывались до того времени назад, стали совсем черными. Темные очки спрятали глаза. Продолговатое лицо, казалось, еще

больше удлинилось, вытянулось, и сам человек будто постарел на двадцать лет. Даже фигура его изменилась. Жилистая длинная шея втянулась в плечи, вдвое стала короче, а плечи сгорбились. Старик — да и только!

— Саша! — Хозяйка знала Кабушкина как Александра. — Что с тобой случилось? Ты ли это?

— Ну, спасибо за помощь, — сказал он. — Теперь я заверну к тебе только в крайней необходимости. Сама не ищи меня, даже когда и спрашивать будут. Всего хорошего!

И исчез. Он имел квартиры, которые не называл никому. Одна из них была в доме № 5 в поселке Пушкино. Там жила немолодая уже женщина Мария Петровна Евдокимова с двумя сыновьями-юношами. К ним перешел жить Жан.

Во второй половине сентября готовился очередной, пятый номер «Звезды». Ватик собрал много материалов и отдал их Савицкой и Казаченку на литературную обработку. Когда все заметки и статьи были выправлены, отдали их набирать Хасену, который почти постоянно жил в комнате Арсения Гришина. Сам Арсений редко оставался здесь ночевать. А если и оставался, то держался скромно, будто застенчивый гость, — в дела не лез, ничего не спрашивал. Видно было, что он с огромным уважением относится к людям, которые делают газету и листовки.

Когда весь текст был набран, снова пришел Казаченок и прочитал корректуру, а Александрович выправил ее. Газета была почти готова, за исключением первой страницы, где пустовало место для сводки Советского Информбюро. Ее обещал принести Ватик. Но он почему-то не пришел. Не явился он и утром. А днем пришла дочка Ганны Ширко — Галя — с каким-то незнакомым бородатым мужчиной и встревоженно сказала Татьяне Яковенко:

— Если у вас что есть, то прячьте... Мою маму забрали...

— Ничего у меня не было и нет, прятать нечего... — ответила Яковенко.

Как только Галя со своим спутником вышла, прибежал Казаченок. Прежде всего ссыпали в одну кучу шрифты с газетных полос, вынесли в сарай и зарыли в песок. Осталось перепрятать типографию. Одному это сделать очень тяжело. Только шрифтов набралось больше шести пудов. К счастью, пришел Александрович. Он еще ничего не знал о беде, был весел, готовился закончить пятый номер «Звезды». Тяжелая весть поразила его.

— Что будем делать? — спросил он Казаченка.

— Нужно перенести типографию.

— Куда?

— Если бы я знал куда... Может, к Савицкой?

— Другого места у нас нет. Пошли.

Каждый, кого встречали по дороге, казалось, смотрел на них подозрительно и придирчиво. Но все обошлось хорошо. Никто не остановил, не проверил.

Видно, агенты СД не попались по дороге, или, может быть, внешность Казаченка и Александровича не вызвала подозрений у гестаповцев.

Мать Савицкой повела Александровича и Казаченка на огород, и там они закопали все принесенное.

В тот же день вечером приехал из леса Арсений Гришин. Утомленный — он развозил по партизанским бригадам листовки, — чтобы не беспокоить соседку, тихо отпер свою комнату.

Напуганная Яковенко слышала каждый шорох. Она догадалась, что вошел Гришин, и постучала.

В комнате было темно. Хозяин, не зажигая лампы, неторопливо раздевался.

— Обожди раздеваться. Ты, видно, не знаешь, что в городе начались аресты. Нас предупредила Галя, дочка тети Ньюры. С нею был какой-то незнакомый с бородкой. Боюсь, как бы чего плохого не случилось... Не лучше ли тебе переночевать в каком-либо другом месте?

— Куда я сейчас, ночью, пойду? — вяло ответил Арсений. — Скорей попадешь в лапы гестаповцев. Да и устал я очень, двое суток без отдыха за рулем. Переночую дома, — может, ничего не случится, — а завтра поищу другую квартиру.

— Смотри, человек, как бы жизнью не поплатиться...

— Кто знает, где ходит смерть? И все же я останусь дома.

Часов в десять вечера во дворе стало светло, как днем. Машины, окружившие дом, осветили его фарами. Целая свора гестаповцев шныряла по двору. Наконец застучали в дверь. До полусмерти напуганная Татьяна Яковенко дрожащими руками сняла засов. В коридор ввалилась дюжина здоровенных громил.

— Как фамилия? — спросил один по-русски.

— Яковенко.

— Где муж?

— Нету. Во время бомбежки пошел и не вернулся.

Не говорить же им, что муж где-то на фронте бьет фашистских гадов.

— Иди ложись спать да не вылезай...

Из комнаты Гришина, где орудовали гестаповцы, послышались глухие удары и стоны.

— Где был? — допытывался один выродок.

— В командировке...

Татьяна Яковлевна глянула в открытую дверь и увидела на полу окровавленного Арсения. Он силился поднять голову, но каблук огромного сапога с размаху опустился ему на висок. Арсений снова застонал.

— Знаем мы ваши командировки... Что возил партизанам?

Гестаповец, который только что разговаривал с Татьяной, втолкнул ее в комнату Гришина и, показывая на Арсения, спросил:

— Знаешь этого человека?

— Знаю. Это же мой сосед.

— А кто ходит к нему?

— Не знаю.

Начался повальный обыск. Все дочиста перерыли в квартире. Лазили на чердак и штыками перекопали там мох и песок. Один из гестаповцев внимательно присмотрелся к столу, на котором печатали «Звезду». На столе чернели большие пятна типографской краски.

— Где типография? — допытывались гестаповцы у Арсения и били чем попало.

— Не знаю, — отвечал он.

— Не знаешь? А почему стол запачкан краской? Говори, где печатный станок?

— Могу поклясться, что не знаю никакого станка.

— Не знаешь? Когда все жилы вытянем из тебя, скажешь...

И снова сыпались удары. Арсений временами терял сознание, а когда приходил в себя, слышал одно и то же:

— Говори, большевистская морда!..

— Ничего я не знаю...

Арсения потащили в машину, а Татьяне Яковенко приказали никуда не выходить.

— Куда же я пойду от маленьких детей? Мне идти некуда.

За домом установили тщательное наблюдение. Но ни Рудзянко, ни Филипенко, ни другие агенты СД и Абвера не могли напасть на след типографии. Арестованные Ватик, Ганна Ширко и другие подпольщики, выдержав пытки, ничего не сказали на допросах.

С шумом, под завывание автомобильных сирен, открылись ворота больницы, и во двор влетело сразу несколько приземистых «черных воронов». Дверь одного из них открылась, и два гестаповца потащили к хирургическому отделению высокого бородатого человека.

Медсестра Алла Сидорович, увидев его, чуть не вскрикнула от волнения: гестаповцы тащили Сайчика. Он был бледен как снег.

Алла сразу бросилась к Клумову. Профессор после обхода больных сидел в своей комнате и что-то писал.

— Что случилось? — спокойно спросил он растерянную, взволнованную Сидорович.

За свою долгую жизнь Клумов видел столько смертей и рождений, столько горя и радости, что его уже ничто не могло удивить. Он будто застыл, окаменел.

— Беда, Евгений Владимирович, — тихо сказала Сидорович. — Привезли к нам старика, который, помните, приносил «Звезду». На ногах не стоит...

Клумов поднял глаза и посмотрел на Аллу:

— Спокойно, Алла Осиповна. Медицинским работникам нельзя волноваться даже и тогда, когда они видят раненых. Что-нибудь надо придумать. Идите, я сейчас...

Старик лежал на полу, окруженный гестаповцами.

— Где ваш доктор? — грубо спросил один из них у Аллы. — Нам некогда ждать, нужно допросить этого бандита. Перевяжите его скорей, чтобы не сдох...

— Господа, прошу отнести больного в операционный зал, — послышался за их спиной голос профессора.

Гестаповцы подхватили Сайчика под руки и потащили. На полу осталось кровавое пятно. Старик тихо стонал.

В операционной Клумов приказал:

— Раздеть больного! Положить на стол!

— Нам некогда таскаться с ним, — запротестовал гестаповец. Перевяжите бандита, и мы будем допрашивать его.

— В таком случае нечего было привозить его ко мне! Я должен осмотреть больного. Прошу всех покинуть операционный зал.

Гестаповцы нехотя вышли.

Клумов осмотрел Сайчика. Пуля навывлет пронзила старику грудь, пробила легкое. Однако рана не была смертельной.

После осмотра Сайчика профессор вышел в приемный покой и заявил гестаповцам:

— Пуля засела в легких. Без операции он не сможет давать показаний. Потребуется не менее суток на подготовку. Решайте, господа... Иного выхода нет.

— Нам он нужен живой, а не куча навоза, — злобно выругался начальник группы СД. — Операцию не затягивайте. Не позже как завтра мы должны допросить его.

Оставив часового, гестаповцы уехали. А Евгений Владимирович кивнул Сидорович: нужно, мол, что-то придумать.

Когда отъехали черные приземистые машины, к Алле прибежала Витя Рубец.

— Аллочка, ты слышала, что Деда ранили?

— Не только слышала. Он у нас на втором этаже лежит.

— Нужно помочь ему убежать.

— Попробуем.

— Скажи ему, чтобы готовился...

Но как это сделать? Ведь возле палаты сидит дежурная сестра. Чтобы отвлечь ее внимание, Алла попросила:

— Ольга Ивановна, дайте, пожалуйста, закурить.

— Ты же не куришь, Алла.

— Что-то так захотелось... И Витя тоже просит. Может, у больных есть?

— Спроси. Может, у кого и есть.

Сидорович зашла в палату, где лежал Сайчик. Пристально глядя ему в глаза, спросила:

— Нет ли у вас, дедуля, закурить?

Он сразу сообразил, что не в куреве дело, и ответил слабым голосом:

— Поищи у меня под подушкой.

Она наклонилась над самым его ухом и спросила:

— Ходить можете?

Старик глазами дал понять, что может.

— Одежда внизу под лестницей. Выход во двор. В семь часов на Гарбарной ждет машина.

И потом уже вслух:

— Ничего у вас под подушкой нет.

— Значит, в одежде осталось.

После работы на квартире у Аллы Сидорович собрались Захар Галло, Витя Рубец, медсестра Мария Жлоба. Поскольку обещанная машина не прибыла, нужно было решить, как помочь Сайчику выбраться из больницы. Хорошо, если старик сам сможет выйти, когда они отвлекут внимание часового.

В половине седьмого вся группа была возле больницы. Захар остался на улице, а Мария Жлоба и Алла пошли в корпус.

— Что вам здесь нужно? — насторожился постовой.

— Да ключ от квартиры потеряла, — ответила Сидорович.

— А я к дежурной сестре, — добавила Мария Жлоба.

Постовой днем видел Аллу, поэтому не протестовал, пустил. Найдя медсестру Аню Спирину, Алла попросила:

— Пофлиртуй минут десять с часовым. Хорошо?

— Что, очень нужно?

— Очень. Прошу тебя...

Аня подошла к гестаповцу и завязала пустой, но приятный для него разговор. Фашисту импонировало, что красивая девушка сама обратила на него внимание, и он не скупился на комплименты.

А тем временем Алла вынесла Сайчикову одежду под лестницу. Ровно в семь часов старик застонал: — Ой, живот... Не утерплю...

— Санитарку позовите, — посоветовали соседи.

— Этого не хватало. Сам доберусь. Непривычный я к санитаркам.

И заковылял, опираясь на спинки кроватей и стены. Простреленная грудь хрипела. Хотелось кашлять, но старик сдерживался. Знал: кашлять нельзя, опасно.

Пройдя коридор, по лестнице спустился вниз. Никто не обращал на него внимания. Постовой за дверью скалил зубы с медсестрой Аней. Под лестницей Сайчик отыскал свою одежду, быстренько переоделся и через черный ход вышел во двор.

Высокий забор с натянутой колючей проволокой отгораживал больницу от Гарбарной улицы. Старик снял ватник, вскинул его на проволоку и, собрав силы, подтянулся. Руки дрожали, все тело трясла лихорадка.

Еще одно усилие, еще одно — и дрожащая нога, закинутая вверх, зацепилась за проволоку. Теперь и она помогала полуживому телу взобраться на ватник, а затем перевалиться через забор.

Упал в высокую траву и замер. Долго ли так лежал — не помнил. Стемнело. Никакой машины не было. Поблизости знал одну явочную квартиру. Хорошо бы доковылять до нее. И он, таясь, обходя людные места, потащился на Красноармейскую улицу.

Хотя и трудно было найти Жана, но его нашли и сообщили, что нужно спасать Василя Сайчика. Не раздумывая ни минуты, Жан надел темные очки, насунул на самые глаза шляпу и пошел к Сайчику. Деда нельзя было узнать: борода сбрита, усы, словно у кота, — торчком, лицо желтое.

Как это ты попал? — спросил Жан.

— Не я попал, а меня сцапали. Нарвался неожиданно. Хотели задержать, а я бросился наутек. Один забор проломил, а на другом подцепили. Правда, улик не осталось, успел выбросить три пропуска на выход из города и три паспорта, но и даваться в руки не хотел, думал — убегу. И убежал бы, да подстрелили, гады. Спасибо профессору Клумову и его медсестрам — помогли спастись от пыток. Теперь, как видишь, положение незавидное, нужно искать какое-то убежище. Позаботься, Жан.

— Позабочусь! Найдем что-нибудь, не унывай, батя. Еще танцевать будешь!

— Да уж обязательно потанцую на могиле Гитлера.

— Seriously говорю. Только мне надо посоветоваться. Всего хорошего...

И Жан вышел. По дороге решил заглянуть к Виктории Рубец. Женщина она умная, ее медицинская помощь была бы очень полезной. Застав ее на работе, попросил на минутку выйти.

— О Старике слышала?

— А как же! Что с ним? Живой?

— Живой.

— А я места себе не нахожу. Все беспокоюсь. Когда он исчез, гестаповцы спохватились, начали спрашивать. Но никто ничего не знает. Больные сказали, что в уборную пошел и не вернулся. Они тогда к сестрам прицепились: «Это вы умышленно часовому зубы заговорили». И по двадцать шомполов всыпали. Пристали к Клумову. «Что у вас тут за порядки!» — кричат. А Евгений

Владимирович спокойно отвечает: «Я — только профессор, врач, а не полицейский, и в мои обязанности не входит охрана арестованных. Если вы сами выпустили преступника, то на других вину не сваливайте». И пришлось гестаповцам пойти несолоно хлебавши.

Зашел разговор о надежной квартире для Сайчика. Виктория Рубец вспомнила о своей встрече с Толиком Большим.

— Когда начались аресты, он предлагал мне к нему перебраться. У него, говорит, есть свободная комната. Не использовать ли такую возможность?

При упоминании о Толике Большом Жан кисло поморщился — не нравился ему этот хлюст с черной бородкой. Лезет всюду, куда его не просят, на дело набивается, а делать по существу ничего не хочет. Только языком мелет.

Однако что придумать? Положение сложное. Аресты не прекращаются. Уже почти всех членов горкома схватили фашисты.

И он согласился.

Так перебралась Витя на квартиру к Толику Большому. Туда же отвел Жан и Сайчика.

Соседям Рубец сказала, что вышла замуж и переехала на квартиру к мужу. Перешел жить в другое место и Иван Козлов. Оставаться на старой квартире было очень опасно, чувствовалось, что гестаповцы принимают к жильцам дома № 55 на Комаровской улице. Подозрительные типы часто торчали или прогуливались возле этого дома.

Переселившись на Революционную, 6, Витя, будто нянька за малым дитем, присматривала за Сайчиком: и лечила, и кормила, и обмывала.

Из членов горкома оставался на свободе только Хмелевский. Он целую неделю провел в подвале одного дома на Сторожевке. Лютый голод мучил тело. Нестерпимая боль рвала душу.

Выходить из подвала было опасно. Осторожно высовываясь и заглядывая на улицу, Костя видел, что там полно гестаповцев. Можно было бы попробовать выбраться ночью. Но куда кинешься, если на каждом шагу патрули?

Был еще один выход — задворками проползти за город, а там — в партизанский отряд. Пароли он знал, да и его в партизанских бригадах хорошо знали. Но как идти туда одному? Кто поверит, что Костя пришел с чистой душой, если все остальные члены горкома и партийные активисты схвачены гестаповцами? У партизан возникнет законное подозрение...

Да и что скажет он товарищам о судьбе остальных подпольщиков? Нет, лучше умереть от рук врага.

Однако так продолжаться больше не могло. Нужно было действовать. Худой как скелет, обросший рыжей щетиной, с глазами, пылавшими решимостью, Хмелевский вышел из подвала и, оглядываясь по сторонам, хотел нырнуть в ближайшие руины. К несчастью, его заметили трое гестаповцев и бросились в погоню. Костя выхватил пистолет из кармана и три раза выстрелил. Два гестаповца полетели кувырком, третий метнулся в сторону. Но сзади чья-то рука неожиданно схватила Хмелевского за горло. Изо всех сил он рванулся и выскользнул. И тут же на него навалилось сразу несколько гестаповцев, скрутили руки, ноги, прижали к земле. Те двое, которые упали от первых выстрелов, стонали и звали на помощь. Быстро подъехал «черный ворон», и Хмелевского, который отбивался связанными ногами, волоком затащили в кузов. Машина взревела и взяла направление к зданию СД.

Правда, при встрече с Рудзянкой шеф ругался:

— Дураки из СД поторопились взять Хмелевского. Мы думали пустить за ним следом своего агента. Сколько подпольщиков можно было бы выявить через него! А они испортили все дело.

Абверовцу было отчего нервничать. Он чувствовал, что схвачены не все подпольщики. И скоро эта догадка подтвердилась. Подполье жило и действовало.

В середине октября 1942 года Владимир Казаченок пришел к Хасену Александровичу.

— Дело есть, Хасен, пойдем.

Александрович не стал спрашивать — куда и зачем. Оделся, и они молча пошли на Старовиленскую улицу. Около дома номер 26 остановились, Казаченок осмотрелся.

— Все в порядке, зайдем.

Они очутились у Павла Ляховского. Кроме хозяина и хозяйки Прасковьи Александровны тут был еще один незнакомый Александровичу человек.

— Знакомьтесь, — сказал Казаченок. — Это Петро Калейников, механик гарнизонной бани. У нас общее дело... Есть предложение немедленно выпустить листовку за подписью Минского горкома партии. Время тяжелое, горком разгромлен, и у населения может создаться паническое настроение. Мы обязаны поднять дух советских людей. Кроме того, если выйдет листовка за подписью Минского горкома партии, гестаповцы могут подумать, что арестованные не имеют отношения к подполью. Таким образом мы облегчим судьбу своих товарищей. Да и у самих арестованных поднимется настроение. Одним словом, листовка очень нужна, и наша задача — как можно быстрее выпустить ее.

— А как ты мыслишь сделать это?

— Вот для этого мы и собрались, чтобы совместно обсудить все. Подвал гарнизонной бани — место очень удобное. Около бани всегда толчется много людей, шум, грохот. Там можно оборудовать типографию. Петро согласен и поможет нам. Остальное — наше дело. Давай сегодня перенесем туда шрифты. Они уже в подвале третьего Дома Советов на улице Горького, недалеко от бани. Я принес их от Яди Савицкой.

— Ну, так дело решено. Начнем.

Казаченок и Александрович перенесли типографию из третьего Дома Советов на Нижний рынок, в подвал гарнизонной бани. Александрович начал разбирать ссыпанные в беспорядке шрифты, и выяснилось, что многого не хватает: и некоторых букв, и верстатки, и бумаги, и краски.

— Что будем делать? — спросил Хасен Казаченка.

— Что-то надо делать. Посоветуюсь с Жаном.

Через Викторию Рубец Казаченок вызвал Жана на явку в квартиру Павла Ляховского. Встреча была короткой. Договорились собраться здесь же на другой день и обсудить текст листовки.

Во время следующей встречи, прочитав написанное Казаченком, Жан обрадовался:

— Вот это штука! Ну и пилюлю подсунем мы фашистам! Молодец, Володя, ей-богу, ты здорово написал!

— Да, только печатать нечем.

— Как нечем? Чего у вас не хватает?

— Да много чего.

— А, ерунда! Все обтяпаем. Пошли.

— Куда?

— Говорю, пошли! За материалами.

Подхватив Володю под руку, потянул в Водопроводный переулок. Во дворе небольшого деревянного домика подошли к женщине, занятой хозяйственными делами, и поздоровались.

— Леня дома? — спросил Жан.

— Заходите.

Леня оказался еще молодым разбитным парнем с руками, пропитанными типографской краской. Не откладывая дела в долгий ящик, Жан спросил у него:

— Ты сможешь сегодня достать несколько букв этому товарищу?

— Ишь какой быстрый, — возразил Леня. — Я ведь только что с работы. Вернешься сейчас в типографию — заподозрят. Придется подождать до завтра. А что вам надо?

— «Б», «у», «э», — начал перечислять Володя. — Ну, и пробельный материал.

— Хорошо, все будет, только приходите завтра после работы.

Так был решен вопрос со шрифтами. А тут новая беда: принесли банку краски, а в ней оказался песок. Во время сентябрьских арестов жена Александровича закопала банку в землю, но неплотно закрыла крышку, и земля насыпалась в краску. Что делать?

Опять пришлось вызывать Жана. Казаченок взволнованно рассказал о новой неприятности.

— Ничего, — успокоил Жан. — И это дело поправимое. Занимайся листовкой, а остальное я возьму на себя. Может, еще что нужно, выкладывай сразу, чтобы несколько раз не ходить.

Казаченок добавил, что и валика еще нет и бумаги.

— Все будет, — уверенно сказал Жан, — Все! Приходи завтра на Сторожевское кладбище.

На следующий день Жан передал Казаченку краску и валик, а за бумагой велел прийти на Татарский мост, в другой конец города. Видно, не в одном месте собирал типографские материалы.

Точно в назначенный час Казаченок спустился по крутой улице к мосту. Буквально через минуту там очутился и Жан с огромным свертком. Высокий, широкоплечий, могучий, он держал свою ношу, будто игрушку, — легко, без напряжения. Когда поравнялся, на одно мгновение остановился.

— Держи, да крепче. Тяжелая бумага!

Владимир, взяв сверток, чуть не присел от тяжести.

— Веселей! — подмигнул Жан и тихо пошел дальше.

Взяв ношу половчей, Владимир двинулся через мост. Спустя минуту сзади заурчала машина.

Казаченок оглянулся, и в груди у него похолодело: прямо на него ехали гестаповцы. Быстро отойдя в сторону, он прислонил свой сверток к решетке моста.

Бывают мгновения, которые кажутся годами. Они остаются в памяти на всю жизнь. Такое мгновение пережил Казаченок, стоя тогда на мосту. Смерть приближалась быстро и неумолимо. Но в сердце еще тлела надежда: а может, пронесет, не зацепит?

В открытой машине сидели офицеры СД. Один из них бросил холодный взгляд на Казаченка.

Оглянувшись, Владимир увидел, что Жан тоже остановился и держит руку в кармане. На всякий случай поддержка гарантирована — Жан не бросит товарища в беде. Это придало силы. Владимир принял вид человека, которому нет никакого дела ни до машины, ни до гестаповцев, ни до всего окружающего. Он занялся своим свертком.

Однако машина не остановилась, промчалась мимо. Когда она, надрывно завывая, полезла в гору, у Казаченка вырвался глубокий вздох облегчения. Еще несколько минут он стоял на месте с

похолодевшими руками.

Весело улыбаясь, к нему приблизился Жан и по-дружески обнял за плечи:

— Молодец, Володя, хорошо держался! Желаю успеха. Завтра увидимся.

И пошел своей дорогой. А Казаченок понес бумагу в подвал гарнизонной бани, где Александрович уже набирал текст написанной Володей листовки: «Смерть немецким оккупантам!

К населению Белоруссии.

Товарищи!

Немецкий фашизм — этот смертельный враг всего прогрессивного человечества — находится на краю гибели.

Предчувствуя неизбежную и близкую катастрофу, неся огромные потери от могучих ударов Красной Армии на всех фронтах Великой Отечественной войны, деморализованная все более и более возрастающим партизанским движением, озверелая банда гитлеровских головорезов снова направила свою звериную злобу против мирного населения Белоруссии. Снова кроважидное гестапо, через своих цепных собак — провокаторов, стремится арестами, расстрелами, виселицами внести в наши ряды отчаяние и замешательство. Хищные звери — гестаповцы по приказу своего главного душителя и убийцы Гитлера думают затопить в крови могучее народное движение, рожденное местью и ненавистью к угнетателям нашей Родины.

Но не выйдет! Ужасная фашистская гадина скорей захлебнется своей собственной кровью. Ей никогда не удастся сломить боевой дух белорусского народа. На террор мы ответим террором. Мы будем уничтожать врага повсюду, где бы его ни встретили, пока не забьем осиновый кол в могилу последнего гитлеровского негодяя.

Белорусский народ ответит на этот террор новым пополнением армии партизан.

Пусть помнят фашистские разбойники, что за кровь лучших сынов белорусского народа они заплатят сотнями и тысячами своих поганых душ. Организацией массовых крушений военных эшелонов, поджогами складов и мостов ответим мы на кровавый террор гестаповцев.

...Так к оружию, товарищи!

Помогайте уничтожать фашистскую погань!

Скоро Красная Армия вместе с армиями свободолюбивых государств сокрушительным ударом уничтожит гитлеровские орды и освободит вас от тирании Гитлера.

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствуют народные герои — славные красные партизаны и партизанки!

Да здравствует победа!

Минский комитет КП(б) и командование Н-ской партизанской бригады.

Минск 18.X.42 г.».

К утру Александрович напечатал тысячу экземпляров листовок. Два дня Жан разносил их по квартирам подпольщиков, каждому говорил:

— Расклеить и разбросать листовки в девятнадцать часов тридцать минут двадцать третьего октября.

Не раньше и не позже. И как можно больше — в людных местах.

Двадцать третьего октября в семь часов тридцать минут вечера, как только стемнело, на стенах домов, на телеграфных столбах, на досках объявлений, даже на дверях полицейских участков и комендатур, в кинотеатрах забелели листовки. Вечером никто не обратил на них внимания, а утром

люди читали пламенные слова подпольщиков и тихонько разговаривали между собой:

— Вот и хвалились немцы, что всех выловили... Но где же они всех выловят!.. Город же большой!.. За день до этого из леса пришла к Жану связная Зина (Дина Мадейскер).

— У меня есть люди, которых обязательно надо переправить в партизанский отряд, — сказал Жан.

— Им угрожает опасность.

— А сам пойдешь?

— Нет, останусь еще. Дела есть.

— А разве тебе не грозит опасность?

— Не об этом речь... Еще раз говорю, дела неотложные есть. Нельзя же покидать подполье в такое ответственное время. Листовки надо расклеить, шрифты спрятать более надежно, добыть медикаментов. Может быть, удастся наладить связь с арестованными членами комитета. И еще одно дело... Я думаю вывести из лагеря военнопленных группу командиров Красной Армии. Одним словом, мне нужно еще задержаться.

— Делай как лучше. Своих людей готовь на двадцать третье. У меня тут тоже кое-какие дела есть, дня на три хватит.

Сразу же после этого разговора Жан пошел к Деду.

Ни самого Толика Большого, ни Виктории Рубец на квартире не было. Старик лежал на кровати.

— Привет, Дед! — весело крикнул Жан. — Ну, как себя чувствуешь?

— Ничего... Хоть со скрипом, но дышу.

— Как ты смотришь на то, чтобы выбраться в лес?

Старик еще живее зашевелил белыми метелками усов и довольно ответил:

— Это было бы очень хорошо. Но есть ли связные?

— Ты же должен знать — у нас все есть...

— Хвалюшка ты...

— Совсем нет. Связная Зина пришла от «Дяди Коли». Она согласна забрать тебя и еще кое-кого.

— Ну, это хорошо. Из леса и через линию фронта пробраться легче. Когда нужно отправляться?

— Двадцать третьего. А ты достаточно подремонтировался? Сможешь идти?

— Да уж Витя старается... Она лучше любого доктора лечит. Золотые руки у женщины.

— Да, руки золотые...

— Трудно тут будет ей. Мало наших остается.

— Это ничего. Сейчас мало — будет больше. Так собирайся, Дед. До свидания!

Потом Жан разыскал Казаченка и тоже предупредил его, что и он должен оставить город.

С уходом Сайчика Виктории Рубец действительно стало тяжело. Поведение Анатоля Филипенка было подозрительным. То он хвастал, что создается новый подпольный центр, то расспрашивал о подпольщиках, которых он не знал, но о существовании которых слышал от других. Витя ничего не говорила ему, уверяла, что никого, кроме него, из подпольщиков не осталось, что все, кто не был арестован, в том числе и Жан, укрылись в лесу, в партизанском отряде. А в добавление ко всему пришла невеселая весть. Сестра Мария Федоровна прибежала к Виктории в больницу и сообщила, что арестовали Ивана Козлова. Некоторое время он скрывался у знакомых на улице Кропоткина. Потом выяснилось, что нужно оттуда уходить — в доме сидел шпик. Пришлось вернуться к Марии Федоровне, хотя ясно было, что здесь ему нельзя долго задерживаться.

Проглотив несколько ложек баланды, заторопился:

— Ну, я пошел!

— Куда?

— Скоро приду.

Но вернулся только в десять часов вечера. Весь день пробыл у Аллы Сидорович.

А в шесть часов утра под окном загудела машина и остановилась. Потом скрипнула калитка и послышался сильный стук в дверь. Не успела Мария Федоровна одеться, как сорванная с петель дверь уже лежала на полу и в квартиру ворвалась банда гестаповцев. Один из них — в маске.

— Где ваш квартирант? — спросил он у хозяйки.

Побледневшая Мария Федоровна пробормотала что-то неопределенное. Провокатор в маске, не дожидаясь ее дальнейших объяснений, бросился в комнату, где спал сын Марии Федоровны, и осветил фонарем его лицо.

— Нет, это не тот, — сказал нарочито измененным голосом провокатор, чтобы его не узнала Мария Федоровна.

Оттуда побежал в комнату Ивана. Козлов успел уже одеться. Он стоял около постели, застегивая пуговицы.

— Этот, — показал на него человек в маске.

Самый дюжий гестаповец приблизился к Ивану и изо всей силы ударил его кулаком в висок. Иван пошатнулся и опустился на пол. Тогда гестаповцы стали топтать его ногами, стараясь ударить каблуком по лицу. Били долго, с наслаждением, озверело.

Выслушав рассказ сестры, Виктория сказала:

— Я тоже фактически арестованная. Вчера пришел Толик Большой и сказал, что из Москвы прибыла десантная группа. Говорит, собираются наградить товарищей, которые остались еще на свободе. Я не хотела идти на встречу с этими десантниками — чуяло мое сердце недоброе. Но Толик заставил идти, даже угрожал мне, если не пойду. Очутившись в незнакомой квартире на Комаровке, я увидела троих, якобы русских. Только было у них что-то нерусское, но что — я и сама не могла определить. Аргументация в их разговоре какая-то странная. Предложили создать новый подпольный комитет из числа оставшихся на свободе.

Я сказала, что не знаю, кто остался на свободе. Тогда Толик начал называть клички тех, кто пошел в партизанские отряды и кто арестован. Всех по порядку. Я под столом наступила ему на ногу: мол, что ты делаешь, негодяй! А он так злобно ощерился: «Зачем затираешь людей? Их же наградить нужно!»

Передо мной положили чистый лист бумаги, карандаш и настойчиво предложили: «Пиши всех, кого знаешь!»

«Никого я не знаю, — ответила я. — Осталась одна. Никакой связи ни с кем не имею».

Они и просили, и требовали, и угрожали, но я не написала ни одной буквы.

«Хорошо, иди подумай, а завтра скажешь обязательно», — проговорил один из них, видимо старший.

Когда мы вышли, я и спрашиваю Анатоля: «Разве ты не видишь, что это переодетые гестаповцы?»

А он отвечает: «Зачем так говорить? Я сам проверял их документы. Это московская десантная группа». Тогда я убедилась окончательно, что Филипенко — провокатор. Но было поздно. Они и ко

мне гестаповца приставили. Осторожно посмотри направо, в углу сидит носатый тип. Это он...

— Попробуй убежать, — посоветовала Мария Федоровна.

— Ничего не выйдет. Смотри, как глазами стрижет... За каждым движением следит. Теперь ты иди, пока не поздно, пока он один здесь сидит, а то и к тебе прицепится.

Они обнялись на прощанье, наверняка зная, что это их последнее в жизни объятие.

А через два часа в больницу пришла группа гестаповцев. Они забрали Викторину и повели на квартиру. Шли уверенно, хорошо зная, где кто живет и где что лежит.

Обыск начали с комнаты Вити. Старший гестаповец сразу же направился к кровати и отбросил подушку. Под подушкой лежал новенький пистолет «ТТ».

От удивления Витя даже онемела. Она смотрела на пистолет и не верила своим глазам. За все время, пока она жила в этой квартире, пистолета у нее в руках ни разу не было. Это дело Анатоля Филипенка, ведь никто, кроме него и нее, не имел ключа от квартиры.

— Ну, Виктория Рубец, как это называется? — насмешливо спросил гестаповец, показывая на пистолет. — Бандитизм? Партизанщина?

— Нет, мерзкая провокация, — ответила она.

— Может быть, вы скажете, что под подушкой лежала детская игрушка?

— Под подушкой лежал пистолет, — сурово ответила Витя. — Но положил его туда негодяй с провокационными целями. И как вам не стыдно пользоваться услугами таких мерзавцев, как Филипенки?!

— Мы пользуемся услугами всех, кто нам помогает. И это вас не касается. Давайте посмотрим, что еще есть в вашей постели.

Он откинул одеяло — под ним белела куча листовок.

— Ого, здесь и пропаганда есть!.. — ехидно сказал гестаповец. — Пани имеет много квалификаций...

— Я не удивлюсь, если вы сейчас под матрацем слона найдете. Живого... — в тон ему ответила Витя.

— Это зависит от того, что вы приказали своему холую Филипенку подложить сюда.

Гестаповцы ничего больше не нашли и повели Витю в СД.

До 30 октября Жан закончил все свои первоочередные дела: вывел из лагеря группу военнопленных советских офицеров, собрал медикаменты и новые сведения о размещении военных частей и штабов в городе, перепрятал подпольную типографию и только после этого пошел в партизанский отряд «Дяди Коли».

В отряде он пробыл до половины декабря. Связные, по-прежнему регулярно ходившие в город, сообщили, что аресты закончились, гестаповцы ведут следствие.

— Нужно возвращаться в город, — решил Жан и сказал об этом командованию отряда. — Там теперь работы непочатый край.

Горком в Минске перестал существовать. Да и восстанавливать его в городе не было смысла. Дело в том, что фашисты досконально изучили методы работы подпольщиков, подготовили провокаторов и шпионов, усилили террор. Концентрировать в таких условиях все руководство подпольем города в одних руках, да еще оставаться горкому в самом городе было очень рискованно и нецелесообразно. Это понимали многие подпольщики. Они перестали держать старые связи, отдавая все внимание оказанию помощи партизанским отрядам.

В результате своей предыдущей работы горком партии создал вокруг Минска много партизанских

отрядов, которые потом объединялись в бригады. Партизанская армия стала могучей силой. Бригады имели хорошие базы в лесах и населенных пунктах вблизи от города.

Теперь руководство подпольем можно было перенести в партизанские бригады, чтобы каждая из них имела свои явочные квартиры и своих старательно законспирированных людей в городе.

Позже, осенью 1943 года, в лесу, к югу от Минска, был создан Минский горком партии, опиравшийся в своей работе на партизанский отряд С. А. Ваупшасова (Градова). Через связных этой бригады проводили разведку, организовывали диверсии, распространяли листовки и газеты среди городского населения.

Жан был осторожен. Он избегал встреч с Филипенком и Рудзянкой, подозревая их в измене. Теперь он имел дело главным образом с теми, кто раньше помогал подполью, однако не проявлял особой активности, чтобы не привлекать внимания провокаторов.

Жил он преимущественно у Марии Евдокимовой, в Пушкинском поселке, но время от времени ночевал то у Марии Долголантьевой, то у Александры Янулис на Подлесной улице, то приходил на Революционную улицу, где у него еще раньше была квартира.

Встретив на улице, его не узнавали даже хорошие знакомые. В одном районе он появлялся в виде пожилого, немного сгорбленного человека в неизменном черном кожухе и поношенной шапке-ушанке, в другом — интеллигентно одетым, статным, еще молодым человеком в демисезонном пальто, шляпе и темных очках, с золотой коронкой во рту. Самые пронырливые гестаповские шпики не могли напасть на его след, хотя они и чувствовали, что Жан где-то здесь. По-прежнему таинственно исчезали из лагеря военнопленные и на улицах появлялись листовки, напечатанные в лесу.

Некоторое время спустя произошли такие события, которые подняли на ноги все СД и полицию. Как-то Жан встретился с Толиком Маленьким (Левковым). Нетерпеливый, всегда готовый на любое задание, Толик пообещал Жану достать оружие.

— А как ты мыслишь сделать это? — спросил Жан.

— Выследить где-нибудь в укромном местечке и «занять».

— Только место выбирай поудобней.

— А я уже выбрал. На улице Кирова. По ней часто прогуливаются офицеры, по дороге в офицергайм, что в здании бывшего Дома Красной Армии. Там я и думаю подцепить хоть одного.

— Что ж, давай попробуем. Может, еще кого-нибудь взять на помощь? Хоть за сторожевого на всякий случай...

— Я поговорю с Гвидой. Он согласится.

Гвида — сын Марии Петровны Евдокимовой. Он всегда с завистью смотрел на Жана, во всем брал с него пример и готов был по одному слову старшего товарища броситься в огонь и воду. Стоило Жану сказать, что он берет с собой Гвиду на охоту, как тот даже покраснел от радости и удовольствия.

Разработали подробный план операции. Все трое будут ждать в руинах около стадиона «Динамо». Как только увидят фашистского офицера, Жан и Толик пойдут ему навстречу, а Гвида останется на месте и будет внимательно следить за улицей, чтобы дать сигнал, когда нужно. Все остальное будет зависеть от обстоятельств.

Ждали недолго. Со стороны библиотеки неторопливо шагал гитлеровец. Еще издали можно было

заметить, что это офицер. Он не озирался по сторонам. Для него вообще ничего не существовало.

Наконец хлопцы услышали скрип свежего снега под каблуками.

Гвида бросился в руины домов на углу Комсомольской и улицы Кирова, выбрал там удобное место и, как встревоженная птица из гнезда, поглядывал во все стороны. В любой момент он был готов подать сигнал тревоги.

А Жан с Толиком стояли на улице и делали вид, что оживленно о чем-то спорят, ни на секунду не выпуская офицера из поля зрения.

Гитлеровец шел, высоко подняв голову, как бы демонстрируя свое величие и превосходство. Люди, стоявшие на дороге, были для него пустым местом, и он смотрел на них так, словно собирался подмять их под себя. Жан стал направо от офицера, Толик — налево. Даже в этот момент фашист не повернул головы, не посмотрел на них. Его внимание не привлекло и то, что Жан держал руки в карманах и пристально, не мигая, смотрел на него, как орел глядит на свою жертву.

Зондерфюрер был уверен, что с ним ничего плохого не может случиться на улице оккупированного города. Он был глубоко уверен в этом, пока не увидел перед своим носом блеск финского ножа и не почувствовал, как каленая сталь обожгла ему бок. Широко раскрыв рот, хотел вскрикнуть, но было поздно.

Схватив офицера за плечи и заткнув ему горло тряпкой, Жан потащил его в руины стадиона.

Помогал Толик.

Все это произошло так быстро, что Гвида не успел и оглянуться по сторонам. Улица оставалась пустой.

Нигде ни души. В воздухе почти неподвижно висели сказочные красивые снежинки.

Укрывшись за холмами руин, Жан обыскал карманы зондерфюрера. Вытащил документы, фотокарточки. Потом снял кобуру. На пистолете заметил золотую планку с надписью.

— Что тут написано, прочитай, — попросил он Толика, который умел немного читать по-немецки.

— Ты знаешь, какой зверь нам попался? Тут написано, что сам Гитлер дарит пистолет зондерфюреру за безукоризненную службу великой Германии.

— Ого! Давай сюда! Вот так память будет!

Взрослый человек, не раз смотревший смерти в глаза, забавлялся пистолетом, будто ребенок красивой игрушкой.

Но быстро спохватился и, показывая на труп, приказал:

— Давай засыплем снегом!

Когда над зондерфюрером вырос порядочный сугроб, хлопцы заторопились каждый в свою сторону. Гвида тоже покинул свой пост и пошел домой.

В тот же день, захватив с собой документы зондерфюрера, Толик направился в партизанский отряд. Вернулся он в город только через полмесяца, в начале 1943 года. Комиссар отряда Никита Турков послал его к Рудзянке с приказом сжечь войлочную фабрику. Для этой цели Толик принес с собой гри термитные шашки. Кроме того, Турков потребовал от Рудзянки регулярно передавать сведения о движении поездов через Минск.

От новых приказов Туркова Рудзянка уклонялся как мог. И выполнять не хотелось, и не выполнять нельзя. Это была та сторона его деятельности, которую он старательно скрывал от своих хозяев.

Если бы фашисты дознались о его связях с партизанами, которые он утаивал, — не миновать бы ему

виселицы, несмотря ни на какие заслуги перед гитлеровцами. Но и отказаться от помощи партизанам — значило подставить себя под пулю или нож подпольщика. Какая смерть лучше?

Разгром подпольного горкома не освободил предателя от этого вопроса. Нужно было по-прежнему извиваться змеей, служить обеим сторонам, которые для него были одинаково страшными.

Оставим на время тех, кто остался на свободе, и посмотрим, что же происходило в тюрьме и СД.

В большом зале бывшего здания института народного хозяйства неподвижно стоял лицом к стене Ковалев. Шагах в пяти-шести от него — Шугаев и Богданов. А перед глазами — серая, в грязных подтеках стена. От слабости кружилась голова.

Страшно было думать, что попали они в СД потому, что изменил один из подпольщиков — Суслик. Знали они его как активного и честного работника, но мало кому было известно, что он слишком уж любил чарку. Правда, на глаза своим товарищам по подполью пьяным Суслик не попадался. Однако при случае он мог нализаться так, что еле ноги держали.

Подпольщики не учитывали этой слабости Суслика и поручали ему ответственные дела. Он многое знал, что следовало знать только очень надежным людям.

Накануне ареста Суслик вернулся с берега озера Палик, из партизанской бригады, куда он носил очень ценные сведения о враге, добытые подпольщиками. В отряде ждали очередную группу военнопленных. Обо всем этом Суслик при встрече сообщил Ковалеву и Шугаеву. Все трое договорились на другой день встретиться у Богданова и обсудить детали отправки людей в лес.

После этого Суслик зашел в закусную и так напился, что даже начал целоваться с агентом шцуполиции. Расчувствовавшись, он по секрету признался шпику, что он и есть тот самый подпольщик, за голову которого фашисты обещают дорогую плату. Из закусной Суслика сразу потащили в шцуполицию, а оттуда в СД.

Били его недолго. Уже через каких-нибудь полчаса, раскисший, растирая окровавленное лицо, он начал называть имена членов комитета, активистов-подпольщиков и явочные квартиры. Тут же он выдал и Ковалева, его клички, сказал, где можно найти секретаря горкома.

Это был самый тяжелый удар по горкому.

Суслика под страхом смерти принудили водить гестаповцев по городу, показывать подпольщиков и их явки.

В день ареста Ковалев вместе с Шугаевым и Богдановым обходили явочные квартиры, чтобы предупредить подпольщиков о провале. Одновременно готовили отставку большой группы минчан в партизаны. Проголодавшись, они решили зайти к Богданову позавтракать. Домик, огороженный штaketником, стоял на Комаровке. Два окна выходили на улицу, одно — во двор. На окнах — занавески. По договоренности, в случае опасности отец Богданова должен выйти во двор и рубить дрова. На этот раз во дворе никого не было, и хозяин пригласил Ковалева и Шугаева в дом.

На скамейке возле стола они увидели Суслика. Он сидел, понуро опустив голову. С обеих сторон скамейки стояли незнакомые в штатской одежде. Как только подпольщики переступили порог, сзади у них раздался приказ:

— Ни с места! Руки вверх!

Пришлось поднять руки. Те, что стояли рядом с Сусликом, подбежали и начали старательно обшаривать арестованных. Вытащили из карманов все, что там было. О побеге или сопротивлении нечего было и думать. Суслик сидел молча, опустив глаза.

— Кто такие? — обратился к нему гестаповец, показывая на арестованных.

— Ковалев, Шугаев, Богданов...

— Негодяй! — вырвалось у Ковалева. — Слизняк! Гнусный слизняк!

— Подожди, и ты слизняком станешь... — будто в оправдание отозвался Суслик.

Арестованных заковали в кандалы и повели. На перекрестке их ждали гестаповские машины.

Вот так и очутились они в лапах СД, в этих мрачных и сырых комнатах, на стенах которых виднелись пятна человеческой крови.

Нестерпимая обида обжигала сердце. Как это они раньше не разглядели Суслика, не разгадали его трусливую, мелкую душонку? И какие же они были доверчивые... Во всех совещаниях комитета участвовал этот слабовольный человек... Всех ли он выдал? Может, кто-нибудь еще остался на свободе, чтобы продолжать партийное дело?

Пока не выяснится вся картина предательства, Ковалев решил ничего не признавать, от всего отказываться. Не торопились и гестаповцы. Они надеялись такой же легкой ценой добыть показания и от Ковалева. И он, страдая от бессилия, стоял возле холодной стены. За спиной менялись постовые. Стучала пишущая машинка. Ковалев временами видел, как через зал, подняв воротники, надвинув на глаза шляпы или шапки, шмыгали какие-то типы. Гестаповцы подготовили из числа предателей и разных преступников свору своих шпииков. Предатели Родины, для которых не существовало ничего святого, кроме денег, преданно служили своим хозяевам, за ничтожные марки продавая честных людей. Когда такой негодяй пробегал мимо, на душе становилось еще более горько.

Подкашивались усталые ноги. Пятна на стене то исчезали, расплываясь, то снова возникали перед глазами. Ковалев попробовал пошевелиться, изменить позу, но получил удар прикладом автомата и, сдерживая себя, застыл, зажмурил глаза.

Тогда в памяти снова вставала картина ареста, и сердце загоралось ненавистью и презрением к предателям.

Только ночью повели на допрос в соседнюю комнату. Допрашивал следователь СД Фройлик. Это был опытный фашистский контрразведчик. Он умел вытянуть из человека показания, дознаться даже о том, что человек прячет от самого себя.

— Ну, Ковалев, познакомимся. Твое настоящее имя и отчество — Иван Кириллович. Клички твои — Невский, Стрельский, Иван Гаврилович. Правильно?

Ковалев молчал.

— Ты до прихода сюда доблестной германской армии был секретарем Заславской коммунистической организации. Правильно?

Снова молчание.

— Ты что — от страха язык проглотил? Или, может быть, нужно его промассажировать? Мы это умеем хорошо делать...

— Не были бы вы гестаповцы, если бы не умели пытаться.

В одно мгновение кулак следователя врезался в правую щеку Ковалева. Тот пошатнулся. Вскоре сильный удар в затылок отбросил его к столу. Затем снова удар, и снова Ковалев отшатнулся к стене.

Откуда-то, будто из-под земли, выросли еще четыре гестаповца. Они окружили арестованного и били, не давая ему упасть на пол. Били долго, пока он не потерял сознания.

Это был не допрос. Его только истязали, не задавая вопросов. Очнулся после того, как его облили

холодной водой. Поднял голову и мутными глазами огляделся. Из-за стола донеслось ласковое, вкрадчивое:

— А, пан секретарь изволил очнуться... Приятно, очень приятно... Может быть, пану хочется холодного кваса на похмелье?

Ковалев глянул на Фройлика, и тому страшно сделалось от этого взгляда. Однако следователь вышел из-за стола и, немного покачиваясь, будто пританцовывая, подал Ковалеву кружку. Все так же не отрывая глаз от следователя, Ковалев протянул слабую, дрожащую руку, взял кружку и сделал два-три жадных глотка, но сразу же выплюнул: вода была горько-соленая.

— Пей, говорю, а то силой вольем через нос, и не воды, а керосину вольем...

Собравшись с силами, Ковалев швырнул кружку в лицо следователя. Умудренный большим опытом, заранее готовый ко всему, Фройлик вовремя отшатнулся, и кружка пролетела мимо, брякнув о пол. В тот же миг в комнату вбежали гестаповцы и начали месить Ковалева ногами. Несколько часов пролежал он в беспомощности. В таком состоянии его бросили в подвал, где находились камеры для тех, кто был под следствием.

Так началось первое личное знакомство Ковалева с гестаповцами.

Потом пошли ежедневные допросы и очные ставки. Через неделю Ковалеву стало ясно, что подпольная организация понесла огромные потери. Предатель выдал десятки активных подпольщиков. Много рассказал он и о деятельности комитета.

Но Ковалев верил, надеялся, что не все пропало, что не обо всех и не про все знают гестаповцы. Не может быть, чтобы кто-нибудь не спасся... Это поддерживало, утешало.

Радовало и то, что товарищи в основном держатся мужественно. На очных ставках все, что только могут, — отрицают.

Еще перед арестом Ковалев носил бородку, а пока держали в СД — и совсем зарос. Голод и пытки вымотали все силы. В глазах не было уже прежнего живого блеска. Всклоченные волосы, порванный рукав пиджака, посиневшее от побоев тело, выглядывавшее сквозь дыры в одежде, — все говорило о том, что перенес Ковалёв в застенках гестапо.

В кабинете следователя Ковалев увидел высокого, дюжего мужчину, который глянул на него из-под нахмуренных бровей и отвернулся. Иван Гаврилович сразу узнал его: это был инженер из «Торфоцентрали» Георгий Павлович Сапун.

Несколько раз Ковалев был на квартире у Сапуна. Сразу же после первого знакомства он предложил Сапуну раздобыть карту города Минска, а еще лучше — несколько карт, — и нанести на них военные объекты. Сапун сразу же принял поручение и точно выполнил его. Иван Гаврилович не раз мысленно говорил себе: побольше бы таких скромных, самоотверженных работников, как Сапун, — большие дела можно было бы делать в городе.

Сапун никогда не лез на первый план, держался незаметно, но не было такого задания, от которого он отказался бы или которое не выполнил бы. О его участии в подполье знали немногие.

Однако гестаповцы добрались и до таких старательно законспирированных работников. Видно, кто-то не выдержал и случайно назвал его фамилию.

По тому, как держался Сапун, можно было заключить, что он не признает своего участия в подполье.

— Знаешь этого? — показал Фройлик на Ковалева.

— Нет, не знаю.

— А ты его знаешь? — обратился он к Ковалеву.

Ковалев почувствовал, что Сапуна, видимо, только что арестовали. Однако за время, которое он просидел здесь, понял, что, если они устроили очную ставку, значит, для этого были какие-то основания. Поэтому, немного подумав, сказал:

— Где-то встречались. А где — не помню. Может быть, на улице. Лицо приметное... Может быть, в очереди какой...

— Ты не плети сказки, а дело говори: где вы встречались?

— Я ведь говорю, что не знаю. Если бы знал, сказал бы.

После такого ответа и Сапун уже растерянно смотрел на Ковалева: признавать или нет? Эту растерянность Иван Гаврилович уловил сразу.

По всему видно было — Георгий Павлович ждал сигнала. Ковалев незаметным кивком головы дал понять, что полностью отрицать знакомство нельзя.

— Знаешь его? — спросил следователь Сапуна.

— Да, знаю.

— Откуда?

— Как-то приходил ко мне.

— Зачем?

— В карты играли, по чарке выпили...

— Меня не интересует, выпивали вы или нет. О чем разговаривали?

— О разных мелочах... О ценах на продукты да о том, где и что можно подешевле купить.

— Как его фамилия?

— Не знаю. Зовут его Иваном Гавриловичем. А фамилии своей он не называл, а я не выпрашивал.

— А ты его знаешь? — обратился Фройлик к Ковалеву.

— Знаю. Был раза два или три у него. Заходил выпить чарку или просто перекусить. У него всегда было чего поесть...

— С кем приходил к Сапуну?

— Нас познакомил Короткевич.

— А на заседаниях комитета Сапун присутствовал?

— Нет, ничего о комитете ему не говорили.

— Почему это?

— Не считали нужным.

Плеть свистнула над головой Ковалева и обвила его плечи.

— Подожди, ты еще обо всем расскажешь, свинья, — выругался следователь и вызвал конвоиров. — Вывести его! — И крикнул вслед: — Бандит!

Сапун остался в кабинете один. Он был ошеломлен, растерян, угнетен. Очная ставка с секретарем горкома, допрос, из которого видно было, что гестаповцы знают, кто такой Ковалев, — все это поразило его. Еще более поразил вид Ивана Гавриловича — когда-то здорового, мужественного, веселого человека. Он словно сгорел. Только голос остался прежний — твердый, решительный, уверенный. Значит, еще держится, еще не сдался.

Следователь не дал Сапуну долго раздумывать. Отворилась дверь, и конвоиры втолкнули в комнату Змитрока Короткевича.

Еще два дня назад Сапун и Короткевич виделись на свободе и обсуждали дела подполья. Никто из них не думал тогда, что следующая встреча произойдет здесь, в СД.

Держался Дима бодро, уверенно, с вызовом смотрел следователю в глаза. Одежда его была помята, голова совсем облысела, широкий лоб покрылся множеством морщинок. Только серые глаза светились ярче прежнего. Они горели каким-то несвойственным прежде ему огнем.

Скрывать то, что Сапун и Короткевич знали друг друга еще до войны по совместной работе, не было нужды. Да и зачем скрывать, если это никоим образом не повредит делу. «А вот в главном нужно оставаться твердым — не признавать ничего», — думал Сапун.

— Знакомы? — спросил Фройлик.

— Знакомы, — ответил Короткевич. — Довольно давно.

И рассказал, где и когда они работали вместе.

— Ты мне не заливай. Знаешь, о чем я спрашиваю. В бандитский комитет Сапун входил?

— Нет.

— Врешь, собака!

— Ничего я не вру. Он не имел никакого отношения к комитету.

— Почему же вы с Ковалевым ничего не сказали ему о подпольном комитете?

— Это мое дело, кому что говорить!

Плеть свистнула в воздухе и опустилась на плечи Короткевича. Тот только немного пригнулся, но не сдвинулся с места. Фройлик еще и еще раз хлестнул Диму.

— Ты был бандитом, собака, и остаешься им! — ругался следователь.

А Короткевич молча смотрел на него и улыбался одними глазами.

— Инженер Сапун, кто вам приказал вернуться в Минск?

— Я всегда жил в Минске.

— Но вы же убегали из Минска.

— Все убегали от войны.

— А когда и где вы были комиссаром?

— Никаким комиссаром я нигде не был. Я инженер.

Действительно, здесь он не врал.

Первая очная ставка не дала следствию никаких результатов. Зато для себя Сапун сделал вывод: нужно держаться, ничего о подпольных делах не говорить.

Этому учил пример Короткевича, все существо которого, казалось, излучало беспредельную ненависть к фашизму.

Сапуна отправили в тюрьму и посадили в пятьдесят четвертую камеру.

Тюрьма как тюрьма: тесная камера, цементный пол, одна-две доски, которые служили кроватью.

Ночью — темнота, будто на дне колодца. Из каждого угла несло сыростью.

Соседями Сапуна были люди, далекие от политики, — поляк, который не знал, за что его арестовали, и какой-то вор. Потом подбросили одного военнопленного, убежавшего из лагеря и схваченного полицией. Одним словом, компания разношерстная. Только через неделю она пополнилась еще одним человеком, о котором стоит рассказать более подробно.

Это был небольшого роста, худой, с немного запрокинутой назад головой и застывшими, всегда широко открытыми глазами старый рабочий щеточно-веревочного комбината слепых Куликовский.

Так повелось, что все звали его только по фамилии, и имя этого человека не сохранилось в памяти. Как и все слепые, Куликовский ходил осторожной, кошачьей походкой. Он мог безошибочно передвигаться в темноте. Поняв, что в камере чрезвычайно тесно, Куликовский отказался лечь на место, отведенное ему.

— Спасибо, мои дорогие, за заботу, но не нужно... Я умею сладко спать сидя. И дома большей частью так отдыхаю... Привычка!

Арестованные удивились, но перечить не стали. А Куликовский, прислонившись спиной к стене, спустя некоторое время тихо посапывал. И во сне голова его была откинута назад, а не клонилась на плечо, как это обычно бывает у людей, когда они засыпают сидя.

Утром старик проснулся веселым, будто он провел ночь в светлой и чистой спальне.

— С добрым утречком вас, дороженькие, — приветствовал Куликовский присутствующих. —

Пусть для вас и в самом деле это утро и этот день будут добрыми...

Он сыпал поговорками, рассказывал разные веселые анекдоты. Каждое слово его товарищей по несчастью вызывало у него в памяти какую-нибудь историю, которую он где-то слышал или знал из книг. Незаметно переходил он с одной темы на другую, затем начинал читать наизусть поэмы Пушкина и Лермонтова, рассказы Гоголя, Чехова, Тургенева.

— Хотите, я прочитаю вам одну чудесную сказку? Горький ее написал...

— Прочитай, может, на душе легче станет, — попросили заключенные.

Неторопливо, будто ощупывая ногами незнакомую стежку, начал Куликовский читать по-русски «Макара Чудру». Перед его слушателями возникла волнующая картина: морской берег, ночь в степи, костер, пронизывающий своими языками густой мрак, и старый цыган Макар Чудра с огромной трубкой в зубах. Свобода, необъятный простор вокруг, ни конца ему, ни краю...

Куликовский читал выразительно, громко, вкладывая в слова какое-то свое, одному ему известное содержание.

Затаив дыхание, слушали заключенные рассказ о цыганке Радде и Лойко Зобаре, о необычайной их любви и о страстной, еще более сильной жажде свободы, которая дороже всего на свете.

Когда кончилось чтение, долгое время никто не трогался с места. Все словно застыли в плену чарующих образов рассказа.

— Чего задумались? — прервал молчание Куликовский. — Хотите, я прочитаю вам еще «Песню о Соколе»? Мне сдается, это самое лучшее произведение Горького.

Голос Куликовского звенел молодо, и казалось, что перед ними на цементном полу сидит не худой, слепой старик, а какой-то невиданный богатырь, — такую силу придавали ему горьковские слова.

— «Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо...»

Эти слова с особенной силой звучали в устах человека, который с пяти лет не видел неба, не видел солнца. Читал он с таким пафосом, будто и небо, и солнце, и все краски жизни были открыты ему и он сам был тем подбитым Соколом, который свалился в темную теснину и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень.

— «Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро! Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен; все в землю лягут, все прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..»

Теперь старик читал уже стоя, высоко подняв руку, сжатую в кулак. Встали со своих мест и его слушатели. А он будто молился силе, храбрости и мужеству отважных:

— «Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пусть ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

Когда Куликовский кончил читать, снова наступила тишина. Подсев к старику, Сапун спросил:

— За что вас арестовали?

— Да так, мелочь одна... Еврейку прятал в своем доме.

За укрытие евреев фашисты расстреливали. Не было ничего удивительного, что за это слепого бросили в тюрьму. Не только его, но и жену.

Приход в камеру Куликовского стал самым приятным событием для заключенных. В темных каменных стенах будто посветлело. Дни и ночи были заполнены воспоминаниями, рассказами, чтением наизусть поэм, стихов, отрывков из романов. Старик садился, прислонившись к стене, или неторопливо, осторожно ходил по темной камере и веселым, звонким голосом читал все новое и новое, и ни разу не повторялся. Когда рассказы и поэма надоедали, он пересказывал целые главы из исторических книг. В его памяти сохранились такие подробности, которые редко можно найти даже в специальной исторической литературе.

— А знаете, братцы, что было вот в этом здании, где мы сейчас находимся?

— Тюрьма.

— А вот и нет! В восемнадцатом столетии это был замок графов... Потом замок превратили в тюрьму.

— Много мне радости оттого, что здесь какая-то графиня изволила когда-то прохаживаться!.. — едко буркнул Прокопенко, бывший военнопленный, которого схватила полиция. — Теперь бы ее на мое место.

— А может, она невидимо присутствует здесь? — серьезно проговорил Куликовский. — Хочешь, я расскажу тебе о таком вот случае...

Это была сказка о ведьме, которая очень ловко помогала одному заключенному. Сказка интересная, с хитрыми поворотами, неожиданными ситуациями, и рассказывал ее Куликовский так, словно речь шла о действительном событии.

Когда он кончил, Сапун спросил:

— Разве вы верите тому, о чем рассказываете?

— А красиво? Ну то-то же... Легче живется, когда красивое в голове.

Временами Куликовский пел. Но Прокопенко, который кое-что понимал в музыке, всегда останавливал его:

— Брось церковную нуду тянуть!

— Почему церковную? — удивлялся Куликовский.

— Как дьяк на клиросе... — И передразнивал: — «Рождество твое, Христе-боже на-аш!...»

— Что ты понимаешь в музыке! — возмущался Куликовский.

— Больше тебя! Я бывший военный капельмейстер...

— Ну и знаешь свое «бум, бум, бух, ух». Разве душевная музыка или песня доступны тебе?

Тогда уже вскакивал Прокопенко, и ссора разгоралась еще сильнее. Чтобы разнять их, вмешивался Сапун:

— Бросьте, будто дети заспорили! Не было бы большей беды...

Любители музыки успокаивались, и снова начиналась мирная беседа.

Как-то утром в конце октября Куликовского повели на допрос. Принесли его без сознания только в полночь. До дверей камеры его проводила жена.

Сапун положил Куликовского на самое лучшее место, осторожно осмотрел худое, исполосованное тело. Намочив водой куски старой сорочки, прикладывал их к посиневшей коже.

Куликовский пришел в себя не скоро. И первые его слова были:

— Где моя жена? Неужто и ее тоже били?

— Не волнуйтесь, пожалуйста, — успокаивал его Сапун. — С вашей женой ничего не случилось.

Она проводила вас до самой двери, и потом ее повели в камеру.

Голова Куликовского опустилась на доску, начался бред. Еще несколько раз он приходил в себя и снова терял сознание. Все легли спать, только Сапун остался возле старика.

На рассвете Куликовский вдруг заговорил. Каждое слово он выговаривал отчетливо, словно был в полной памяти:

— Дочка? Не знаю, где она, пошла от меня, а куда — не знаю. Сын? Говорят, что арестован. Вам это лучше знать... Электростанцию я не собирался взрывать... Керосин у меня для другой цели... О партизанах и бандитах ничего не знаю... Я ведь слепой, что же вы хотите от калеки? Как вам не стыдно бить обиженного природой!

В камере стало тоскливо, мрачно. Будто тяжелый камень лег на сердце каждого. Все думали только о том, выживет ли этот еще совсем недавно такой веселый, разговорчивый человек, засмеется ли, расскажет ли новые забавные истории. Только на третий день Куликовский очнулся.

— Помогите мне подняться, — попросил он товарищей.

— Зачем? Не нужно! Полежите еще...

— Нет, я попробую... Иначе никогда не встанешь... Помогите...

Опираясь на плечи Сапуна и Прокопенки, старик еле переставлял ноги, но остался доволен. Даже шутить начал:

— Вот меня и подремонтировали. Теперь снова учусь ходить, как в детстве.

Потом добавил:

— Как это я выдержал? Просто самому удивительно. Обработывали меня в несколько туров. Вначале бил меня один следователь. Мое молчание, видно, взбесило гестаповцев. Тогда они принялись молотить меня втроем. Я больше не мог терпеть и закричал изо всей силы. А палачи громко хохотали, и каждый из них старался ударить как можно сильней. Наконец я потерял сознание, и как очутился здесь — не знаю.

Когда Прокопенко о чем-то заговорил с соседом, Сапун сел около Куликовского и тихонько сказал:

— А вы мне неправду сказали о причине своего ареста.

— Почему неправду?

— Да относительно сына, дочери, взрыва электростанции вы ничего не сказали.

Куликовский даже вскочил с места. Однако, сделав усилие над собой, снова сел и спросил:

— А кто вам сказал об этом?

— А я все знаю, даже то, что вы следователю отвечали, — заинтриговал старика Сапун и умышленно перевел разговор на другую тему. Теперь уже Куликовский допытывался:

— Нет, раз уж начали такой разговор, давайте сразу кончим. Говорите, откуда вы это знаете?

Чтобы не мучить товарища, Сапун признался, что слышал, как он бредил во сне.

— Остальные слышали?

— Нет, спали.

— Тогда хорошо. На вас я надеюсь. Да, меня арестовали не только за то, что я прятал еврейку. Были и другие причины. Но, кажется, отходил я свое. Я даже знаю, где меня повесят, — на бульваре, на площади Свободы...

Всех членов подпольного горкома и наиболее активных подпольщиков держали в подвале дома СД. Его приспособили специально для этой цели. Одну, самую большую, комнату разделили на десять каменных мешков. Каждый мешок длиной один метр семьдесят пять сантиметров, в ширину — один метр двадцать пять сантиметров. Сверху, снизу, с боков — сырой, холодный кирпич.

В каждом каменном мешке сидело, а вернее — стояло, по четыре или по восемь узников. Это была приходящая смерти. Выводили отсюда лишь в двух случаях: одних — на допрос, других — на расстрел или на виселицу.

Дважды в сутки — в восемь часов вечера и в восемь часов утра — водили в уборную. Если человек не выдерживал этого срока, охрана СД люто избивала жертву.

Особенно сильно страдал Ковалев. На допросах ему повредили мочевой пузырь.

А допрашивали его ежедневно. Обычно после восьми часов вечера за ним приходили гестаповцы:

— А ну, Ковалев, пошли!

Каждый вечер с ужасом ждал он этого оклика. Ждал и все надеялся, что на этот раз, может, не придут, может, забудут о нем, займутся чем-нибудь другим.

А его вели на второй этаж, через большой зал в комнату, напоминавшую нечто среднее между спортивным и врачебным кабинетами. Специальные станки, козлы, спортивные стенки и брусья, кресла вроде тех, которые бывают в зубо врачебных кабинетах, железные перчатки, крепко прикрепленные к потолку веревки, ванна. Все это расставлено в определенном порядке, старательно обработано, будто приготовлено для того, чтобы приносить радость и удовольствие человеку.

Почти на всех этих станках рвали тело Ивана Гавриловича. Рвали методично, по определенной, продуманной системе. От него не требовали каких-либо сведений. Задавали вопросы, на которые он

отвечал уже невпопад или бормотал нечто непонятное.

Не для получения сведений о работе подпольщиков пытали его гестаповцы. У них была другая цель. Несколько раз предлагали они Ковалеву, чтобы он отрекся от своей прежней деятельности и публично осудил ее. Но каким слабым он ни был, все же находил в себе силы крикнуть:

— Нет, никогда!

Гестаповцы смеялись:

— Подпишешь! Еще как подпишешь!

В таком состоянии его еще раз повели на очную ставку с Сапуном. Видно, гестаповцам не удавалось «расколоть» инженера. Он крепко держался.

Ковалев вошел в кабинет следователя. Сапун пристально посмотрел на него, и в его взгляде мелькнули жалость и сочувствие. Да и было чему посочувствовать. От прежнего Ковалева теперь уже почти ничего не осталось. Посреди комнаты стоял сморщенный, худой, как былинка, человек, который настороженным, испуганным взглядом следил за каждым движением следователя. Стоило гестаповцу приблизиться к нему, помахивая плеткой, как Ковалев начинал лихорадочно дрожать. А следователь забавлялся этим, будто кошка с пойманной мышкой.

— Какую работу выполнял в комитете Сапун? — спрашивал следователь у Ковалева.

— Никакой.

Следователь взмахнул плетью, и Ковалев начал нести какую-то чушь, которую вообще никто не мог понять.

Тогда в кабинет привели Короткевича. Было видно, что и он не раз побывал на втором этаже, в комнате пыток. Лицо его стало желто-серым, резко выступили скулы, еще больше оттопырились уши. Когда-то полные губы превратились в сплошную рану. Однако глаза остались такими же насмешливыми, дерзкими.

И вот стоят они рядом — Ковалев и Короткевич, — одинаково измученные, окровавленные, но и разные. Полный злости и ненависти Короткевич и размякший, будто выжатая тряпка, Ковалев. С этого времени начали расходиться их дороги.

Героем одного подвига, когда достаточно одного порыва сердца, может быть почти каждый. А выдержать длительные, разработанные по определенной системе пытки удастся не каждому. Сапун наглядно убедился в этом. Гестаповцы, сами того не подозревая, поставили его перед выбором: или путь Короткевича, или — ползти на четвереньках к своей могиле.

Допрашивая Короткевича, следователь все время ходил около узников с плетью в руке.

— Ну, так что ты скажешь о подпольной деятельности Сапуна, собака?

— Ничего не скажу, так как ничего не знаю, — твердо отвечал Короткевич.

Тогда Фройлик замахивался плетью на Ковалева, и тот от страха чуть не валился на пол. Однако плеть, взвившись над головой Ковалева, крепко впивалась в спину Короткевича. Стиснув зубы, Дима с лютой ненавистью смотрел на Фройлика, и тогда плеть еще раз, свистнув в воздухе, опускалась на плечи непокорного.

Допрос в кабинете следователя снова ничего не дал. Ковалева и Короткевича отвели в подвал, а Сапуна — наверх. Он впервые попал в лабораторию пыток.

— Раздевайся!

Георгий Павлович механически снял пальто, но потом спохватился: зачем ему выполнять приказы

гестаповцев? Все равно замучают. Так уж лучше быть таким, как Короткевич, чем таким, как Ковалёв.

— Ты долго будешь копать? — крикнул гестаповец.

Георгий Павлович даже не пошевелился.

— Все снимать! — заревел следователь.

И это не помогло.

Тогда два конвоира и переводчик схватили Сапуна и силой стали раздевать его, разрывая на нем одежду.

Георгий Павлович отбивался руками, ногами, головой. Каждая клеточка его тела сопротивлялась насилию.

Но борьба была неравной. Сапуна положили на станок и крепко привязали ремнями. Привязали так, чтобы каждый мускул был натянут, напряжен. Кровь из носа и рта заливала лицо.

— Теперь ты у нас заговоришь... — злобно крикнул переводчик.

Били резиновыми палками. Палачи знали, каким способом быстрее вызвать у человека нестерпимую боль. Георгию Павловичу казалось, что на спине у него разложили огромный костер и все время подбрасывают и подбрасывают в него порох. Чтобы хоть чем-нибудь отвлечь внимание от жуткой боли, считал удары. Помнит, что насчитал шестьдесят три и провалился в небытие.

Очнулся на том же станке. И его снова били. Много раз били. Сколько? Запомнить не смог. Он уже прощался с жизнью. Все казалось нереальным, будто во сне. А очнувшись, снова видел перед собой палачей, которые что-то гнусавили, а потом начинали странно покачиваться из стороны в сторону и, оторвавшись от земли, куда-то летели, размахивая плетьюми, как крыльями.

Опять очнулся, уже на полу возле станка.

Первое слово, которое невольно вырвалось из пересохшего горла, было: «Пить!» Перед глазами возникла стремительная река, вода в ней переливалась на солнце всеми цветами радуги, тихо журчала. Но дотянуться до нее Георгий Павлович не мог. Стоило ему пошевелиться, как внутри с новой силой вспыхивал огонь и река отдалялась, исчезала... Это была галлюцинация.

— Пить!

От стола поднялся следователь со стаканом чистой воды. Подошел, протянул к лицу Георгия Павловича. Тот жадно припал к стеклу, глотнул раз, другой, и... перехватило дыхание. Горло будто опалило, глаза полезли на лоб. Гестаповцы хохотали.

— Пей, свинья, тебе милость оказывают, спирт дают, пей!

Через минуту еле живого Георгия Павловича подхватили под руки и потащили на стул, напоминавший кресло в зубокабинете.

— Теперь ты наверняка заговоришь!

Электрический ток побежал по телу. Неведомая сила начала крутить, ломать руки и ноги.

— Говори!

А он, если бы и хотел что сказать, — не мог.

Наконец пытки закончились, его сняли с кресла. Только ноги не выдержали, подкосились, и человек, которого несколько часов назад трое гестаповцев с трудом привязали к станку, теперь сам упал на пол. И тогда его начали топтать ногами и снова били. Наконец бесчувственного выбросили в камеру № 5.

Там сидели еще четыре человека. Двое из них — Герасименко и Барановский — были подпольщиками.

Товарищи смочили одежду Сапуна водой и посадили его спиной к цементной стене.

— У нас свой метод лечения, — говорили они Георгию Павловичу, начавшему приходить в чувство.

— Цемент уменьшает боль. Это единственное средство лечения, которое нам здесь доступно.

В подвале СД нашлось много знакомых. Арестованные по делу подпольного комитета Алена Шумская и Оля Курильчик, разносившие баланду по камерам, рассказали, где кто сидит, кого еще арестовали, кто как переносит пытки.

— Короткевич спрашивает, как вы себя чувствуете, — тихо спросила Сапуна Шумская, передавая ему консервную банку с баландой.

— Передайте, терплю. И держусь, как он.

— Это еще ничего, — утешал Микола Герасименко. — Меня три раза откачивали, и, как видишь, выжил. Еще и на виселице болтаться буду.

На четвертый день Сапуна снова повели на допрос.

— Говори, бандит, кто давал тебе письмо в ЦК?

— Никакого письма я не знаю, — спокойно ответил Сапун.

Снова начались пытки. Но как ни били — ничего не узнали. На этот раз до камеры Сапун дошел сам. Тянулась бесконечная ночь. О смене суток говорило только то, что в восемь часов выпускали в уборную. Все остальное время жили в абсолютной темноте.

После восьми часов вечера внешняя дверь камеры запиралась на замок, и заключенные начинали потихоньку перестукиваться. Проверяли, кто жив и кого уже нет.

А то вдруг из-за сырой стены долетала медленная задушевная песня. Она звучала для всех и за всех. Только человек с могучей волей к жизни мог петь в этом пекле, на краю гибели.

— Костя, — с любовью и уважением говорили узники.

А он пел так, чтобы слышали только свои, те, что после пыток страдают в темных, сырых каменных мешках.

Костя Хмелевский и тут оставался самим собой. Его мучили, может быть, больше всех. На двое суток привязали к стене и били непрерывно, методично, с немецкой пунктуальностью. Били резиновыми плетями, били ногами. А он только бросал на палачей злобные взгляды и молчал.

«Что ж, не я один здесь страдаю, — стоя у стены, утешал он себя. — Весь народ наш терпит...»

Несмотря ни на что, он еще надеялся, что выживет. Может быть, эта жажда жизни и спасала его и заставляла изливать свои чувства в песне.

Среди арестованных была одна партизанка из Логойска. Ее мужество изумляло и восхищало многих. Она, видно, никогда не знала страха. И попала в лапы фашистов совсем случайно.

— Ночью мы напали на один немецкий гарнизон, — рассказывала она. — Эх, и дали мы тогда жару фашистам! А на рассвете фрицы получили подкрепление, и наши вынуждены были отступить. Чтобы прикрыть отход товарищей, я осталась на окраине местечка. Сама осталась, командиру даже не сказала. Влезла на крышу одного дома и жду, пока подойдут гитлеровцы. А когда они были уже совсем близко, начала косить из автомата. Много полегло их. И вдруг замолк мой автомат. Что с ним случилось — сама не знаю. Никогда не подводил, а на этот раз заело. Ну, они и налетели, схватили. Били чем попало и сколько хотели. На допросе я не отказывалась. «Да, говорю следователю, я

собственноручно убила около десяти фашистов. И еще больше бы убила, если б не заело автомат». А чего отказываться? Меня все равно расстреляют. Так лучше, если сразу...

После очередной попытки женщина начала стучать в дверь, пока не пришел начальник охраны.

— Я требую медицинской помощи! — решительно сказала она. — Не имеете права отказать в медицинской помощи!

Начальник охраны, ничего не сказав, исчез на несколько минут. Потом пришел, но не один, а с конвоирами. Женщину вывели в коридор. Сразу же послышались выстрелы. Все заключенные молча, как по команде, встали и сняли шапки...

В начале декабря 1942 года в подвале СД началась «разгрузка».

Кого куда ведут — никто не знал. Следователи вызывали узников партиями и направляли под охраной из помещения. Фройлик громко читал:

— Ковалёф! Короткевич! Хмелевский! Никифороф! Герасименко! Шугаев! Сапун!

Все это — члены и активисты Минского подпольного горкома. Куда же их поведут, если не на расстрел? В те минуты каждый, прощаясь с жизнью, жалел только, что мало довелось сделать для любимой Родины. Узники вышли из своих камер с высоко поднятыми головами.

— Смерть так смерть, — спокойно сказал Герасименко и бросил под ноги тюремное одеяло. — Так будет легче умирать.

Когда все вышли, Костя Хмелевский и Змитрок Короткевич многозначительно переглянулись с товарищами: «Держитесь, хлопцы, с достоинством, как коммунисты!»

Только изнуренный болезнью Шугаев и угрюмый Ковалев стояли низко опустив головы.

В закрытом «черном вороне» их везли недолго. Вскоре машина остановилась. Когда вылезли — увидели тюремный двор. Значит, пытки не кончились. Их еще раз обыскали и поставили лицом к стене. Один из гестаповцев начал бить Ковалева ногой и с наслаждением приговаривал: «Тофариш Кофалёф, секретарь ЦК».

Неторопливая процедура регистрации окончилась, и семь узников были отведены в подвальную камеру № 10.

Вспоминая об этом, Георгий Павлович Сапун, единственный из всех, кто остался жив, рассказывает:

— Камера была совсем пустая — только голые стены. Стекло в окне выбито. Стены и пол так настыли, что дотронуться до них было нельзя.

Когда мы очутились одни, без надзирателей над головой, вначале даже растерялись, а потом бросились обнимать друг друга, трясти, радовались, будто дети. Даже шутили:

— Что же это они, сволочи проклятые, перед тем, как вешать, думают замораживать нас?

— Пахнуть меньше будем, — ответил кто-то.

— Даже в подвале гестапо и то было лучше.

— Тогда попросись туда обратно.

Почти все были одеты по-летнему, в одних только костюмах, а некоторые даже без нижнего белья, которое сгнило от гноя на ранах. У Ковалева, Короткевича и Никифорова не было даже носков, ботинки надеты на босу ногу. Короткевич не имел шапки. Следовательно во время допроса истоптал ее так, что остались одни клочья. Все обессилели. А на дворе стояли лютые декабрьские морозы. Легко представить, какая была у нас перспектива.

Чтобы согреться, начали парами, а то и по одному ходить по камере. Только Шугаев, свернувшись в

клубок, сидел в углу камеры.

Через час-два все устали, а теплей не стало. Ходить так всю ночь не хватит силы. Решили всей группой разместиться возле двери на холодном каменном полу, прижаться тесней и согреть друг друга своим телом.

Только стали размещаться, брякнула коридорная дверь и в камеру втокнули еще троих. Это были Иващенко, Гришин и Цветков. Все они были арестованы по тому же делу.

Их взяли из подвалов СД после нас и почти последними. Их троих, а также Алену Шумскую, Олю Курильчик и еще несколько человек в душегубке повезли в Тростенец — деревню по Могилевскому шоссе, где производились массовые расстрелы мирного населения и находился лагерь смерти.

Они считали, что их везут в Тростенец на расстрел, и дорогой готовились к смерти. Но машина долго стояла там, а потом повернула обратно, и их доставили в тюрьму. Иващенко, Цветкова и Гришина поместили в нашу камеру, а остальных — в другие.

Используя то, что наших товарищей сопровождали трое охранников, Хмелевский заявил им, что в камере страшный холод, в окне нет стекла и даже не на что сесть.

— Если вы сами ничего не можете сделать, то мы просим позвать к нам кого-нибудь из начальства, — закончил Костя свой протест.

Один из часовых ответил:

— Время позднее, начальства никакого нет, до утра вас черт не возьмет, а завтра все равно повесят. И закрыли двери. Вслед им неслись наши возмущенные крики, протесты.

«Новички» были одеты лучше. У Гришина был кожух из овчины, у Иващенко — тоже кожух, обтянутый шинельным сукном. Это несколько улучшило наше положение, но оно осложнилось тем, что среди нас были двое со свежими ранами, полученными на допросах, — на коллективную постель они никак не могли улечься. И все же кое-как начали размещаться, слушая рассказ Иващенко о их «путешествии» в Тростенец.

Не прошло и получаса после этого, как в камеру откуда-то начала протекать вода. Она постепенно разлилась по полу. Сидеть нельзя было даже на более высоком месте возле порога — вода добралась и туда. Короткевич сказал:

— Хлопцы, больше, чем виселица, ничего не будет, — и начал кулаками бить в дверь.

Его примеру последовали и остальные. Среди ночной тюремной тишины звуки ударов многих рук и ног в дверь были, видно, ошеломляющими. Вскоре к нашей камере прибежали охранники, угрожая нам, что будут стрелять, если мы не успокоимся.

Мы заявили категорически, что будем ломать двери, если не примут никаких мер. Такая угроза наша, конечно, была наивная, так как сломать тюремную дверь голыми, да еще и слабыми руками — дело безнадежное. И все же наш протест подействовал. К нам явился тюремный секретарь-переводчик Фридман, который после начальника и помощника начальника тюрьмы был первым лицом в иерархической тюремной лестнице.

Начались переговоры через оконце в двери: переводчик заявил, что сегодня ничего сделать не может и придется нам терпеть до утра, но он дает слово, что утром переведет нас в другую камеру и постарается создать лучшие условия.

Вода постепенно прибывала, и мы плюхались в ней до рассвета, коченея от холода.

Слово свое переводчик сдержал — утром пришел с конвоирами и перевел всех нас в камеру № 13.

Она тоже была полуподвальная, значительно меньше десятой. Выбитые окна были заделаны картоном и заткнуты грязными тряпками.

Из обстановки имелась только одна железная кровать, на которой лежали две узенькие доски. Это все — на десять заключенных. Пользуясь своей маленькой победой, мы начали требовать, чтобы нам дали хотя бы еще несколько досок. Переводчик послал охранников посмотреть, где есть доски, и принести нам, добавив при этом: «Кто знает, может, кто-нибудь из вас и останется живой».

Охранники принесли нам еще три доски, предупредив, что больше нет.

Две доски мы оставили на кровати, остальные положили около стены. Они служили нам вместо скамеек. Все же сидеть на доске приятней, чем на холодном каменном полу.

Камера была небольшая, и вскоре мы согрели ее своим дыханием. Даже могли снять верхнюю одежду и просушить носки и портянки. В сравнении с тем, что было в десятой камере, а также в каменных мешках гестапо, тринадцатая камера казалась нам уютной.

Собравшись все вместе, узники мечтали о побеге из тюрьмы. Каких только планов не строили! Реального в этих планах было мало — тюрьма охранялась тщательно.

Я отпросился сходить в 54-ю камеру, где остались кое-какие вещи. Куликовский еще сидел там, и он искренне обрадовался моему приходу. Отдал мне последние свои продукты: несколько вареных картофелин, кусочек хлеба.

— Прости, дорогой, больше нет, — сказал виновато, протягивая руку с продуктами.

Прокопенко также дал кусок хлеба и немного махорки. Я шепотом попросил передать моей жене на волю, что нахожусь в 13-й камере. Нужно было как-нибудь связаться с волей.

И действительно, вскоре жена прислала через одного полица передачу. В картофелине нашли записку. Через мою жену и остальные заключенные сообщили своим родным и друзьям, где они находятся. Невидимыми путями записки шли в тюрьму и из тюрьмы. Короткевич, Хмелевский, Гришин, Иващенко начали получать передачи. Хотя и мизерные, они все же поддерживали узников. Тяжелее других переносили пытки Шугаев и Ковалев. У Ковалева не держалась моча, и он буквально заживо гнил. Временами он начинал заговариваться, нес разную чепуху.

Некоторое время нас не трогали гестаповцы. Тюремная жизнь с ее нестерпимым голодом и холодом принимала определенные устоявшиеся формы. У людей оживали и смутные надежды на что-то необычайное.

Наконец Ковалева и Никифорова вызвали на допрос. Встревоженные, с натянутыми будто струны нервами, все остальные ждали их возвращения.

Прошел день. Ковалев и Никифоров не возвращались.

— Может, ночью придут, — надеялись некоторые.

— Нет, если уж не пришли, то, верно, их песня спета.

Снова тень смерти нависла над камерой. Кто следующий? Кого завтра потянут на виселицу?

— Скорей бы конец, — простонал Цветков.

Его трепала лихорадка. Уже два дня высокая температура не покидала исхудалое тело.

— Хорошо бы, чтоб всех сразу, — сказал Иващенко. — Вместе веселей.

— И песню перед смертью вместе петь легче, — добавил Хмелевский.

— Одно мне не нравится, — пробовал шутить Иващенко, — что разденут нас перед отправкой.

Такой морозяка, еще насморк или грипп схватишь...

Перебрасываясь грустными шутками, вспоминали родных, близких. В мыслях сердечно прощались с ними, просили прощения за все прошлые обиды и недоразумения, за все, что могли хорошее сделать, а не сделали. Жизнь подходила к тому рубежу, откуда нет возврата.

А Цветкову становилось все хуже и хуже. Но он умолял, чтобы об этом не говорили тюремным медикам.

— Тогда меня переведут в другую камеру, а я хочу быть вместе с вами.

Ему передали с воли теплое белье, пальто, валенки. Однако и это не могло согреть его тело...

И все же тюремщики заметили больного.

— Тифус! — с ужасом вскрикнули они.

Более страшной болезни, чем тиф, гестаповцы не знали. Цветкова схватили и потащили в тюремную больницу. Вскоре заболел и Шугаев. И его отправили туда же. Хмелевский перенес болезнь в камеру. В тюрьме началась эпидемия.

И когда больные выздоравливали, радость была невелика — их ждала смерть от рук палачей.

Пришла очередь и Арсения Гришина. Его вызвали и приказали собрать свои вещи.

— Что ж, друзья, теперь все, — сказал он, потирая высокий лоб. — Прощайте... Не поминайте лихом.

Потом дрожащими руками начал раздавать товарищам свои вещи. Кожух положил на пол — для всех.

— Нет, ты кожух возьми, — посоветовал Короткевич. — Еще неизвестно, куда тебя поведут. Может, и освободят. Тогда ты передашь нам кожух, и мы узнаем, что ты на воле.

Крепко обнялись товарищи на прощание, скупые мужские слезы блеснули на их глазах.

А передачи от Арсения не было ни на другой, ни на третий день. С воли сообщили, что его из СД не выпустили.

Остальных перевели на третий этаж тюрьмы, в башенную камеру № 87.

Две недели Мария Федоровна Калашникова ничего не знала об Иване Харитоновиче Козлове. Он будто сквозь землю провалился.

Однажды пришла незнакомая женщина с запиской: «Ради бога, прошу верить этой записке. Нахожусь в 86-й камере. Иван».

Приготовить большую передачу не было времени, да и не было из чего. Схватила кусок хлеба и побежала к тюрьме.

Около проходной стояла группа полицаев. Они о чем-то весело болтали, хохотали, не обращая внимания на людей, слонявшихся будто призраки вокруг. Мария Федоровна приглядывалась, к кому бы из полицаев обратиться за помощью. Выбрала одного, менее противного, чем другие, и, когда они начали расходиться, попросила его:

— Будьте ласковы, паночек, передайте кусочек хлеба одному человеку в восемьдесят шестую камеру.

Он удивленно посмотрел на нее и спросил:

— А почему вы ко мне обратились?

— Потому, что вы хороший человек...

— Разве вы знаете меня?

— Не знаю, но по лицу вашему вижу. И уверена, что не ошибаюсь.

Полицейский постоял, помялся, хмыкнул раза два, но передачу взял и спросил:

— Кому?

— Ивану Козлову.

— Знаю. Отнесу. Но больше не просите об этом.

На следующий день наварила две стеклянные банки супу. Завернула банки в газету, положила в сетку и понесла к тюрьме.

Там было уже много народу. Большинство — немолодые уже, а то и вовсе старые женщины. Стояли в очереди и потихоньку разговаривали. Когда мимо проходил полицейский или немец-охранник, разговор прекращался. Все провожали взглядами тюремщика — одни со страхом, другие с ненавистью.

В серой, скорбной толпе Мария Федоровна увидела знакомую женщину. До войны они работали вместе, и Мария Федоровна часто оказывала этой женщине услуги. Горе сближает людей, и старая знакомая сочувственно слушала Марию Федоровну.

— Я здесь уже не впервой, — сказала она певучим голосом. — Настоялась возле тюремной подворотни, пока не нашла человека, который стал помогать мне. Я и вам советую обратиться к нему. Немец тут есть один. Дизер его фамилия, Андреем зовут. Он — начальник смены часовых.

— Немец? — удивилась Мария Федоровна.

— Да, немец. Он здешний, где-то на обойной фабрике работал. Хорошо знает русский язык. Очень скромный. С людьми обращается вежливо. Совсем не такой, как другие немцы. Добрые люди по секрету посоветовали мне обратиться к нему. И он сразу же согласился носить передачи. Только расспросил, кто да за что сидит. Попробуйте попросить его...

Вскоре из тюрьмы вышел Дизер и сразу же направился к собеседнице Марии Федоровны. Тепло поздоровался и сказал:

— Давайте.

— Может, и мое, паночек, возьмете?.. Ивану Козлову, в восемьдесят шестую камеру...

— Козлов?.. Козлов?.. — припоминая, повторял Дизер. — Это тот, что поет хорошо? Ну, давайте уж, отнесу...

Через три дня понесла глиняную и две стеклянные банки супу, хлеб, пол-литра самогонки. Когда Дизер подошел к ней, попробовала сунуть ему в карман самогонку:

— Это вам, паночек, за услугу...

Дизер резко отшатнулся и сурово сказал:

— Бросьте это, если хотите, чтобы я помогал вам... Предупреждаю, больше так не делайте... А передачу давайте, отнесу. Ждите посуду...

Скоро вынес пустую посуду и недовольно посмотрел на Марию Федоровну.

— Простите, паночек, если обидела вас...

— Хорошо, идите...

Дома начала мыть посуду и заметила на глиняной банке маленькую ниточку. Откуда она взялась? Кажется, сама не цепляла ее. Может, сигнал какой?

Осторожно обрезала нитку, стала внимательно разглядывать. На ниточке — свернутый трубкой клочок папиросной бумаги с рисунком. Присмотрелась — нарисована банка, а на ней — стрелка. Она показывает вниз.

— Что это значит?

Взяла в руки коричневую глиняную банку, верхняя часть которой покрыта глазурью. Сотни раз держала ее в руках, знала в ней каждую отметину, но никогда еще не смотрела на эту банку такими пытливыми глазами.

В нижней части банки, как раз под цвет глины, налеплен бугорок. Ковырнула его. Отвалился кусочек хлеба, а из-под него — записка. Коротенькая, несколько слов: «Пытали, но выдержал. Передачи передавать только через этого». Имелся в виду Андрей Дизер.

Теперь стала носить передачи чаще. А он из тюрьмы сообщал свои новости.

Лида Девочко почти ежедневно после работы заходила к Марии Федоровне.

— Ну, что нового?

Мария Федоровна обычно молча отдавала записку Козлова. Прочитав ее, Лида всегда говорила что-нибудь теплое, утешительное:

— Товарищи часто вспоминают о нем с большим уважением...

Связь с тюрьмой наладилась регулярная, но в жизни так бывает, что одна беда идет за другой.

Однажды глиняная банка выскользнула из рук и разбилась вдребезги. Долго бедовала Мария Федоровна над осколками. Как теперь возобновить переписку с Иваном Харитоновичем?

Нужно посылать другую посуду. Выбрала старый, довольно большой кувшин. Ручка его напоминала срезанную ветку дерева. Налила в кувшин борща, положила кусочек мяса, банку наполнила картофельным пюре.

Дизер взял передачу, как-то особенно внимательно посмотрел на кувшин, потом перевел взгляд на Марию Федоровну, но ничего не сказал и пошел. Пройдя несколько шагов, оглянулся и бросил обычное:

— Ждите посуду!..

Или он догадался о чем-нибудь? Если догадался, то почему он, немец, помогает подпольщикам? Что у него на душе?

Посуда задержалась. Дизер долго не выходил из тюрьмы, и Мария Федоровна начала волноваться: не случилось ли что-нибудь?

Волновалась напрасно. Она получила свой кувшин. К нему также была привязана нитка. Дома раскрутила ее и снова нашла бумажку с рисунком кувшина. Стрелки показывали на ручку — сверху и снизу. Осмотрев ручку, Мария Федоровна отыскала в ней отверстие, в которое Иван Харитонович положил очередную записку. Он просил переслать махорки, еды, если можно, спирту и дал понять, что готовится бежать из тюрьмы.

Пока Дизер брал все, что она передавала, даже с корзинкой, она успела переслать кое-что необходимое для выполнения замысла Ивана.

Так продолжалось недели три. Однажды, когда Дизер взял передачу и пошел в тюрьму, к Марии Федоровне подошла его жена и взяла ее под руку.

— Давайте немного пройдемся, пока вернут посуду, — предложила она на ломаном русском языке.

Молча отошли от ворот тюрьмы. Поблизости никого не было. Жена Дизера тихо спросила:

— Кому вы носите передачи?

— Квартиранту моему...

В вопросе, поставленном так прямо, послышалось что-то опасное, и Мария Федоровна поспешила высказать свое расположение к оккупантам:

— Взяли его ни за что, ошибочно. Ни с кем он не имел связи, жил себе спокойно. И вот кто-то наговорил на него. За что могли арестовать человека? Но немцы разберутся, они умные люди... Какие они чудесные люди — немцы! Кстати, я вам скажу, что и у меня бабушка — немка... Жена Дизера кивала головой, но она почему-то сразу же повернула обратно, к тюрьме.

— Идемте, сейчас посуду вынесет мой муж...

Дизера еще не было около ворот.

— Ждите здесь, — и сама пошла.

На другой день Мария Федоровна, как обычно, стояла в очереди со своей старой знакомой и была уверена, что скоро Иван Харитонович получит полную корзину еды и даже две пачки папирос. Настроение ее улучшилось — Иван Харитонович в последнее время пересылал бодрые записки и заверял, что скоро вырвется на свободу.

Дизер подошел к ее знакомой, поздоровался и взял сетку с продуктами, а на Марию Федоровну даже не взглянул. Она протянула ему свою корзинку и с тревогой спросила:

— Пан Дизер, будьте добры, и мое возьмите...

— Мне некогда, — не поворачивая головы, ответил он и пошел.

Что случилось? Почему он так резко изменился? Мария Федоровна вспоминала каждое слово, сказанное вчера жене Дизера. Перестаралась, перехвалила немцев. Видимо, жена Дизера почувствовала фальшь в ее словах.

Дизер больше не подходил к ней.

Позже стало понятно почему. Фашисты повесили Андрея Дизера во дворе тюрьмы за то, что он вместе с полицейским Василем Липаем готовил побег из тюрьмы членов подпольного горкома партии и активистов минского подполья.

Знакомая женщина снова посоветовала Марии Федоровне:

— Попроси полицейского Мишу. Он в кожанке ходит, формы не носит. Берет передачи. Этот не такой, как Дизер, но хоть что-нибудь отнесет.

И действительно, Миша согласился. Снова наладилась переписка.

9 декабря 1942 года Иван Харитонович писал:

«...Милая М. Ф.! Я сегодня получил пачку папирос и один опреснок, исключительно вкусный борщ и в нем кусочек мяса, картофель и кусок хлеба граммов 300. Бумагу не удалось вытащить, потому что не дали в руки корзину, да и принес ее какой-то незнакомый «попка», а папиросы принес какой-то другой. Бумагу я видел, но... если бы вы передали старшему, который мне раньше приносил, то я получил бы. Он обычно приносит и отдает корзину в руки, ни до чего не дотрагивается и не заставляет торопиться. От него я все получал полностью, кувшины не развязанные. А эти черти все развязывают тут же.

Вам очень тяжело таскать каждый день, а поэтому я вас очень прошу, пришлите мне чего-нибудь побольше и сообщите, на сколько дней, тогда я буду экономить, да и вам будет легче. Если можно, то повторите опреснок, очень, очень вкусный он. Примерно с 11 часов тоже принимают, смотрите, как вам более удобно...

Держитесь, не грустите, я не умру. Берегите себя. Придет время, будем вместе!!!

Крепко целую вас всех.

Ваш Янка.

...Пишите, кто остался жить в Минске... За папиросы стократное спасибо. Но если вы их сами покупали, то больше не надо тратить деньги на такие глупости. Я проживу и без них. Лучше табаку. Более экономно.

Сердечный привет всем.

Крепко целую всех. Ножнички пришлите так, как я учил вас раньше».

Иван Козлов сообщил на волю, что Иван Гаврилович и Ватик на допросе его признали. Это вызвало большую тревогу у подпольщиков и партизан. Как случилось, что руководители подполья изменили? По городу поползли тревожные слухи...

А произошло все так.

На очередной допрос привели Ковалева и Никифорова. Рядом с Фройликом за столом следователя они увидели Суслика. Лицо предателя за время, пока шли аресты подпольщиков, почти не изменилось — было такое же круглое, с отвислыми щеками и подбородком, с лохматыми бровями, под которыми испуганно и тревожно бегали беспокойные маленькие глазки. Только голос стал хриловатым да увеличились мешки под глазами.

Держался Суслик нагло. Было видно, что продался он фашистам со всеми потрохами.

— Что ж, надеюсь, теперь вы признаете все свои преступления? — обратился следователь к Ковалеву и Никифорову.

— Нам нечего признавать, — повторил Ватик то, что он говорил на прошлых допросах.

— Брось, Ватик, ломаться, говори, что было, — вмешался Суслик. — Все равно наша карта бита.

— А я с тобой не играл в карты, — отрезал Ватик.

— Почему же не играл? Разве мы не одно дело делали? Не сопротивляйся и признавайся во всем. Сопротивление сейчас ничего не даст. Я рассказал все, что знал, и назвал всех членов горкома, и секретарей райкомов, и активистов наших... Подтверди — живой останешься. Все равно они все знают. Зачем напрасно страдать?

Удары палачей не были такими болезненными, как спокойный голос предателя. Прислонившись друг к другу плечами, Ватик и Иван Гаврилович с ненавистью смотрели на негодея. Он ведь многое знал, его подпольщики допускали к серьезным делам.

Как держаться теперь? Что делать? Гестаповцы знают членов горкома, знают активистов, знают их дела. Всех ли? Если не всех, то кого? Как бы узнать?

Ватик решил спровоцировать более открытый разговор:

— Ты врешь, негодяй, и хочешь в чем-то запутать нас. Мы тебя не знаем, и ты ничего и никого не знаешь. Ты — провокатор.

— Не кипятись, Ватик, — ехидно бросил Суслик. — Вот видишь...

Он взял со стола листок бумаги и начал читать.

Список был большой. Ватик и Иван Гаврилович слушали и запоминали, кого он выдал, о ком знают гестаповцы и кто еще остался на свободе.

Стало ясно, что удар нанесен в самое сердце организации. Один Суслик сделал столько, сколько не могли бы сделать сотни гестаповцев, которые еще не пробрались в подполье.

— Неужели вы станете отрицать, что Иван Козлов фабриковал для комитета фальшивые документы и ты, Ватик, обеспечивал ими всех нас? — вел допрос уже Суслик. — Помнишь, Ватик, как мы вместе заходили к Козлову? Он тогда только что закончил подделывать десять паспортов...

Суслик выслуживался, старался как можно сильнее поразить Ковалева и Никифорова, доказать им, что сопротивляться больше нет смысла. Подробно рассказал обо всем, что им когда-то пришлось делать вместе.

Фройлик позвал стражу и показал на Суслика:

— Заберите его и приведите Козлова.

Еще вчера Ивана Харитоновича долго пытали, но он ничего не признал. Твердо стоял на одном: ничего не знаю, ни с кем не имел никакой связи, ни о каком комитете не слыхал.

Лицо его выглядело усталым, изнуренным. Острый нос еще более заострился, а голубые глаза поблекли. На впалых щеках пролегли глубокие морщины.

— Узнаешь? — спросил Фройлик, показывая плеткой на бывших руководителей подполья.

— Я не знаю этих людей, — смело глядя на следователя, ответил Козлов.

— А если получше присмотришься?

— И когда хорошо пригляделся, все равно не знаю...

— А вы знаете его?

Ковалев рассуждал: какой смысл после того, как всю организацию выдал Суслик, отказываться от знакомства с Козловым? Это теперь не изменит дела — признают они или нет. А бить будут меньше. Главное — не назвать тех, кого еще не знают гестаповцы, сохранить подпольные силы на свободе. Так началось падение Ковалева. Сначала неприметное, аргументированное и оправданное для самого себя.

И он признался:

— Да, мы с ним встречались...

Следователь приказал сразу же вывести арестованных. Расчет был на психологический эффект — после такого признания все подпольщики будут знать, что Ковалев и Никифоров дают показания. Это скомпрометирует их в глазах товарищей, в ряды подполья будет внесен раскол.

Иван Козлов тем временем готовился к побегу. Он разработал несколько вариантов этой операции. Все они сулили мало шансов на успех, но тому, кто все равно ждет смерти, терять нечего. Однажды он писал Марии Федоровне:

«Вы спрашиваете, в чем я нуждаюсь. Вы, очевидно, этого «попку» каждый раз просите узнать.

Отвечаю, я удовлетворен всем, и мне ужасно совестно, что я вас и так измучил своими просьбами.

Простите и на этот раз. Я вас прошу, если можно, принесите мне пачки две табака и курительной бумаги, а если сможете — бутылку кофе, хотя бы четвертинку. Я был бы совсем сыт, но, к несчастью, здесь моему товарищу Дементьеву уже шестой день не передают, и мне приходится все делить пополам. Ему передает сестра, поинтересуйтесь около ворот, — может, встретите, то скажите ей, чтобы носила более аккуратно.

В кофе налейте рюмку водки, а лучше спирту, это пройдет, не бойтесь, особенно если будет нести «попка». Между прочим, если невозможно это достать, то не беспокойтесь. Здесь так получали несколько раз...

Не тоскуйте. Страшного ничего нет. Я буду жить. Верю в это, да иначе и быть не может. План мой не такой страшный, как может показаться, пусть будет что будет. Я об этом не хочу думать. Пусть гонятся за мной сто «попок», — убегу, только бы не опоздать. Как только вы получите ответ, что я уже убежал, передачи носить не нужно. Никто у вас не спросит и не накажет. Верьте, я вам зла не

желаю.

Целую. Янка».

План побега, разработанный Козловым, был совсем простой, рассчитанный на неожиданность.

Нужно только добиться, чтобы разрешили выносить парашу. Обычно выносят парашу двое.

Полицейский идет шагах в шести-восьми позади арестованных.

Если неожиданно засыпать ему махоркой глаза и выхватить оружие, то можно застрелить часовых возле ворот и выскочить на улицу. А под горой, на улице Мясникова, должна ждать подвода.

Подпольщики подготовили квартиры, где Иван Харитонович мог бы надежно спрятаться.

Среди полицаев нашелся человек, который согласился передать сигнал, чтоб подвода была на месте. Условились, что побег должен произойти примерно в двенадцать часов дня — когда обычно выносят парашу.

На воле все было старательно разработано, предусмотрено. Но сигнала все не было.

А смерть тем временем приближалась. Ивана Харитоновича вызвали на очередной допрос, и после того, как он, сидя на электрическом стуле, ничего не сказал, ему показали приговор гестапо. Там стояли сто фамилий подпольщиков, приговоренных к смертной казни.

Призрак смерти нагло щерил хищные зубы. Каждую минуту Иван Харитонович видел ее — стоило только закрыть глаза. А умирать так не хотелось!

Ему не везло. С кем он ни советовался в камере, никто не поддерживал его план побега: все считали его нереальным.

Получив очередную передачу, засунул в отверстие ручки кувшина такую записку:

«Милая М. Ф.! Дорогие друзья и товарищи! Я читал приговор гестапо. 23.XII.42 г. эта сотня людей еще жива!

Переживаем, видно, последние жуткие ночи. После рождества страшная машина начнет свою работу...

Более страшного, чем «ворон», ничего нет. В тысячу раз лучше получить пулю в спину при побеге, хотя шансов на удачу не очень много, чем ждать вызова... Боюсь немного одного, чтобы в случае неудачи не попасть этим зверям живым, раненым. Был бы счастлив, если бы уложили наповал. Не бойтесь этих строчек. Мужайтесь! Держитесь! Ваша вера в выполнение задуманного мною укрепит и уже укрепила мои духовные и физические силы. Может быть, сегодня вечером... и в крайнем случае — завтра утром.

Желаю вам всего наилучшего.

...В последний раз посылаю всей нашей семье горячий поцелуй. Всем товарищам и друзьям — горячий партизанский привет.

Пожелайте мне удачи, но без слез.

Не опоздать бы.

Остаюсь непримиримый, с глубокой верой в победу.

Иван Козлов».

Ни в тот вечер, ни утром на другой день его не пустили выносить парашу. Все последние дни он набивался на эту работу, но полицейские, видимо, догадывались о чем-то и не выпускали его из камеры.

А сердце рвалось на волю, оно не хотело смириться. Жизнь, такая могучая, красивая, заманчивая,

влекла к себе. Набрав полную грудь воздуха, Козлов запел арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Пел во весь голос, в полную силу своих легких.

Тюрьма притихла. Раскаты могучего голоса разносились по ее коридорам, будили жизнь в замшелых каменных стенах. Голос звенел, трепетал.

Не раз Ивану Козлову приходилось выходить на освещенную яркими разноцветными огнями сцену. Скрытая в полумраке зрительного зала публика, затаив дыхание, слушала его. Грохом обрушивались аплодисменты.

А здесь не было ни сцены, ни зала, ни ярких огней. Но никогда Иван Козлов не пел с таким вдохновением. Это был гимн жизни, гимн красоте, могучий порыв любви. Зачарованные слушатели — худые, бородатые — пылающими глазами смотрели на него.

Пел человек, осужденный на смерть, перед людьми, осужденными на смерть, пел о жизни. После арии Ленского он исполнил еще несколько арий, а затем начал петь боевые, революционные, советские песни. И только после этого охранники начали кричать:

— А ну, замолчи!

Тогда в соседней камере подхватил песню Костя Хмелевский. У него был слабее голос, но тоже красивый, приятный. Он начал с народных песен. И в 87-ю камеру застучали охранники.

— Замолчи!

Эстафету песни подхватила какая-то женщина, сидевшая в соседней камере. Сильным меццо-сопрано она бросила вызов охране, продолжая песню, которая оборвалась в восемьдесят седьмой камере. Охранникам пришлось долго колотить в двери, требуя прекратить пение, которое затихало в одном месте и с новой силой вспыхивало в другом. Люди умирали с песней. А в том, что смерть неизбежна, Иван Козлов теперь не сомневался.

27 декабря 1942 года он писал на свободу:

«Дорогие мои!

Вот уже третий день мне никак не удастся упросить «попок» носить вонючие парашаи. Все эти три дня неудачные для меня, не везет мне окончательно, теряется вера и надежда. Мечтать становится все трудней и трудней. Приближается Новый год, это — страшная дата, от которой трясет, выворачивает всю мою душу. Каждый упущенный день оставляет в моем сердце тяжелый, смертельно ядовитый осадок.

Удастся ли сегодня упросить этих ненавистных, гнусных лакеев — немецких «шчырых беларусау»?

На мое несчастье, все эти дни дежурят какие-то неумолимые кретины.

Удастся ли?.. Вчера, в субботу, корреспонденции от вас не получил. Понимаю. Я вас убиваю своей откровенностью, но стоит ли терять надежду. То, что случилось, поправить ничем не возможно. Все задуманное, как видите, по ряду причин, которые не от меня зависят, пока осуществить не удастся. Правда, очень тяжело терять близкого человека. Но чем вы можете помочь? Слез не надо! К черту слезы! Гибнут миллионы, а чем мы лучше их? Настоящий патриот тот, кто смело глядит в глаза смерти. Не надо слез. Не надо грустить. Наша кровь не прольется даром. Держитесь, держитесь, не бойтесь и не теряйте надежды!

Эх, жить чертовски хочется! Мстить этим варварам — вот что нужно делать. Ну, если бы мне удалось... Можете представить Вы, с каким бесстрашием, с каким остервенением и бескрайним наслаждением я бы уничтожал этих гадов ядовитых, а ведь я два года тому назад боялся зарезать

курочку.

Жить! Жить! Вот как хочется! Да не прятаться за спину товарищей, а с оружием в руках, в ежедневной борьбе с ненавистным шакалом — в этом вся прелесть и вся цель жизни. Жить для Родины, жить для русского свободолюбивого народа, бороться за честь и свободу его — в этом вся прелесть жизни, это в данный момент идеал жизни.

Горячий привет живым, которые с оружием в руках отстаивают от лютого врага свою честь и независимость.

Привет друзьям, товарищам!

Крепко, крепко целую Вас, чудесная, многострадальная душа. Простите за терзания, они оплатятся. Ваш Ваня Козлов.

Если можно, сегодня же табачку, к трем часам нужен».

Даже в последний момент он не терял надежды на спасение. Табак — на тот случай, если вдруг разрешат нести парашу и удастся на тюремном дворе очутиться один на один с охранником. Тогда Иван осуществил бы свой замысел.

А чтобы заглушить душевную боль, он пел. Тюремщики делали вид, что не слышат его пения. Даже фашистские выродки не смели отказать в этом осужденному на смерть человеку.

Из камеры его по-прежнему не выпускали. Угасала последняя надежда, тлевшая в душе. Угасала тем быстрее, чем ближе становилось роковое мгновение.

— Козлов, с вещами!

Тюремщики стояли около открытой двери. Иван Харитонович крепко обнялся с товарищами, которые еще оставались в камере, и с гордо поднятой головой переступил порог. Переступил в последний раз. Внизу, возле самого подъезда, стоял «черный ворон», битком набитый людьми, осужденными на смерть.

Вместе с последним письмом Ивана Харитоновича Мария Федоровна получила записку, нацарапанную незнакомой рукой. На маленьком обрывочке бумаги стояли только два слова: «Его забрали».

Сердце оборвалось, перед глазами все поплыло, смешалось, и пол выскользнул из-под ног. Очнулась оттого, что дочка поливала холодной водой.

Первой мыслью были проникновенные слова Вани: «Держитесь! Держитесь!» Он знал, какой удар нанесет ей известие о его смерти, поэтому и наказывал ей держаться. Она должна быть достойна его памяти. Он умер с гордо поднятой головой, и она не имеет права опускаться. Так завещал он.

Да, она должна держаться, тем более что за тюремными решетками томила еще одна близкая душа, такая же дорогая и любимая, — сестра Виктория.

Витю арестовали на месяц позже Ивана. При ней наладилась переписка с Иваном. Поэтому, готовя первую же передачу, Мария Федоровна положила в ручку кувшина записочку, и Виктория сразу же ответила на нее.

Она писала, что двадцать один день ее пытали. Били так, что почти совсем ослепла. «Если бы я только могла рассказать тебе обо всем, — писала Витя, — что тут делается! Это самые ужасные страницы в истории!»

Не говорить, не сказать врагу ни единого слова, которое он мог бы использовать, не дать никаких сведений! Разве можно сказать им что-нибудь, этим дьяволам, этим кровожадным тиграм! Она

бормотала порой бессмысленные фразы, а садисты, смакуя каждый ее стон, ловили слова, которые могли бы навести их на след подпольщиков. И все напрасно!

В одном из писем Витя писала:

«Не горюй, родная!

Будем все вместе. Когда-нибудь взойдет и наша звезда. Не кланяйся, не проливай слезы, пусть наши враги не видят их, держи голову выше. Видишь, сколько раз они меня одну похоронили. Нас не так легко убить и похоронить, мы еще живем. Не ходи никуда... и так будет все хорошо, не за всех же ходатайствуют. Верь в нашу звезду. Она не погаснет. О Ване еще рано слышать, пока то да се, а нам кажется, много времени. Почты ведь нет, нужно ждать случая.

Махорку не получила, но у меня есть... Мне ничего не нужно, галоши у меня есть. Для меня не передавай ничего, за все спасибо, родная, прости, что так много горя тебе принесла. Жить хотелось лучше, а без жертв не бывает.

Кувшин пока не присылай. Жди на это моего сигнала — повяжу ленточку на горлышко банки...

Разве только что срочное будет... Не горюй, не плачь обо мне. Не пугайся моих слов, нужно быть ко всему готовой... Я лично ко всему готова. Верь, что будет еще счастье. Не горюй...

Привет всем.

Целую крепко. Витя».

После жутких пыток трудно было узнать когда-то стройную красавицу Витю. Она стала совсем старухой. Черные волнистые волосы вылезли, а редкие пряди над высоким лбом и на затылке поседели. Только глаза стали еще большими оттого, что похудело, высохло милое личико, на которое когда-то словно зачарованные засматривались люди.

Однако палачи не смогли согнуть ее непокорную душу, затмить разум. Даже в жутких условиях тюрьмы она смогла наладить связи с другими заключенными и внимательно следила за тем, как держатся подпольщики.

Когда Мария Федоровна передала ей, что Ковалев и Никифоров признали на допросе Ивана, Виктория начала выяснять, что же произошло.

Через несколько дней она сообщила на волю, что список комитета выдал Суслик. «...Заметь, — писала она Марии Федоровне, — не Ватик и не Гаврилов (так назвала Витя в записке Ивана Гавриловича), эти своей кровью из ушей, носа, горла отстаивали каждого, но напрасно, их выдали... Когда Ваня отрекался, что не знает никого, а эти двое сказали, что неправда, знает, то напрасно было отрицать, так как о Ване уже донес...»

И она назвала доносчика — Суслика.

Вите не суждено было умереть после первых пыток. Почти целый год несла она на своих маленьких исхудалых плечах тяжелую судьбу узника СД. Только 6 ноября 1943 года, не дождавшись, что она сдастся, запросит пощады, гестаповцы расстреляли ее.

Следствие по делу Минского подпольного горкома партии закончилось в декабре 1942 года. В фашистской «Белорусской газете» 23 декабря появилось сообщение об этом. Неуклюжим, искусственным языком фашистские холуи писали:

«Раскрытая в Минске верхушка этой адской нечисти — так называемый центральный комитет КП(б)Б. Арестованные члены его: Иван Ковалев, Вячеслав Никифоров, Змитрок Короткевич, Константин Хмелевский. Взяты также и члены секретариата этого комитета, как и все

душепродажные пособники его. По делу арестовано больше ста лиц. Отобраны две типографии, агитационный материал и большое количество взрывчатых материалов. Найден и богатый секретный материал...

О существовании этой верхушки полиция знала уже давно, поэтому она и смогла выбрать соответствующий момент, когда удар в нее был бы наиболее уничтожающим».

Редактор газетки Владислав Козловский с собачьей преданностью к своим хозяевам и с такой же собачьей злостью к коммунистам в передовой статье ругал подпольщиков и тех, кто им помогал, он упрашивал «шчырых беларусаў» стать действительными националистами, верными слугами немецких фашистов.

«Нельзя обманывать самих себя и немецкие власти, — скрежеща зубами, признавался он, — что будто бы все белорусы исцелились от большевистской заразы, все вдруг сделались националистами и все консолидируются для национальной деятельности. Такое утверждение вредное».

В ладу ему подбредивал в «Белорусской газете» и другой фашистский выкормыш — Фабиан Акинчиц. Белорусские националисты больше, чем их хозяева, радовались разгрому минского подполья. Но тревога не покидала их. Видно, чувствовали негодяи, что и на них готовятся пули народных мстителей. Запершись в своем логове, они бранились, в бессильной злобе пускали ядовитую слюну на страницы своего фашистского листка.

После этого сообщения гестаповцы забрали Ковалева и Никифорова снова в СД. Теперь руководителей подполья пытали с одной целью — принудить отречься от Коммунистической партии и коммунистической идеологии.

— Выбирай одно из двух: свободу и обеспеченную жизнь или долгие, бесконечно долгие мучения, — не спуская глаз со своей жертвы, почти шепотом говорил Фройлик. — Мы не дадим тебе сразу умереть, нет! Ты будешь еще долго жить, но жить каждый день в мучениях. Все грешники в аду будут содрогаться, видя твою жизнь. Смотри, что мы будем делать с тобой...

Они снова схватили Ковалева и посадили на электрический стул. Он корчился, стонал, терял сознание.

Так же пытали и Ватика. Но тот энергично сопротивлялся, и фашисты поняли, что от него ничего не добьешься. Все внимание сконцентрировали на Ковалеве. Обессиленный, размякший Ковалев больше подходил для их целей. Его пытали беспрестанно.

Наконец фашисты сделали последнюю попытку сломить сопротивление Ковалева, который уже мало чем напоминал человека. Восемнадцатого января тысяча девятьсот сорок третьего года его вызвали на допрос, и высокий толстый Фройлик подошел к нему с плеткой в одной руке, с «Белорусской газетой» — в другой. Ковалева трясла лихорадка.

— Не бойся, сегодня я не буду бить тебя, — растягивая рот до ушей, сказал следователь и сунул узнику под нос газету. — На, читай...

Заголовок на первой странице кричал: «Бывший секретарь КП(б)Б советует: «Бросьте бороться против немцев».

Ниже мелким шрифтом говорилось: «Иван Ковалев, бывший секретарь коммунистической партии в Заславле, а до последнего времени — один из руководителей Минского бандитского комитета, был, благодаря разведывательной работе полиции безопасности, пойман во время раскрытия всего комитета.

Ознакомившись с действительным положением, которое определенно складывается в пользу немцев, и убедившись в бессмысленности дальнейшего сопротивления на фронте и вне фронта, Ковалев обращается с призывом ко всему населению Белоруссии...»

Далее следовало воззвание, написанное самими гестаповцами, — злобная антисоветская стряпня, полная змеиного яда. Каждый, кто прочитал бы это воззвание внимательно, спокойно, заметил бы, что Ковалев не мог так написать, — и по стилю и по содержанию оно было немецким, и говорилось в нем много такого, о чем не мог знать узник СД. И подписи даже не было. Если бы Ковалев сам написал, гестаповцы наверняка напечатали бы фотокопию рукописи или хотя бы подписи.

Но Ковалев находился в таком состоянии, что ему трудно было правильно, трезво оценить положение. Перед его глазами сразу встала тринадцатая камера тюрьмы, вспомнились товарищи, которые терзались в догадках: кто же изменил, кто выдал их? До сих пор подпольщики сходились на одном — все дело в Суслике. Да тот и не скрывал своего предательства, сидел рядом со следователем и выдавал подпольщиков. Держали Суслика отдельно от других членов комитета. На нем совсем не видно следов пыток.

А что теперь скажут подпольщики о Ковалеве? Кто поверит, что в газете — провокация?

Фройлик читал его мысли:

— Нет, никто теперь не поверит тебе... Никто. Мы позаботимся об этом.

Он нажал кнопку звонка и приказал:

— Одежду.

В комнату принесли новую, чистую одежду.

— Переодевайся... Видишь, как мы заботимся о тебе...

Ковалев механически снял с себя вонючую одежду и надел все новое.

— Побрить его! Оставить только усы и маленькую бородку, как было до ареста! — продолжал приказывать Фройлик.

— Пошли! Будешь идти свободно, улыбаться... Никто не должен чувствовать, что мы идем за тобой. Смотри, если не будешь покорно выполнять приказ, такое для тебя придумаем, что все черти от радости запрыгают!

Ковалев шел по улицам Минска и... улыбался. От напряжения у него судорожно дергались щеки, но он улыбался кривой, жалкой и беспомощной улыбкой, будто побитая собачонка.

Порой ему встречались знакомые. Еще издали, увидев его, они или бросались в сторону, или круто поворачивали обратно и, не оглядываясь, все убыстряли шаг, чтобы оторваться от него. А сзади он слышал ровные, уверенные шаги переодетых в штатское гестаповцев.

Можно было бы броситься в сторону, попытаться убежать. Пусть бы уж сразу застрелили. Козлов, Хмелевский или Короткевич так бы и поступили. А у него на это уже не хватало воли. Она была сломлена непрерывными пытками. В душе остался только страх, один неодолимый, безграничный страх, и ничего больше.

Да и кто поверит ему теперь, даже если его и застрелят на улице? Кто поверит, что Ковалев не предал, если люди шарахаются от него, как от зачумленного? Нет, теперь все кончено, все... Ничего не осталось, кроме страшной боли, неотступно преследовавшей его, кроме электрического стула, станка, на котором вытягивают жилы, лестницы, к которой привязывают на двое-трое суток, железных перчаток с иголками...

И он шел по улице и улыбался кривой, вымученной улыбкой, живой, вонючий труп. Обрывались последние ниточки, связывающие его с товарищами, с Родиной, с совестью, с жизнью.

Когда гестаповцы убедили его, что иного пути, кроме измены, нет, его повезли на завод имени Мясникова. Там он прочитал подготовленное следователями заявление об отречении от идей коммунизма. Фото Ковалева напечатали в фашистских газетах.

В восемьдесят седьмой камере, где находились Костя Хмелевский, Змитрок Короткевич, Микола Герасименко, Иван Иващенко, Георгий Сапун, Николай Шугаев и еще несколько арестованных подпольщиков, все гадали, куда делись Ковалев и Никифоров. Их больше не вернули в тюрьму. Но вскоре о Ковалеве начали трубить фашистские газеты, и товарищи поняли — не выдержал. А Ватик будто в воду канул. Так и исчезли его следы навсегда. Видно, гестаповцам не удалось сломить его, и они физически уничтожили упорного подпольщика.

Многих еще держали в тюрьме, не торопились расстреливать или сжигать в печи Тростенца. Надеялись, что кто-нибудь не выдержит, сдастся. Ведь заживо гнил Николай Шугаев — у него из пролежней торчали бедренные кости и позвоночник, раны воняли так, что в камере нечем было дышать. Плохо чувствовали себя Цветков, Кушелевич.

Правда, спустя некоторое время Шугаев немного подлечился, раны его начали заживать, но положение оставалось тяжелым. А Кушелевича так избили в тюремной больнице, что он не выдержал и умер.

В камере по-прежнему было холодно, сыро и тесно. Спали в маленьком коридорчике. Ложились на пол все двадцать человек, тесно прижимаясь друг к другу. Ночью можно было повернуться на другой бок только всем вместе.

Условия вынуждали заключенных держаться организованно, дружно. Единогласно выбрали старостой самого выносливого, самого сильного духом — Костю Хмелевского, и его распоряжения были законом для всех.

Передачи делили поровну. Хмелевский, как только мог, поддерживал боевое настроение у своих товарищей. Почти не вставал со своего места и тупо смотрел в одну точку Шугаев. Временами нервничал Герасименко. Каждый по-своему переживал приближение неотвратимой смерти. А Костя хотел, чтобы встретили ее подпольщики, как подобает коммунистам. Враг не должен чувствовать себя победителем.

Особенно напряженными были вторники и пятницы — дни разгрузки тюрьмы. «Черные вороны» непрерывно курсировали между тюрьмой и Тростенцом.

Один из охранников незаметно подбросил через «глазок» камеры «Минскую газету». Заключенные с жадностью набросились на нее. Хотя газета вражеская, но, если читать ее умело, между строк, можно было многое увидеть.

Не случайно охранник подбросил именно эту газету. В ней хотя и туманно, под покровом словесной шелухи, но все же говорилось о переломе, наступившем в боях на Волге. Костя несколько раз вслух прочитал передовую статью, а потом начал читать напечатанную в газете статью Геббельса.

— Поняли, хлопцы? — блеснув глазами, спросил Костя, когда и статья Геббельса была дважды прочитана. — Видите, как изменилось положение на фронте? Недаром эта обезьяна Геббельс начал гадать о секретах русской души. Туго приходится обормоту. Нужно чем-то объяснить причины поражения фашистской армии.

Все слушали его молча, внимательно.

Уверяю вас, товарищи, — горячо продолжал Костя, — наступило начало гибели фашистской армии. Для Гитлера битва на Волге все равно что для Наполеона Бородино. Верьте мне, наша армия хоть и не так быстро, как бы нам того хотелось, но зато уверенно пойдет вперед и разгромит фашистов. Мы, наверно, не дождемся того времени, не увидим общей радости нашего народа, но я уверен, что после победы советские люди вспомнят и нашу скромную работу. Честное слово, вспомнят. Мы не напрасно отдадим свою жизнь!

Людям, замурованным в каменном мешке, эти бодрые слова — будто бальзам на душу. Пусть произносил их свой же товарищ, такой же узник, но говорил он правильно, говорил именно то, во что хотели верить и верили все. В такой тяжелый момент самое главное — сохранить уверенность, что не задаром гибнешь, что после тебя жизнь людей станет еще лучше и те, кто узнает эту лучшую жизнь, с благодарностью будут вспоминать тебя.

Вечером Костя давал концерт. Начал он с невинного «Чубчика». Охранники собрались около камеры и тоже с удовольствием слушали. Только Костя кончил, как в женской камере зазвенел тот же красивый голос, который уже не раз поддерживал Костю. В ответ Костя запел с еще большим чувством. Началось соревнование певцов.

Охранники молчали. После разгрома немцев на Волге они уже меньше зверствовали.

Своеобразный концерт оборвался неожиданно — коридор тюрьмы наполнился охранниками, послышалась стрельба. Это гестаповцы расправлялись с теми, кто готовил побег из тюрьмы. В противоположной, 85-й камере несколько раз грохнули гранаты, лихорадочно застрочил пулемет. Сорок семь заключенных были уничтожены на месте.

С того времени тюремный режим стал совершенно невыносимым. Начались новые допросы и пытки.

Чаще всех вызывали на допрос Костю. Он писал на волю своему другу:

«Вчера весь день был на допросе. Привели в тюрьму в семь часов вечера. Допрос не кончен.

Обещали сегодня вызвать еще. Ну, дело, как видно, заканчивается, и должна быть какая-нибудь развязка».

Но развязка по-прежнему не наступала. Костю пытали весь следующий день и еще один день. Из допросов было видно, что фашисты еще не все знают о подпольщиках.

— Кто входит в параллельный горком партии?

— Какой параллельный горком? Я ничего не знаю о нем, — уже искренне говорил Костя.

— Знаешь, собака, признавайся!

И снова тащили на станок, избивали резиновыми палками до потери сознания, а затем отливали водой и сажали на электрический стул.

— Говори, кто написал вот эту листовку!

Следователь показал Косте листовку, выпущенную Казаченком, Кабушкиным, Александровичем и Калейниковым.

— Откуда я могу знать, что делается там, на свободе? — ответил Костя.

— Ты все знаешь, свинья, только признаваться не хочешь. Кто такой Жан?

— Какой Жан? Не знаю я никаких французов.

— Врешь, хорошо знаешь. Он совсем не француз, а советский офицер. Помнишь, как он привел на явочную квартиру для отправки в лес группу подпольщиков?

Фройлик рассказал про случай, о котором знало совсем мало людей — Костя, Жан, Борис Рудзянко и те, кого послали в партизанский отряд. Из тех партизан никто не возвращался в город. Догадка, словно электрический ток, пронзила Костю: выдал Борис! Костя мгновенно перебрал в памяти все связанное с этим случаем: с кем, где и как встречались, что говорили. Фройлик даже повторил одну фразу, сказанную тогда Борисом. Да, об этом мог донести только Рудзянко.

Эх, снова предательство! Что ж, теперь расплачивайся, Костя, своею кровью за чрезмерную доверчивость. Но это было бы еще полбеды, если бы только своей! Сколько чудесных, отважных людей гибнет, с таким трудом налаженное дело провалилось. Нет, нельзя простить себе такой ошибки.

На вопросы следователя Костя больше не отвечал.

«Пусть бьют, — зло думал он. — Но одну ошибку я не дополню другой. Никто не заставит меня говорить. Если будет не под силу — язык себе откушу, но ничего не скажу».

И не сказал.

«Был 21-го снова весь день на допросе, — писал он другу. — Измучился, еле пришел, но допрос еще не окончился, вызовут, возможно, сегодня снова.

Миша! Я хорошо не уверен, но с Б. прекрати всякие встречи. Привет всем. Спасибо.

К. Хмелевский.

22.I.1943 г.».

Снова вызывали на допрос. Но на этот раз не били, — видимо, убедились, что битьем Костю не возьмешь. Может, он на ласку клюнет?

Фройлика будто подменили, такой он стал вежливый. Даже пригласил сесть.

— Не думай, что мы такие свирепые со всеми. Нет, мы можем быть очень, очень добрыми... Закури...

— и протянул Косте толстую сигару. Другую такую же сигару сунул себе в толстые, жирные губы.

Щелкнула зажигалка, похожая на пистолет, и душистый сизоватый дымок защекотал в носу.

— Кури, не бойся, не взорвется...

— Я не курю...

— Напрасно отказываешься. Я же вижу, что куришь. Смотри, какие желтые пальцы на правой руке...

— Все равно не курю.

— Ну, как хочешь, принуждать не буду. А вот дело одно предложу тебе. Напиши в газету статью о том, что отрекаешься от своей прежней деятельности.

— Я не журналист и не умею писать статьи.

— Глупости. Умеешь.

— А я говорю, не умею.

Долго продолжался спор. Костя стоял на своем.

— Ну что ты врешь, — злился Фройлик. — Так я тебе и поверил. Смотри!..

Он вытащил из ящика стола газету «Звезда» — один из номеров за 1940 год, в котором была напечатана довольно большая статья за подписью: «К. Хмелевский».

— А пишешь ты, собака, очень хорошо. У тебя могла бы получиться чудесная статья против большевиков. Наконец, мы могли бы помочь тебе.

— Я говорю, что не торгую своей совестью.

— Ах, вот в чем дело! — иронически воскликнул Фройлик. — Неужели тебе надоела жизнь? Ведь

она так прекрасна и, как часто утверждают у вас, дается только один раз. Зачем же терять ее так рано? У тебя впереди большая карьера. О тебе будут писать в газетах, мы обеспечим тебя так, что ты ни в чем не будешь иметь нужды...

— Напрасно стараетесь. Ничего писать я не буду!

Когда разговор на эту тему не дал результатов, Фройлик начал допытываться, когда и где Хмелевский встречался с Жаном.

— Я уже говорил, что не знаю никакого Жана.

— Ну зачем упираться? Нам ведь известно, где и когда вы встречались и о чем говорили.

— В таком случае вы знаете обо мне больше, чем я сам о себе.

— Так ты не знаешь Жана?

Костя отрицательно покачал головой.

Красное мясистое лицо Фройлика еще больше покраснело. Стиснув зубы, гитлеровец медленно поднялся со стула, обошел стол и вlepил Косте несколько оплеух. Каждую оплеуху сопровождал отборной бранью. Подскочили охранники, скрутили Косте руки и потащили в соседнюю комнату. Если бы до войны Косте сказали, что ему придется перенести все, что выпало на его долю, и остаться живым, он не поверил бы. А вот живет — и не только живет, но и сопротивляется.

Молчание тоже может быть оружием, и Костя неплохо пользовался им. Враги не раз убеждались в своем бессилии перед волей коммуниста Хмелевского.

Его втокнули в соседнюю комнату. Переступив порог, он остолбенел от неожиданности: на скамейке, прислонившись спиной к стене, склонив голову набок, весь синий от побоев, сидел Жан. Ноги Кости Хмелевского приросли к полу, глаза впились в изуродованное лицо человека, которого он еще несколько минут назад считал свободным орлом.

Фройлик заметил впечатление, которое произвел на Костю Жан.

— Что, теперь узнаешь?

— Нет, — быстро ответил Костя.

— А ты узнаешь? — обратился Фройлик к Жану. Тот отрицательно покачал головой.

— Подождите, узнаете!

Костю повели в тюрьму.

Недаром говорят люди: «Кабы знал, где упадешь, так бы соломки подостлал». Там, где Жан опасался, что может нарваться на гестаповцев, он умел «подостлать соломки».

А на этот раз он совсем не думал об опасности.

Жил он в Пушкинском поселке, в доме № 5, у Марии Петровны Евдокимовой. Как всегда, выходя из дома, переодевался. Мария Петровна никогда не интересовалась, куда и к кому он идет.

В тот роковой для него день Жан после завтрака надел черное длинное пальто, которое осталось от мужа Марии Петровны, надвинул на самые глаза шапку-ушанку, вытащил из-под подушки пистолет, похлопал им по ладони и сунул его обратно.

— Жан, а почему ты без пиджака, на одну рубашку пальто надел? — заметила Мария Петровна.

— Да мне здесь недалеко, быстро вернусь. — И, втянув голову в плечи, зашагал в Академический переулок.

Это было действительно недалеко от Пушкинского поселка. Жан шел в дом, где когда-то жили Толик Левков и Леонард Лихтарович, сестры Ирма и Эльза Лейзер.

В последнее время Жан начал давать Ирме поручения: она была связной с партизанскими бригадами, расположенными вокруг озера Палик в Логойском районе. Несколько раз Ирма успешно справлялась с заданиями. Правда, друзья предупреждали Жана, чтобы не очень полагался на нее, но он был уверен, что Ирма девушка разумная, — если попадет в руки фашистов, сумеет выкрутиться: она же фольксдойч — русская немка.

Очередная встреча с нею была назначена ровно на двенадцать часов дня. В запасе оставалось еще несколько минут, и Жан шел медленно, всю грудью вдыхая чистый, свежий, морозный воздух. С детства любил он быть вот так, под открытым небом. Его угнетали, давили потолок и крыша, стены, до которых можно дотянуться рукой. Только ради того, чтобы как можно реже попадаться врагам на глаза, он был вынужден теперь частенько сидеть в помещении. Зато каждая вылазка на улицу доставляла ему истинное наслаждение.

С бодрым настроением переступил он порог дома, в котором жила Ирма. Не успел сделать и несколько шагов, как целая свора дюжих гестаповцев навалилась на него сзади, уцепилась со всех сторон.

Жан изо всей силы рванулся, и они повисли на нем, как на карусели, но держались крепко, цепко, по-собачьи. Сколько их было, он в полумраке коридорчика не мог разглядеть. Вокруг образовалась живая стена.

Руки выкручивали за спину. Правую он успел вырвать и дал двум гестаповцам таких тумачков, что они больше уже не цеплялись за него, зато другие все же повалили его на пол.

Но Жан не сдавался. Еще двое гестаповцев, которых он крепко двинул ногами в живот, со стоном и криком выкатились на улицу. А из комнат выбегали новые, и они наваливались на него и друг на друга. Скоро Жану нечем стало дышать. Сначала ему скрутили проволокой ноги, только после этого общими усилиями, крепко держа руки, повернули лицом к полу, руки заломили за спину и тоже скрутили проволокой. Концы проволоки связали между собой, подогнув ноги так, чтобы он не мог ударить ими своих палачей.

Крепкие, откормленные гестаповцы стояли над ним, вытирая свои раскрасневшиеся морды, сопели и хрюкали от одышки. Они знали, что Жана легко не возьмешь, но не представляли, что он такой сильный и упрямый. Не часто им попадали в руки люди, наделенные такой физической силой и ловкостью.

А он лежал связанный и не верил себе, не верил своим глазам. Все казалось страшным сном: еще минута, еще две, он проснется и вздохнет с облегчением...

А страшный сон не проходил. Над ним стояли гестаповцы, сопели, пыхтели. Если бы он меньше вымотал их, может быть, они, по привычке, пинали бы его ногами, сгоняли бы на нем свою звериную злость. Однако его не трогали: слишком страшен он был для них, даже скрученный проволокой.

— Потасили! — приказал старший из гестаповцев.

Всей оравой они снова вцепились в Кабушкина и поволокли его на улицу. Почти к самой двери подъехал «черный ворон». Связанного подпольщика сунули в ненасытную пасть этой страшной машины. Другой «черный ворон» с гестаповцами стоял рядом.

— Форвертс! — раздалась команда.

Последний раз вольное голубое небо мелькнуло перед глазами, и в тот же миг все заслонил густой, непробиваемый мрак — гестаповцы с треском закрыли дверь.

Теперь настало время подумать: что же случилось? Предала Ирма? Или кто-либо выследил? Во всяком случае, фашисты могли прийти сюда только по следам Ирмы. Кроме нее, никто не знал о времени явки.

Что ж, допрос покажет.

Следователь Фройлик встретил арестованного еще внизу, возле входа в здание СД. Такой «почет» арестованному он оказывал впервые.

— Рад видеть вас, Жан, — льстиво сказал он и сразу же приказал гестаповцам развязать ему ноги. — К нам он сам идет, слышите?!

Гестаповцы бросились выполнять приказ. Когда крепко скрученные и онемевшие ноги были освобождены от проволоки, Кабушкин изловчился и дал пинка гестаповцу, который уже не видел опасности для себя и спокойно стоял около арестованного. Тот кувырком полетел в снег, потом вскочил и налетел на Кабушкина. Однако Фройлик остановил его:

— Не трогай! Нечего ртом мух ловить... Ведите арестованного ко мне..

В своем кабинете Фройлик был также исключительно вежливым. Приказал развязать Жану руки.

— Садитесь, Жан... Извините, я по кличке вас называю. Но я так привык уже к ней, что фамилию Бабушкин и имя Александр не всегда и вспоминаю...

«Гляди ты, удивить хочет... — насмешливо подумал про себя Жан. — Не много же ты знаешь, собачий сын... Мы с тобой еще потягаемся».

— Прошу сразу объяснить мне причину неожиданного нападения на меня и моего ареста... На меня налетели незнакомые люди и начали выкручивать мне руки... Что оставалось делать, как не сопротивляться?..

— Давайте разговаривать искренне, — заглядывая Жану в глаза, сказал Фройлик. — Вам не нужно притворяться невинным. Мы все знаем о вас, все, все!.. Начиная с тысяча девятьсот сорок первого года... И о вашей работе по заданиям подпольного большевистского комитета, и о связи с партизанами, обо всем буквально. Дело на вас заведено в СД давно. Искренне говорю: мы простим вам все преступления, которые вы совершили против великой Германии, но при одном условии, что теперь вы будете работать на нас. Мы хорошо знаем ваши способности и уверены, что если бы вы захотели, то могли бы искупить свои преступления честной работой на нашего фюрера!

У Кабушкина сразу возник план действий: нужно каким-то образом узнать у этого болвана, считающего себя хитрецом, что же привело к аресту и какова глубина провала, кто арестован еще?

— Вы сначала объясните мне, господин начальник за что меня арестовали? Я ничего плохого не делал, жил тихо, пристойно, и вот что получилось...

У Фройлика от нервного напряжения передернулись толстые губы и запрыгала бровь. Ему трудно было сдерживаться и играть роль ласкового, гостеприимного хозяина. Но следователь боялся поспешностью испортить дело. А может, и клюнет еще? Вот была бы находка! Нужно припереть его фактами, тогда он станет более сговорчивым.

Незаметно нажал кнопку и приказал:

— Привести сюда Лейзер.

Да, теперь Жану кое-что стало понятно. Но выводы делать рано, нужно подождать, что будет дальше.

Ирму трудно было узнать. Она казалась тенью. Палец на одной руке черный. Рука вся распухла. Шла

Ирма тихо, осторожно, еле переставляла ноги. Видно, девушку сильно истязали.

— Знаете ее? — спросил Фройлик.

Жан молчал. Он пристально, неотрывно смотрел на Ирму. А она, сделав еще два шага в его сторону, протянула искалеченную руку.

— Прости меня, Жан!.. — вырвалось из ее груди. — Я все вытерпела, но, когда подключили ток к пальцу, не хватило сил... Прости! — И бросилась перед ним на колени.

— Вывести! — приказал Фройлик.

Ирму вывели.

— Ну, так что же вы решили, господин Бабушкин? Теперь вы видите, что мы хорошо знаем, кто вы такой и что вы сделали в ущерб великой Германии. Надеюсь, разговор сейчас у нас будет откровенный.

— Снова повторяю, что я ничего не знаю, — открыто глядя в глаза следователю, ответил Жан.

— Ах, ты так, собака! — вырвалось у Фройлика, и привычным движением он сунул арестованному кулаком в зубы. Но Жан даже не пошатнулся, только мотнул головой. В тот же миг сильный, резкий удар своротил челюсть Фройлика. Следователь заревел, как кабан на бойне: дикий, низкий горловой вопль постепенно превратился в визг. В комнату ворвались сразу пять гестаповцев — кто с резиновой дубинкой, кто с ножкой от стула, кто с хлыстом из телеграфных проводов. На Жана посыпались удары со всех сторон. Сначала он успевал отвечать одним ударом на десять, но и его могучее тело не выдержало такой старательной молотьбы.

Больше часа валялся он без сознания на полу. Потом его затащили в подвал и бросили в каменный мешок.

Очнулся не скоро. Сознание возвращалось постепенно, пробиваясь сквозь густые клубы темных туч. То вдруг возникало какое-то осознанное, осмысленное ощущение или воспоминание, то исчезало, заглушенное приступом нестерпимой боли.

«Как попала Ирма к ним в руки? — была первая мысль Ивана Кабушкина. — По ее виду и поведению можно судить, что не сама пошла. Но что нашли у нее, что знают эти выродки, к чему прицепились?»

Едва очнулся, как снова повели на допрос. Фройлик больше не прикидывался ласковым. Со страшной ненавистью смотрел он на Кабушкина и, когда того поставили перед столом следователя, подошел и с наслаждением ударил в висок. Но Жан не смог ему ответить — охранники заранее связали ему руки за спиной.

— Ну, говори, бандит, кого знаешь из партизан?

— Никого.

Плеть свистнула в воздухе и полоснула Кабушкина по спине.

— Врешь, большевистская собака. Мы все знаем.

— Так зачем спрашиваете?

— Признавайся, бандит, меньше бить будем.

— Мне не в чем признаваться.

— Кому ты обещал переслать пистолет?

— Никому.

— А это что?

Фройлик вытащил из ящика стола записку одного командира партизанского отряда, который просил Жана найти в городе и переслать ему пистолет. Фамилия командира знакомая — несколько раз с этим человеком Жан встречался в лесу.

— Записку мы взяли у Лейзер...

«Какой же он дурень, — подумал Жан об авторе записки, — пишет открытым текстом и посылает со связной такие бумажки. Что значит, человек не знает конспирации. А теперь плати за это своей шкурой...»

— Мало ли кто кому пишет записки... — неопределенно ответил Жан на вопрос следователя. — Меня эта бумажка не касается.

— Еще как касается! Здесь черным по белому написано: «Жан, пришли мне...»

— Это какая-то провокация.

— Ну, сейчас ты заговоришь!

Гестаповцы повели Жана в комнату пыток. Повалили на пол, содрали одежду, потом втащили на станок и привязали. Били резиновыми плетями долго, смакуя каждый посвист плети. Били даже и тогда, когда Жан терял сознание.

Отходил он несколько часов. Когда пошевелился, потащили на электрический стул.

Это были адские пытки. Два чувства охватили Жана: нестерпимая, нечеловеческая боль в каждой клеточке большого, молодого тела и желание вытерпеть эту боль, оказаться сильнее ее. Всего корчило, ломало. Лютая, беспощадная сила, казалось, дробила кости. А перед глазами стояли и нахально улыбались жирные фашистские морды. Они были уверены, что он не выдержит, запросит пощады, и только ждали, когда наступит эта желанная минута.

Нет, напрасно ждали враги, что коммунист Кабушкин попросит у них пощады! Пусть ухмыляются, пусть кривляются, не праздновать им победы над подпольщиком Жаном! Они могут растерзать его тело, вырвать сердце, но над душой коммуниста враги не властны. Она принадлежит ему, партии и Родине. И пока Жан будет жить, пока он еще дышит, ничто не заставит его предать свое отечество, никакие пытки. Собрав последние силы, он плюнул в наглуую, расплывшуюся от ухмылки морду. И снова потерял сознание.

Дни шли за днями. А может быть, месяцы? А может быть, годы? Потерялся счет времени. Обычно Жана приносили от следователя в бессознательном состоянии. Лишь изредка добирался на своих ногах. И тогда он видел, что в том коридорчике подвала, где находилась его камера, тускло горела электрическая лампочка и две девушки прибирали камеры и коридор. Тут же был и начальник охраны этого угла подвала — стоял его столик.

Девушки иногда бросали взгляды на Жана, но разговаривать с арестованными им было запрещено. Да и что могли сказать они, девчата из минского гетто, которых ежедневно под конвоем пригоняли сюда на работу? Разве только посочувствовать изувеченному парню?

Грязный потолок, грязные скользкие стены, грязный цементный пол. Деревянные нары — три доски, покрытые клеенкой, да мешочек, набитый грубой соломой, вместо подушки — вот и все.

Двери в камере — деревянные, со щелями, и запирались они снаружи на небольшой, простенький замок. В коридоре находилась специальная охрана. Чтобы вырваться отсюда, нужно было пройти еще несколько постов. Поэтому гестаповцы и ограничились таким плохим замком.

Над дверью светилось небольшое окошечко с решеткой. Свет в камеру попадал только оттуда да из

щелей двери.

Наконец его оставили в покое. Не вызывали на допрос второй день. Потом и еду перестали носить, а вскоре и воды не дали. Будто забыли, что он существует на свете.

Начались самые страшные пытки.

Многое передумал Иван Кабушкин, лежа на нарах. Перебирал в памяти все, что делал с первого дня войны. Да, жил он правильно. Правда, кое-что он сейчас бы сделал иначе, но в общем упрекнуть себя не за что. Все, что делал, шло от чистого сердца советского человека.

Не раз водили его на очные ставки с Хмелевским и некоторыми другими подпольщиками. Он никого не признавал, кроме Ирмы, выдавшей его. Но и ее старался понять. Разве могла она, девушка, выдержать нечеловеческие пытки! Конечно, обидно было, что так нелепо попал в руки врагов, но поправить беду уже нельзя...

Так и не узнал он, что Ирма случайно наткнулась на полицаев, когда возвращалась в Минск из отряда, и они, обыскав ее, нашли злополучную записку командира партизанского отряда. За это и арестовали ее.

Однажды во время очной ставки, улучив удобный момент, когда Фройлик занялся другими арестованными, Ирма тихонько спросила Жана:

— Меня посылают в лес, что делать?

— Делай, что приказывают, но имей голову на плечах...

Нашла место для инструктажа! Но она, видимо, поняла его правильно: нужно идти в партизанскую бригаду по приказу гестаповцев, дать им расписку, что согласна стать их агентом, но в лесу рассказать обо всем, признаться во всем и отдать себя на суд партизан.

— Эльзу взяли заложницей... — снова прошептала Ирма.

— Иди, — приказал Жан. — Если можешь выбраться отсюда — иди и расскажи обо всем.

В знак согласия Ирма чуть заметно кивнула головой.

Ирма многое видела в СД и может рассказать товарищам, что здесь делается, кто схвачен гестаповцами. Это будет весть живым от мертвых. А что касается Эльзы, то ее все равно расстреляют. Из этого дома живыми не выпускают, надеяться не на что.

Лежа на нарах, Кабушкин старался представить, где в тот момент была Ирма. В памяти вставали огромные вековые сосны... Они тихо шумят верхушками в самом поднебесье, ноздреватый, слежавшийся снег под ногами, лесная, слабо наезженная дорога вьется между деревьями... По этой дороге, скрипя сапогами, торопится Ирма, чтобы сообщить и о своем вынужденном предательстве, и о своем раскаянии, и о мужестве Жана, и обо всех остальных узниках СД. Пусть партизанский, а может быть, и военный трибунал решит, какого наказания заслужила Ирма Лейзер.

В том, что она пойдет и выполнит его приказ, Жан не сомневался. Даже скованный, изувеченный, он оставался для нее авторитетным командиром. Это он видел по глазам Ирмы, чувствовал по ее голосу. Ему не суждено было проверить, выполнила ли Ирма его приказ. Но она выполнила: пошла в лес и рассказала партизанам обо всем, что с нею случилось.

Партизаны не судили ее, а направили через линию фронта. Ситуация очень сложная, в ней нужно было разобраться основательно, не по-походному. Пусть разберется военный трибунал.

А над Жаном и вокруг него оставались грязный потолок и грязные стены каменного мешка, тишина, одиночество. Только сверху время от времени доносились стоны людей, которых пытали

гестаповцы.

Утром приходили девчата-еврейки и начинали уборку коридоров и камер гауптвахты, где сидели арестованные гестаповцы. Убирали и камеру Жана. В это время его обычно выводили из камеры. Это было издевательством: человека, которому уже несколько дней не попадало в рот ни кусочка хлеба, ни росинки воды, выводили в клозет... Но немецкая аккуратность требовала этого, и охранники соблюдали распорядок дня.

В соседних камерах сидели арестованные предатели-латыши. Они угодливо, по-собачьи служили своим хозяевам из СД, но их поймали на каком-то жульничестве — не хотели делиться награбленным со своими хозяевами. За это и держали их в тюрьме.

Предателей-жуликов хорошо кормили и даже передавали им вино и папиросы. Невыносимо дразнящие запахи вкусной еды через щели в дверях доносились и до Жана. Это было самой сильной пыткой.

И все же голод легче было переносить, чем жажду. Все нутро Жана горело, адский огонь разливался по телу. Стоило только закрыть глаза, как начинался бред: под самым носом струились серебристые ручьи, появлялись так явственно видимые, осязаемые, совсем реальные столы, заваленные разной едой. Чего только не видел он здесь: и жареных гусей, и фаршированных поросят, и отбивные величиной в две ладони.

Тряс головой, гнал от себя видения, а они теснились перед ним, одно соблазнительнее другого. Поэтому шорох около порога и записку, просунутую сквозь щель в двери, он воспринял как галлюцинацию. Откуда здесь записка — в самом изолированном месте во всем Минске! А может быть, это какая-нибудь новая провокация?

Однако записку поднял. Она была коротенькая.

В ней сообщалось, что есть возможность наладить с ним связь, что можно доверять тому, кто передает этот листок. Авторы записки намекали, что принимают меры к тому, чтобы подкупить адвоката или следователя и таким образом спасти Жана. Писали еще, что к Марии Петровне Евдокимовой часто заходит Толик Большой и все спрашивает, где склад оружия, которое собрал Жан для партизан. Внизу инициалы: «Ш. Я.».

Да, это инициалы Шуры Янулис. Но есть ли в этом уверенность? А может, снова гестаповцы пытаются спровоцировать?

Прислушался. За дверью только девичьи шаги и вздохи. Девушка даже тихонько запела, — наверно, для того, чтобы обратить на себя его внимание и дать понять, что в коридорчике она одна. В соседней камере латыши о чем-то спорили между собой.

Через минуту в дверной щели мелькнул маленький пакетик бумаги, в котором Жан нашел карандашный графит и записку.

Долго колебался, отвечать ли. Нет, лучше подождать, посмотреть, что будет дальше. На другой день во время уборки белесая девушка, совсем непохожая на еврейку, вошла в его камеру. Жана перестали выводить в клозет — он только выходил за дверь, чтобы не мешать девушке. Стоя в коридоре, невольно присматривался к замку, висевшему на двери камеры. Замок знакомый, стандартный, такие не раз приходилось держать в руках.

Работала девушка старательно, быстро, ловко. Видно было, что ее руки привыкли ко всякой работе. Начальник гауптвахты — также латыш — сидел за своим столом и что-то читал. На девушку не

обращал внимания. А она бросила молниеносный взгляд в сторону начальника, а затем осторожно отодвинула подушку, готовая незаметно схватить записку, которая должна лежать там. Под подушкой ничего не было. Девушка вопросительно, недоуменно взглянула на Жана. А он стоял, держась за дверь камеры, и внимательно следил за каждым ее движением.

В глазах девчины он прочитал и укор, и призыв к смелости, и теплое человеческое сочувствие, и даже девичье восхищение. Удивительно, как много чувств может выразить короткий взгляд! Нужно только уметь заглянуть в человеческую душу.

А Жан умел это делать. Он незаметно подмигнул девушке: мол, жди, завтра напишу, так как убедился, что ты своя...

Уходя, уборщица еще раз открыто, смело, будто подбадривая, взглянула ему в глаза, а он вернулся на свое место и задумался. Через дверь слышал, как начальник сказал:

— Фрида, запири камеру на замок.

— Хорошо, пан начальник... — послышался певучий, приятный голос Фриды.

Снова червяком зашевелилось сомнение: не провокация ли здесь? Очень уж непохожа эта беляночка на еврейку... Только имя еврейское — Фрида. А может быть, она немка? Разговаривает с латышом-начальником по-немецки. Писать записку или нет?

Взгляд девушки говорил: пиши! Очень чистым он был, этот взгляд, — светлый, открытый. И тревога, что записки не оказалось, и догадка, что он не доверяет ей, и обида за это, и сочувствие, и желание сделать что-нибудь хорошее, и даже восхищение, которое он прочитал в ее глазах, — все это было искреннее, сердечное.

И наконец, ему нечего терять. Самое главное и самое ценное — свобода все равно утрачена. Выдать он никого не выдаст, а рискнуть можно. Сердце подсказывало, что Фрида — девушка честная и она действительно имеет связь с Шурой Янулис. А если так, можно подумать о побеге из СД. Возможно, эта девушка и поможет ему.

Прислушался. Арестованные гестаповцы в соседней камере тихо разговаривали. Из-за стены глухо доносились их голоса. Начальник снова куда-то ушел. В коридоре снова осталась одна Фрида. Потом пришла другая девушка, которую Фрида называла Розой. Разговаривали они тихонько. Из их разговора он понял, что Роза убирала в другом коридоре подвала, что Фрида и Роза — сестры. Они все беспокоились о своей матери, которая оставалась в гетто. Там готовился очередной погром.

«Рискну», — решил Жан.

Написал две записки — Фриде и Шуре Янулис. Фриде писал:

«Дорогая патриотка! Я от души благодарю тебя. Во мне будь уверена, разве ты не видишь мои муки? Я умру, но не назову. Мы оба с тобою кандидаты смерти. Тебе все это понятно. Твое спасение — это мое спасение. Тебя я не забуду никогда. Будь сама сильная, я про тебя никому и никогда. Латыша очень не бойся, но и не показывай, что со мной связана. Мой чаше, воду лей там, где все получаю. Тут она не будет разливаться, и я приспособлю место, тут значительно чище и удобней — угол и щель.

Жму руку и крепко целую».

Подумав, снизу дописал:

«Страна тоже отблагодарит».

Мысль о воде пришла сразу, когда начал писать: пусть Фрида поможет ему. Она же моет пол и в

камере и в коридоре — немцы боялись тифа и руками евреев наводили в тюрьме чистоту. А Жан сколько раз, после того как Фрида, вымыв камеру, уходила, припадал лицом к влажному полу и лизал, лизал сырой цемент. Пусть она не вытирает так сухо, и он хоть немного утолит жажду... Около нар, в стороне от двери, — место более чистое, и там есть небольшое углубление в полу. Если начальник и заметит там воду, то не заподозрит ничего: не вытерла в ямке — и все.

А ему сейчас больше всего нужна вода. Уже несколько дней гестаповцы не дают ему ни капли воды. Только путешественники, которые долго блуждали в раскаленной пустыне, могли испытывать такие страшные мучения. Искалеченное тело жаждало влаги, каждый мускул кричал: «Воды! Воды!» И уж если такой человек, как Иван Кабушкин, бросался лизать вымытый пол, значит, муки были действительно нестерпимые.

Шуре Янулис написал:

«Дорогие!

Я жив и здоров. Прошу своих инициалов не ставить и меньше путаться с друзьями, учтите, что никакая дипломатия меня не спасет».

Это ответ на их хлопоты об освобождении с помощью следователя или адвоката. Теперь нужно предупредить относительно Толика Большого.

«Узнайте у Мар. Пет., отдала ли что-нибудь? Передайте, пусть сидит дома, язык за зубами и гонит в шею всяких «Т» и ему подобных и ни гвоздя не дает, а то они ей пастухов приведут, и для меня будет лишняя мука; и сама — ни с кем, это будет верней; и быстрее — выполнять мои просьбы. Пока собирались, и дела у меня стали хуже... Про себя пиши — говори «я», про нее — так про нее, а Мар. Пет — две кавычки » » — и все. Только поворачивайтесь быстрее, а она пусть просовывает под стык последней и предпоследней доски дверей».

Планы у него всегда рождались мгновенно, как молнии. Он сделал вывод, что чем более смелым и дерзким будет план, тем больше шансов на успех. Нужно ошеломить врага неожиданностью.

Взял еще один листок бумаги и, внимательно присматриваясь — в камере было совсем темно, — дописал:

«Прошу убедительно подобрать такой ключик. Он плоский, от наших стандартных замочков. Форма...»

Дальше нарисовал форму ключа.

А на третьем листочке уже каракулями сообщил: «...Дальше я подслушал: дезертир Вайчковский из Заславского района здесь продает. Жму руку».

Думал, что на первый раз хватит. Но вдруг появилась новая идея: «И еще прошу убедительно прислать крестик на шею, обязательно. Попробую святым быть перед дьяволом. Простите, пишу почти в темноте».

На следующий день Фрида зашла в камеру, когда начальник стоял около двери. Она начала не торопясь мыть пол. До нар и не дотрагивалась. А как только начальник повернулся к столу, быстренько сунула руку под подушку. Записки в одно мгновение оказались у нее за пазухой. Девушка, будто ничего не случилось, продолжала мыть пол. Жан показал ей глазами на ямку около нар и облизал губы. Она поняла. Вымыла ямку и плеснула туда воды, а сама занялась нарами. Впервые за пять дней ощутил он на своих губах влагу. Горло судорожно сжималось, когда он, задыхаясь, вылизывал воду на полу.

Улучив момент, Фрида передала ему плитку шоколада, кусок хлеба. Это было большим событием в тюремной жизни Жана. Теперь его друзья не дадут ему умереть от голода и жажды.

Фрида сообщила ему запиской, что начальник часто оставляет ее одну, иногда запирает коридор, где находится его камера, а иногда и не запирает, и она остается одна полной хозяйкой.

Так было и в тот день.

— Ну, Фрида, оставайся здесь и смотри, чтоб все хорошо было, а я пойду в баню, — сказал начальник. — Скоро приду.

— Не беспокойтесь, пан начальник, все будет в порядке.

— Я надеюсь на тебя, Фрида...

И посмотрел на нее масляными глазами. Он, заметно было, ухаживал за ней, и только, видно, страх перед начальством заставлял его сдерживать свои порывы.

Оставшись одна, Фрида написала об этом Жану. И просунула записку в щель. Если бы заранее были подготовлены ключ и соответствующая одежда, она спокойно могла бы выпустить его из камеры, дать переодеться в одежду рабочего и провести в толпу евреев, занятых какой-то работой в подвале.

«Только арестованные фашисты мешают, — сообщала она Жану. — Их тут девять. Мне нужно выбрать момент, когда их здесь не будет, а то услышат, что я отпираю твою камеру, и начнут шуметь. А может быть, они договорились с начальником и нарочно оставляют меня одну, чтобы проверить, словить...»

У страха глаза велики, они видят даже и то, чего нет на самом деле. Фриде все казалось, что с тех пор, как подпольщики втянули ее в работу, поручили ей связаться с Сашей (так звали Ивана Кабушкина в СД, где он числился Александром Бабушкиным), гестаповцы непрестанно следят за каждым ее шагом, расставляют ей разные западни, чтобы словить и повесить. Настороженно ловила она каждый шорох в подвале.

Жан старался успокоить ее. На записку ответил сразу:

«Дорогая! Какой удобный случай, а ведь ты сегодня сама его создала. Нет иного, более удобного плана, чем этот. Этих (он имел в виду латышей) запирают, он (начальник) выходит — ты хозяйка! Ты возьми 50 марок, купи или стащи грязный халат или вроде этого, положи в карман грязных тряпок в бензине, в масле и т. д., чтобы я мог вымазаться. Халат пока спрячь, а если подберешь ключ, то его спрячь в уборной за трубой или еще где-нибудь. В день побега ключ быстро подбирай. Который не подойдет в отверстие, дай мне, я поточу. Медлить нельзя, ведь я еще не так замучен, могу двигать ногами. Начнут бить скоро, лицо изуродуют, тогда все погибнет... Ты сделай только одно, а я - все. Будешь мыть — дай воды в обед. Прочитай внимательно. Целую».

Вместе с этой запиской третьего марта написал Янулис:

«Дорогие! Всех крепко целую, «М. Пет.» я просил, чтобы она ничего никому не давала. Вы у нее должны были узнать, давала ли, и пусть гонит в шею «Т» и ему подобных... С Сем-ном (Семен — подпольщик, фамилию которого не удалось установить, погиб во время отправки людей и оружия в партизанскую бригаду) можете подружиться, но прошу: на квартиры — ни вы, ни он. Он и будет давать сводки, ему привет, и пусть мое бережет. Он нужный и хороший...»

Нужно для любого плана:

Измазанная куртка... лезвие бритвы, и нитка с иголкой черная, и решительность ее. Ей дам указания. Ей подберите квартиру, чтоб было где побыть дня два-три.

Мне готовьте сапоги 43 размер, и пиджак хороший, и денег. И быстрее с ключом делайте. Она сама должна подобрать. Ее поддерживайте, что нужно ей. На этой неделе должны решить. Все получил, еще что-то есть у нее. Крепко обнимаю.

А вы по тому образцу ей готовьте».

План приобретал все более очерченную форму. Главное — чтобы не побоялась Фрида. Все теперь зависело от ее решительности, смелости, находчивости. Жан изучал детали плана. Он запиской попросил Фриду сообщить ему, как ходят во дворе мужчины, как выходят из подвала и кто задерживает их, много ли приводят на работу в тюрьму СД евреев-мужчин и как они выходят: пересчитывают их или проверяют по фамилиям, ходят ли часовые там, где выводят мужчин... «Я решил свой план выполнить только с тобой, — писал он Фриде. — Что делать? Нужно тебе подобрать ключ ко мне, а это легко. Ты останешься одна и выполняй... Самое главное — замок запирается без ключа. Нужно тебе достать какую-нибудь замавленную куртку. Если нужно — купи, денег знаешь где взять. И мы должны выполнить на этой неделе — не позже субботы. Лей больше и чаще воды.

План опишу, делай вышеуказанное быстро. Целую».

А Янулис писал:

«Дорогие! Все должно быть готово. Пусть будет комбинезон, пилютка или халат. Одолжите у соседа напрокат, пришлите нашивку, только слабо (нашивки по приказу фашистов носили евреи). Но все нужно очень быстро. Главное — боюсь за нее, она боязливая, а без нее все пропало. Она должна в один момент отпереть, выпустить меня — и все! А дальше все сам. Получил все.

«С» верьте, как и мне!

...Прошу посмотреть: есть ли кто-нибудь там, где поезд проходит из руин в Дом правительства? И самое главное — в тот же день и ее взять, а пока нажать, рассказать о нашей совместной гибели рано или поздно. Люди много хуже делают, а она молодчина все же.

Присылайте, что раньше просил.

Будьте здоровы. Целую».

Фрида теперь регулярно передавала ему не только записки, но и кое-какую еду, понемногу готовила одежду на случай побега. Но делала она все это чрезмерно осторожно, боязливо, так боязливо, что могла провалить дело. Обстановка же складывалась так, что нужно было осторожность сочетать с дерзостью. Арестованные гестаповцы придирчиво следили за каждым шагом, каждым движением Фриды уже потому, что она девушка, к тому же еще довольно привлекательная.

Вместе с тем и начальник и даже арестованные гестаповцы чувствовали, что за этой девушкой нужно хорошенько присматривать, что хотя она и тихая и ласковая с начальством, а в глубине ее глаз то и дело вспыхивают огоньки ненависти.

Жан видел, что происходит с Фридой. Ее нужно было поддержать. А тут у самого неизвестно в чем держится душа. Только кусочки шоколада, хлеба или сахара, которые Фрида передавала ему, поддерживали жизнь. Самого дорогого — воды — она не могла передать столько, сколько требовал обессиленный Жан.

Если в таком положении опустить руки, раскиснуть — смерть. За жизнь нужно бороться.

«Дорогуша! — высказал он ей свои мысли. — От всего сердца благодарю, милая! Ты знаешь — будь груба с арестованными, ругай, не открывай, чтоб он в тебе больше был уверен, а он, дурак, любит,

если кто с нами груб. Побольше кокетничай с ним.

Далее прошу больше воды, так как вода — это и пища моя. Меня удовлетворяет внизу... Может быть, как-нибудь там напьюсь. Здесь я все вытираю. У тебя есть возможность положить и хлеб или еще что-нибудь наверх к решетке или просто бросить.

Если бы ты его обработала и была бы камера свободная на той стороне, было бы очень хорошо для плана. Ну, а если нет, то и так сойдет.

Прошу, дорогуша, будь смелая и решительная. Крепко целую. План завтра».

Иногда удавалось передать ей несколько записок в день. Этого требовали интересы дела. Чем ближе был решающий момент, тем больше волновалась Фрида. Она даже изменилась в лице: красивые серые глаза глубоко запали в глазницы, черные тени легли под ними, нервное напряжение чувствовалось в каждом движении девушки.

Были удобные моменты, когда она могла выпустить его из камеры. Тогда он быстренько прошмыгнул бы в уборную, надел бы там халат или комбинезон с нашивками, хорошенько вымазал бы лицо машинным маслом и бензином, и его могли бы принять за одного из рабочих, которых ежедневно приводят сюда из гетто. В толпе евреев он под конвоем вышел бы за ворота тюрьмы. А там уже и свобода!

Требовалось только одно: когда выйдет начальник и арестованные гестаповцы будут сидеть в камере — открыть Жану дверь, выпустить его и запереть на замок пустую камеру, чтобы гестаповцы не догадались о побеге. А они не скоро спохватились бы — только когда нужно будет вести узника в уборную.

И все же она не отважилась открыть ему дверь. Ей казалось, что даже из запертой камеры латыши следят за нею и ждут момента, чтобы выдать ее.

А время шло, и силы покидали Жана. Но он набирался терпения и продолжал переписку:

«Дорогуша! Прошу убедительно достать мне обязательно и неотложно резиновой трубки 25 — 30 сантиметров. Без воды умираю. И будь смелой, латыши сами помогают. Когда моешь пол, сначала поставь банку с водой на окно и плесни мне под дверь, я хоть с пола. Когда они меня в уборную погонят, в это время можно и хлеб и воду под подушку».

Резиновую трубку ему сразу же передала Янулис. Это была обыкновенная трубочка от пульверизатора.

Теперь Фрида по несколько раз в день мыла пол в коридоре, где сидел начальник. Старательность и трудолюбие этой девушки нравились шефу, и он никогда не запрещал ей лишний раз навести чистоту.

Она умышленно разливала воду по всему полу так, чтобы начальник вышел за дверь.

— Вы простите меня, пан начальник, — наивно глядела на него своими большими серыми глазами, — я, должно быть, мешаю вам... Но я быстренько...

— Хорошо, можешь мыть, я побуду за дверью.

Как только он выходил, Фрида ставила банку с водой возле камеры Жана. Из дверной щели высовывалась резиновая трубочка и опускалась в воду. Жан жадно сосал, тянул воду изо всей силы. Фрида становилась так, чтобы загородить собою банку на тот случай, если начальнику вздумается вернуться. Тогда стоит ей кашлянуть, и Жан мгновенно спрячет трубку.

Но все обходилось удачно. Жану стало легче жить. Каждый день с воли ему что-нибудь передавали.

И хотя еды было чрезмерно мало, но он уже не мог умереть с голода.

Однажды Фрида пришла с работы домой особенно возбужденная. Саша перевернул ее душу. Прежде в сердце была одна черная безнадежность и страх перед неизбежной смертью. Теперь и у нее родилась жажда борьбы и мести врагу. Хотелось высказать свои мысли и чувства той женщине, которую она никогда в жизни не видела, но которую глубоко уважала за то, что она продолжает на свободе дело Саши. Фрида решила написать ей откровенно:

«Шурочка!

Прочитала ваше письмо. Оно меня так тронуло за сердце, что я не выдержала и залилась слезами.

Ведь я не сплю ночами, днем не могу работать, думаю только о спасении такого очень ценного человека — человека особенного. Таких, как он, у меня было очень мало, так как это настоящий герой, терпит такие пытки — голод, жажду — и «ничего, никогда, никому» — его девиз.

Я как могу — поддерживаю и решила: если что случится со мной, последую примеру «С» — ничего никому.

Была как-то зимой приведена девушка — звали ее Зина Пугачева. Ее, как видно, взяли при выполнении задания. Ее привели в камеру, и она сказала окружающим, что, как бы ее ни мучили, ни били, она будет как Ленин. Ее замучили — не выдержала побоев, ночью же умерла, но ни слова...

Шура! Я уже насмотрелась всего, мне смерть не страшна. Но что же, моя нерешительность к действию зависела от некоторых обстоятельств. Сегодня они выявились. То, о чем я все время думала, что меня пугало и останавливало мою решимость спасти ценную жизнь, сегодня подтвердилось. Эти бандиты, убийцы (латыши арестованные) хотели через меня непосредственно искупить свою вину. Такой гений, как «С», глубоко ошибался в них. Они могут очень хорошо играть. Они притворились хорошими советскими людьми, не против, чтоб «С» спасся. Я «С» каждый день писала, что только они мне мешают, что никакого доверия у меня к ним нет: услышав только звук открываемого замка, они могли бы выдать меня...

Они не знают о моей связи с «С» и о переписке. Они злы на начальника. И искали путь, как подвести его. Потому что он относился к ним, как ко всем заключенным: не пускает приятелей, не разрешает передавать им курево, водку и т. д. Он установил для них такой же режим, как и для всех заключенных. Латыши искали путь, как бы избавиться от него. И вот сегодня двое из заключенных латышей донесли на начальника, что он оставляет тюрьму и выходит, и сегодня же начальника сняли, и он арестован.

Начальник был хороший, меня оставлял одну, я могла делать все, что мне нужно было, не следил! «С» легко был бы спасен мною, но! Эти убийцы! Теперь вам, мои милые друзья, понятно, чего могла стоить моя решительность. Сколько раз я вставляла ключ и вынимала снова, так как боялась звука.

Им стоило услышать звук, как они бы сказали, что помогли задержать беглеца и т. д.

Сейчас начальник — немец, с отличиями, с двумя кубиками. Когда раздавала обед, он присутствовал и запретил мне отпирать камеру, открывал сам.

Во время завтрака был еще старый начальник. Успела полностью передать шоколад, воду, записку, от него получила записку, которую сожгла в связи с событиями, которые произошли. Он еще утром просил открыть его, я уже набралась было смелости, но опять-таки мешали они. Ключ я ему показала, говорит — такой. Деньги не успела передать. Передам завтра при первой возможности».

Потом Фрида сообщила, что у нее сложился новый план побега — через окно. Но по-прежнему она

боялась арестованных гестаповцев, хотя они и заперты: если услышат, начнут шуметь. На всякий случай описала, как нужно бежать через окно.

«Если завтра не изменится положение, — писала она дальше, — отношение со стороны нового начальника, — значит, потеряна моя связь с «С». Если начальник идет следом за мной — значит, все кончено, и во всем виноваты латыши. Я не знала бы, кто виноват в аресте начальника, но мне во время обеда похвалился арестованный латыш, что он засадил его в тюрьму... И сейчас, я думаю, «С» все понял. Когда во время обеда я разносила еду, «С» даже не подал знака о себе — боялся навести подозрение нового начальника на нашу совместную связь».

Внизу приписала: «Какое радостное утро было для меня — я удачно передала шоколад, много воды дала — необычайная жажда была у него. Боюсь, что от сладкого еще больше пить захочется. Днем уже все переменялось, не могла «С» передать письмо. Скорей бы ночь прошла. Дождаться утра — идти на работу.

С приветом жму руки. Фрида».

Дни шли за днями, полные тревог и забот, надежд и разочарований.

Восьмого марта Роза Книгова топила для гестаповцев баню. Она сидела около печи и задумчиво следила за языками пламени, которые весело танцевали над поленьями дров. На стене дрожала, прыгала ее согбенная тень.

Грустные и тревожные мысли не давали покоя девушке. Что ждет ее, Фриду и мать? Отец уже погиб во время погрома 7 ноября 1941 года. Где-то по ту сторону фронта воюют братья: Мотя, танкист, и Моисей. В Ленинграде — три сестры. Немцы говорят, что Ленинград блокирован и много людей гибнет там от голода, бомбежек и обстрелов. Живы ли они, сестры? И что станет с нею самой? Была возможность перебраться в лес. Их с Фридой охотно взяли бы партизаны — ведь они медички, а в лесу такие специалисты очень нужны. Но не оставишь же старую мать. Правда, она говорила: «Идите, дочушки, спасайте свою жизнь, она еще молодая, а я одна здесь останусь...» Но кто же бросит свою мать в беде?!

А теперь здесь важное дело нашлось. Подпольщики попросили Фриду помочь арестованному Саше убежать из тюрьмы СД, а Фрида привлекла к этому делу и ее, свою сестру. Не оставишь же в беде Фриду и такого человека. Роза несколько раз видела его. Открытое, мужественное, решительное лицо хлопца навсегда запомнилось ей. Такого нельзя забыть. Даже нечеловеческие пытки не лишили его исключительной привлекательности, силы воли, человеческого достоинства. Недаром же Фрида так очарована им.

Мысли девушки были прерваны двумя латышами-гестаповцами. Они вдруг ворвались в баню с криком:

— Где Фрида?

— Придется подождать ее, сейчас придет, — спокойно ответила Роза. — Она пошла получать хлеб. Они молча сели на скамейку и стали ждать. Молчала и Роза.

Вскоре пришла Фрида. Гестаповцы отозвали ее в сторонку, один из них вытащил какую-то бумажку и показал ей. Фрида вспыхнула и горячо запротестовала:

— Как вам не стыдно обращаться ко мне с такой просьбой! Вы же сами служите в СД и хорошо знаете, что такие дела строго запрещаются. Если вы хотите передать что-нибудь своим друзьям на гауптвахту, то делайте это только через начальника, а я не могу ни в чем помочь вам.

— Подожди, не трещи, — перебил ее гестаповец, который держал бумажку. — Ты скажи, кто написал это... Записка написана кем-то из арестованных для передачи на волю...

— Что вы привязались ко мне? Откуда я знаю, кто написал вам записку. Не приставайте!

Гестаповец злобно затряс головой:

— Умеешь отбрехиваться... Тогда скажи, чье пальто висит там, около стола начальника.

Роза подхватила:

— Мое пальто... Я повесила...

— Так вот эту записку я нашел в манжете твоего пальто, — процедил гестаповец сквозь зубы, не спуская глаз с Розы.

Розу будто молотком стукнули по голове. Перед глазами все закружилось. Мозг лихорадочно работал, искал выхода. Отпираться, отказываться от всего — бессмысленно. Гестаповцы поверят своему, а не ей. И заберут тогда их обеих — Розу и Фриду. А сестру надо спасти, выгораживать...

— Пошли! — приказал гестаповец.

Розу повели к следователю. Пока шла, надумала, как объяснить появление опасной записки в ее манжете.

Гестаповец сообщил следователю, что обыскал пальто Розы в три часа дня 8 марта.

Следователь обратился к Розе:

Ну, говори ты... Может, начнешь отрицать?

— Нет, паночек, зачем я буду отрицать? — невинным голосом начала Роза. — Как раз в час дня я пошла в нашу столовую за обедом. В коридоре, где я убираю, увидела сверточек из белого полотна, перевязанный ниткой. Руки мои были заняты посудой, а карманов, как вы знаете, в пальто нет, я и сунула сверток за манжету.

— А зачем ты подняла сверток, который не принадлежит тебе? — спросил следователь.

— Из простого любопытства. Да притом же я уборщица, я обязана поднимать все, что лежит на полу, чтоб чисто было.

— Подожди, признаешься... — пригрозил следователь. — Отведите ее в камеру...

Розу посадили в тюрьму. Обстригли пышные черные волосы и сделали девушку совсем похожей на озорного мальчишку. Две недели вели следствие, не вызывали на допрос. Только 25 марта вызвали на допрос и начали пытать. Били по всем правилам инквизиции.

— Говори, почему подняла сверток с пола, — добивался следователь.

— Я думала, в свертке — деньги, которые потеряли евреи, идя за обедом. Очень часто они теряют документы, деньги и всегда спрашивают у меня, так как я прибираю коридор.

Следователь долго еще бил ее, но девушка говорила одно и то же.

Начальник характеризовал Розу как старательную и честную работницу. К тому же из записки Жана следователи ничего не могли понять — в ней были одни намеки, понятные только тому, кто писал записку и кому она предназначена. Следствие ничего не дало, и через месяц после ареста Розу выпустили и заставили снова убирать коридор в СД.

За это время произошли и другие события. Одни из них поднимали дух Жана, другие — тяжелым камнем ложились на сердце.

Он все время спрашивал: что делается на фронте, каковы успехи Красной Армии? И вот радостная весть: наши наступают по всему фронту и гонят фашистов на запад. Хоть и очень тесно на

маленькой бумажке, многое нужно сказать товарищам, дать распоряжения, но сдержать свои чувства не мог. Восьмого апреля написал: «Рад за успехи родных, только не понял: что, Белгород — сдали?» Каждая радостная весть лечила его раны.

Отношение гестаповцев к нему несколько изменилось. Теперь, как и всем другим арестованным, ему давали баланду, воду. И не вызывали на допросы. Фрида в связи с этим писала:

«Почему не беспокоят «С», мне неизвестно, очевидно, знают, что из него ничего не вытянуть после таких мучительных пыток, какие он перенес, — лишение воды более двух недель и лишение еды около 10 дней — и ни звука!»

Но тут случилась новая беда. На свободе дело Жана продолжал Семен. Он организовал отправку в лес группы военнопленных, убежавших из лагеря, и рабочих минских предприятий. Вместе с Янулис готовили побег Жана.

Всю группу военнопленных Семен решил обеспечить оружием, собранным и старательно спрятанным еще Жаном. В его распоряжении было несколько десятков винтовок, пулемет, пистолеты и гранаты. Все было бы хорошо, только попал Семен на провокацию гестапо. Еще раньше завязал он знакомство с немцами-летчиками. Один из них высказал свое намерение перейти к партизанам. Семен ухватился за это: очень соблазнительно было послать такого перебежчика в лес — он мог бы многое сообщить о фашистах. Немецкий офицер обещал взять с собой еще одного надежного своего друга. А другом этим оказался гестаповец, чего Семен, конечно, не знал.

Когда вся группа, забрав оружие, села в машину, на нее напали и обстреляли из пулеметов. Раненый Семен, чтобы не попасть в руки врага, последнюю пулю пустил себе в сердце. Несколько человек гестаповцы схватили живыми.

Тогда СД и совершила налет на квартиру Евдокимовых. Марии Петровны не было дома — она как раз ходила в партизанский отряд. Гестаповцы арестовали Бориса и Гвиду.

Их жестоко пытали, водили на очную ставку с Жаном. Но он категорически отрицал всякую связь с мальчуганами.

Обитателей подвала, в котором держали Жана, стало значительно больше. Здесь теперь сидели Борис и Гвида Евдокимовы, подпольщица Зина, работавшая прежде в лазарете, и еще восемь человек, которых Жан знал по подпольной работе. Были тут и незнакомые ему советские люди, схваченные гестаповцами за патриотическую деятельность.

Фрида мыла посуду, когда привели знакомых Жана и стали записывать их фамилии. Изредка поглядывая в сторону, старалась запомнить, кто арестован и как держится. Около стены стояла блондинка в коричневом драповом пальто — ее звали Лелей, брюнетка в синем пальто, очень симпатичная старушка. Рядом, прижавшись друг к другу, Евдокимовы. Фрида чувствовала, что Жан сквозь щель в двери наблюдает за ними. Что на душе у него?

Вечером Жан хотел передать записку. Фрида и так и этак старалась подойти незаметно к нему, но новый начальник тюрьмы и его добровольный помощник — арестованный латыш — не отходили от камеры.

Лелю посадили вместе с Эльзой. Ее ежедневно вызывали на допрос и страшно били.

Гестаповцы по-прежнему следили за чистотой. Они требовали от Фриды, чтобы и в коридоре и в камерах не было грязи, которая могла вызвать тиф. Одной девушке трудно было несколько раз в день мыть пол. Она решилась попросить гестаповца:

— Пан начальник, у нас же сидят арестованные женщины. Пусть бы они помогали мне. Одна я чисто все не вымою...

Не задумываясь, начальник согласился:

— Правильно. Пусть работают.

Мытье пола — только зацепка. Она даст возможность свести вместе арестованных, перебраться словом-другим. А это очень важно.

Женщины делали вид, что работают старательно. Разлили воду по всему коридору так, что начальник вынужден был выйти и оставить их одних. Зина пошла мыть камеру Жана, а Леля осталась с Фридой.

Наклонившись над полом и шлепая мокрой тряпкой, Леля шептала Фриде:

— Дорогая, передайте нашим, чтобы меня спасли...

— Нужно уметь самой спастись, — спокойно ответила Фрида. — Главное — не втягивать новых людей. Чем больше будешь называть новых, тем больше будут бить, пока совсем не убьют, надеясь, что найдутся новые жертвы.

— Еще попрошу вас, передайте Саше, чтобы он меня не называл.

— За это не бойтесь. Он так долго сидит — ни слова!

— Я тоже ничего не скажу. Но меня, наверно, расстреляют.

— Не обязательно расстреляют. Люди умеют выкручиваться из беды. Некоторые из воды сухими выходят.

Зина тем временем поговорила с Жаном. Она коротко рассказала, как произошли аресты, кто арестован. Жан жадно ловил ее слова, и они нестерпимой болью отзывались в его сердце.

В последнее время Толик Левков непрерывно курсировал между Налибоцкой пушей и Минском.

Партизанский отряд, где он числился связным, имел много дел в городе, и одной Нине Гариной трудно было справиться. Она и так, переодетая мальчиком-подростком, часто приезжала в город.

Самые бдительные полицейские заставы обходила ловко, хитро, не вызывая подозрений врага.

Влияние партизанского отряда на подпольную работу в городе все время росло. Теперь уже и листовки, и газеты, и мины доставлялись в город из лесу, а для этого требовалось много людей.

Толику поручали одно задание за другим.

Кстати, он имел хорошие связи в Минске, и это помогало ему добывать разведывательные сведения.

Каждый поход связного в город был бы неполноценным, если бы не давал новых сведений о враге.

Командир отряда вызвал Толика и спросил:

— Ну, как ты чувствуешь себя? Какие планы у тебя, разведчик?

— План у меня всегда один — выполнять задание, какое вы дадите мне.

— На здоровье не жалуешься?

— Еще чего!

— Тогда получай новое задание... Возьмешь две мины, отнесешь их Рудзянке. Одной миной нужно подорвать бензосклад в Красном Урочище, а другую использовать на станции Минск, если там будет стоять состав с горючим. Проследи сам, чтобы все было хорошо выполнено.

— Можете не сомневаться, сделаю как следует...

— Тогда всего хорошего, — командир пожал Толику руку и обнял его сутулые плечи. — Хороший ты парень, Толя... Дорог мне, как сын родной... Советую тебе действовать смело, но осторожно. Риск

разведчика должен оправдываться делом. Учти, что твоя жизнь дорога нам всем, а мне особенно...

— Спасибо, — сдерживая свои чувства, ответил Толик. — Я выполню любое ваше задание...

— Ну, хорошо, иди, мальчик... Желаю тебе успеха.

Почему так расчувствовался командир? Сколько раз посылал он Толика на такие опасные задания и всегда был спокоен, уверен, что все обойдется хорошо. Толику все время везло. Хлопец будто в сорочке родился. Их было двое таких — он и Нина Гарина.

Может быть, и полюбил его командир суровой отцовской любовью за постоянную удачу, за смелость, за дисциплинированность.

Была и еще одна причина, заставлявшая командира смотреть на Толика иными глазами, чем на остальных партизан. У этого хлопца была тяжелая судьба. Отец Толика Левкова — старый коммунист, активный участник гражданской войны. Он долгое время работал на ответственных советских постах, был секретарем ЦИК БССР, а затем секретарем Президиума Верховного Совета БССР.

В 1937 году было сфабриковано на него лживое дело. Обвинив во множестве преступлений, его посадили в тюрьму. А вслед за ним посадили и его жену — мать Толика. Толик так ничего и не знал о них все эти годы.

Всем сердцем своим он чувствовал, что отец и мать наказаны несправедливо. Они воспитывали его советским патриотом, учили самоотверженно любить Родину. Отец нередко рассказывал, как он возглавлял подпольщиков Рудобелки в борьбе с белополяками, как, рискуя жизнью, боролся за советскую власть. Такой человек не мог изменить своей Родине.

Толик верил всей душой, что, если бы его отец очутился сейчас здесь, в Минске, живой и здоровый, он, не задумываясь, возглавил бы минское подполье, а если и не возглавил, то был бы самым смелым его бойцом. Отца покарали несправедливо, и он, Толик, должен доказать, что Левковы — честные, самоотверженные советские патриоты.

Командир отряда чувствовал, что происходит в душе у хлопца, и любил его еще больше, любил, как родного сына. Может, по этой причине стал больше тревожиться за него, предупреждал об опасности и просил остерегаться, не рисковать без надобности.

Да и предчувствие беды на этот раз мучило командира. Тревога за смелого, отчаянного хлопца поселилась в сердце, вызвала излишнюю для командира чувствительность.

Зато Толик шел на очередное задание без всякой тревоги. Дорога хорошо знакома, — сколько хожено по ней, все входы и выходы из Минска изучены как свои пять пальцев. Да и настроение было хорошее. Чуткое отношение командира, отцовская ласка крепко запали в сердце. Хотелось ответить на теплые чувства хорошими делами.

Рудзянко встретил хлопца, как всегда, кривой улыбкой.

— Устал? — спросил еще на пороге. — Тогда отдохни.

— Некогда отдыхать. Дела серьезные. Дома никого нет?

— Никого. Выкладывай.

Толик вытащил из-за пазухи две мины, завернутые в тряпки.

— Держи. Одну для бензосклада в Красном Урочище, другую — на железную дорогу.

Лицо Рудзянки еще больше перекошилось.

— В Красном Урочище у меня есть человек. А вот на железной дороге не знаю, как сделать...

Трудно...

Толику не понравилось такое настроение.

— Так уж и трудно?.. Если захочешь, не будет трудно.

— Очень уж ты прыткий, парень... — огрызнулся Рудзянко. — Залезть в пасть врагу не так хитро, а вот как вылезти из нее...

— Ну, хватит пугать. Дай лучше поесть, я сам все сделаю.

— Поесть — это можно, — засуетился Рудзянко. — Прости, что сразу не предложил, — сытый голодного не понимает...

Скоро на столе появилась хорошая, вкусная еда, которой Толик давно не пробовал. Он с аппетитом взялся уничтожать ее, а Рудзянке сказал:

— Заведи мину для железной дороги на одни сутки. Я сейчас пойду с нею...

Что делал Рудзянко с миной, Толик не следил. А тот, пользуясь этим, завел мину не на сутки, а на несколько часов. Если Толик опоздает поставить ее, она взорвется у него в кармане, и тогда еще одним свидетелем связи Рудзянки с партизанами станет меньше. И никто не подумает, что Рудзянко повинен в смерти Толика.

Толик встал из-за стола.

— Вот спасибо тебе за обед, — довольным голосом сказал он хозяину. — Теперь можно и за дело.

Давай мину. А с Красным Урочищем не тяни... Наши наступают на фронте, мы должны действовать еще более активно. Нужно взрывать военные склады. Ну, всего, я пошел!

У Толика были знакомые железнодорожники. У них он одолжил повязку— такую, какие носили тогда все, кто работал на железной дороге, фонарь, молоток. А документы о том, что он работает на железной дороге, были подготовлены заранее.

Одевшись будто бы на дежурство и положив мину в карман, спокойно пошел на станцию.

Дежурному немцу сунул аусвайс под самый нос, и тот, похлопав глазами, разрешил:

— Иди!

На четвертом или пятом пути стоял состав с горючим. Огромные цистерны тянулись из конца в конец станции. Повозившись около других вагонов, он для вида сделал на них какие-то отметки мелом. Для важности вымазался в масле, и теперь никто не сказал бы, что он не на работе.

Потихоньку приблизился к составу с горючим. Часовой-немец крикнул на него:

— Хальт! Аусвайс!

Неторопливо Толик полез под плащ, долго копался в кармане пальто, вытащил сперва кусочки газеты, приготовленные для сигарок, связку грязных тряпок, куски веревок. Немцу опротивело смотреть на его медленные движения, и он подгонял:

— Шнель! Шнель!

— Сейчас, вот сейчас найду... Ага, это я же не в том кармане ищу... Один момент, пан, айн момент...

Поиздевавшись над часовым, он наконец вытащил из другого кармана аусвайс и подал. Глянув на бумажку, гитлеровец сунул ее обратно и плюнул себе под ноги.

— Мне нужно колеса проверить, буксы, тормоза... — объяснил Толик больше руками и мимикой, чем словами, показывая на состав с бензином. — Тук, тук, дзинь, дзинь...

— Гут, — согласился часовой, — арбайт!...

Переходя от колеса к колесу, Толик стучал молоточком, прислушивался к металлическому звону,

временами присаживался и заглядывал под вагон. Часовой долго шел следом за ним, но и это ему надоело, и от середины состава он повернул назад.

Используя этот момент, Толик сунул мину под цистерну, а сам продолжал осматривать колеса еще минут пятнадцать, пока не отошел от мины на значительное расстояние. Часовой маячил уже совсем далеко. Толик осторожно, словно тень скользя между другими составами, выбрался к Западному мосту, а оттуда — в город.

Он был уверен, что эшелон взорвется где-нибудь в дороге, когда состав будет мчаться на восток, к линии фронта. За сутки он может далеко отъехать отсюда. Но не успел Толик пойти к знакомым железнодорожникам и вернуть им их имущество, как раздался мощный взрыв. Выскочив на улицу, он увидел над станцией огромный столб черного дыма и багрового пламени.

Задерживаться здесь было опасно, и Толик поспешил на Комаровку.

Немцы тем временем, согнав русских машинистов, приказали им вывезти за город, в безопасное место, цистерны, на которые еще не перебросился огонь. Но часть состава уже была охвачена пламенем, наводя страх на фашистов.

В тот же день к Рудзянке пришел Владимир Бабенко. Он взял с собой мину и отнес ее на склад с бензином в Красном Урочище. Взорвалась она как раз через сутки. Пламя, которое поднялось там, было видно за десятки километров. Сгорело сразу четыреста тысяч литров авиационного бензина, четыре вагона масла, гараж и легковая автомашина. Фашисты так и не узнали, кто же совершил диверсии на железной дороге и на складе.

Толик Маленький уже собрался возвращаться в лес, когда Анатолий Филипенко передал ему, чтобы он пришел на явочную квартиру на Студенческой улице.

«Чего он хочет от меня?» — думал Толик.

После того как Филипенко вернулся в Минск и остался здесь, он несколько раз передавал в отряд, что занимается очень важным подпольным делом и вынужден пока что задержаться в городе. Ему верили. «Может быть, нужно чем-нибудь помочь парню?» Не пойти на такую явку Толик не мог. По привычке он положил пистолет в карман пальто и зашагал на южную окраину города. Встреча была назначена в небольшом деревянном домике, обсаженном вишнями и яблонями, огороженном штакетом. Толик и раньше был на этой улице, но с хозяевами явочного домика никогда не встречался.

Едва он переступил порог дома и сказал пароль, как увидел через окно, что домик окружен гестаповцами. Выхватив пистолет, выскочил во двор. Гестаповцы с оружием в руках бросились навстречу. Толик перескочил через изгородь и очутился в садике, предполагая вырваться на другую улицу.

Вслед ему загремели выстрелы. Спрятавшись за яблоню, он несколько раз выстрелил по фашистам. Медлить нельзя было — снова бросился бежать. Вдруг что-то сильно толкнуло его в плечо. Загребая ногами снег, повалился лицом вниз, но сразу же подхватился и начал сидя стрелять по фашистам. Те залегли. Несколько пуль попало в другое плечо, зацепило голову, пробило грудь. А он все сидел и стрелял, меняя обоймы, пока не потерял сознание.

В таком состоянии его и притащили в госпиталь СС, где арестованная Эльза Лейзер сделала ему перевязку.

Первое, что увидел он, очнувшись, было заплаканное лицо Эльзы. Повернул голову и сквозь туман

разглядел высокую фуражку гестаповца, под ней — серые наглые глаза, острый ястребиный нос и тонкие сжатые губы.

— Ну, Анатолий Левков, как чувствуешь себя? — спросил гестаповец.

Толик молчал. Он еще не понимал, где он и что с ним. Все внутри горело нестерпимым огнем, перед глазами — заплаканная Эльза и гестаповец. Что-то нелепое. Сознание возвращалось не сразу.

Спустя несколько минут понял, что произошло.

— Давай поговорим, Левков, — упорно добивался своего гитлеровец. — Кто послал тебя в Минск и с каким заданием? Если скажешь — спасем тебе жизнь. Лучших докторов позовем...

Собрав последние силы, Толик прохрипел:

— Себе оставьте докторов!.. Мне не нужно...

И начал срывать бинты. Гитлеровец закричал медицинским работникам:

— Держите, держите его! Он хочет умереть, а мы не дадим ему умереть, пока не скажет всего!..

Головой отвечаете за его жизнь!

Толику крепко связали бинтами руки, чтобы он снова не стал оголять свои раны. А он лежал перед врагом и глухо стонал не столько от боли, сколько от своей беспомощности.

— Ну, так как же, будешь говорить? — добивался гестаповец.

— Скажу, наклонись, — тихо прошептал хлопец.

Когда гестаповец наклонился, Толик, набрав полный рот слюны, плюнул ему в лицо. Гестаповец отпрянул, выхватил из кармана платок и начал вытираться. А потом не вытерпел и кулаками сорвал злость на раненом, беспомощном хлопце. Толик на долгое время потерял сознание.

В таком состоянии и увидел Толика Жан, когда его привезли на очную ставку с Левковым.

Надежда на побег не покидала Жана. Пока билось сердце, пока еще ясным был ум, не умирали жажда борьбы, воля к победе.

Надеяться на то, что Фрида отопрет ему камеру, теперь бесполезно. Новый начальник — немец и его помощники — латыши, словно псы, нюхом чуяли, что нужно с особым старанием стеречь узника, и не спускали с его камеры глаза. Каждое движение арестованного было на примете.

Но Фрида и Роза успели передать ему кое-какие приспособления, чтобы он сам ночью тихонько взломал дверь, выбрался из камеры в коридор, а оттуда в уборную, переоделся там и дождался утра, пока приведут рабочих-евреев. У них не хватало решимости самим открыть дверь, но они не могли отказать ему в помощи. Они знали, что если Жан и засыплется, то их ни за что не выдаст. Это и придавало им смелости ровно столько, сколько нужно для тайной передачи немудрящего инструмента. Не больше.

Прислушиваясь к каждому звуку, Жан готовил побег. Все было уже готово, но латыши услышали подозрительный шум и вызвали часовых.

Жана перевели в другую камеру, которая запиралась крепким замком. Теперь у него не было даже тех простеньких приспособлений, которые передали ему подпольщики через Фриду и Розу. Снова голые каменные стены и голые, обессиленные голодом, жаждой и побоями руки. Даже расческу забрали...

За стеной тюрьмы, по широким просторам родной земли шел грохочущий, горячий от жарких боев и человеческой крови и вместе с тем радостный, победный апрель тысяча девятьсот сорок третьего года. Немцы катились на запад. Даже через каменную стену доносилось огневое дыхание войны. Все

чаще и чаще испуганно ревели сирены, в лихорадке дрожала земля от взрывов советских бомб. Всякий раз, когда во время бомбежки вздрагивали пол и стены, Жан радовался: это счастливая весточка от друзей. Значит, они близко, они торопятся на помощь.

В новую камеру Фриду вначале не пускали, и он снова был отрезан от всего света. Его выводили на допросы, жестоко били, но все это стало привычным, однообразным. И все же Фрида ухитрилась передать ему записки — свою и Шуры Янулис, а также графит карандаша и кусочек бумаги.

Однажды перед уходом домой ловко, незаметно для начальника девушка схватила и его записку.

Жан писал:

«Родные! Так вот, луч снова осветил мою «келью». Я рад, что вы живы. Да, настроение несколько ухудшилось. Как тут веселиться, когда в один день сели все мои, я — десятый. Все мои родные, пойми!.. Я еще гулял, а здесь уже талмуды на меня заведены с 1941 года...

Ну, в отношении меня — затишье. Я мыслю так, что нового они не добились, все попытки не увенчались успехом, и решили, видимо, просто к 1 Мая вывесить как «подарок» для народа. Ну, пойми, как же иначе? Они ведь ни одного человека не получили, а против меня материал с 41 года и довольно-таки солидный.

А что мне делать? Я же решил твердо: всю свою жизнь посвятить борьбе с врагами всего прогрессивного человечества, за народ, за Родину! И вдруг, когда приходится отдать жизнь, стать негодяем?..

Ты говоришь — еще мало поработали и жизнь надо беречь. Ну, а если нет выхода и чтоб мое имя не было опозорено будущими счастливыми! Вот так и нужно ставить вопрос — умереть, так с музыкой!.. Все сделаю, и делаю, только чтоб никто не потерпел.

Ну, ты что молчишь про Родину, дай знать о ней... Слышу воздушные тревоги, для меня это большой и приятный концерт...»

Последняя весточка от него пошла по подпольной связи. Ей суждено было дойти до нас и стать завещанием мертвого героя.

На другой день в одиннадцать часов утра Фрида успела еще передать ему записки — свою и Янулис. Ответ получить не пришлось.

В пять часов пополудни Роза видела, как его повели из подвала. Шел он на этот раз без шапки, без пальто, с высоко поднятой головой. Каждый мускул худого, бледного, бородатого лица, казалось, говорил: «Даже смерть не заставит меня изменить своей Родине, своему народу. Я жил и воевал честно, как и надлежит коммунисту, и умираю с чистой душой. Пусть дело, за которое я отдаю жизнь, продолжают те, кому посчастливилось остаться в живых...»

В камеру он больше не вернулся.

А за стеной тюрьмы бушевал апрель. Солнце щедро заливало теплом промерзшую землю.

Торопились к Свислочи шумливые, озорные весенние ручьи. Они подхватывали разный мусор, обрывки фашистских газет, банки из-под консервов с немецкими, датскими, французскими, голландскими надписями. Город словно смывал нечисть, которой покрыли его чужаки.

Из-под талого снега баррикадами выступали руины. Они жили своей потаенной жизнью. В них росла, крепла несокрушимая сила, имя которой — ненависть к фашизму.

Умерли от рук фашистских палачей отдельные герои-подпольщики. Но подполье оставалось. Оно расширялось, меняло формы своей организации, приобретало опыт. По-прежнему бесстрашно

действовали Захар Галло, Лида Девочко-Ларина, профессор Клумов и десятки других подпольщиков. В строй вступали сотни новых бойцов подпольной армии.

Минск напоминал город, обложенный и наводненный партизанами. На перекрестках улиц фашисты строили доты, свои учреждения огораживали колючей проволокой. То в одном, то в другом месте рвались мины и гранаты, раздавались выстрелы народных мстителей. Враг чувствовал себя в белорусской столице как на горячей сковороде.

Дело, начатое героями-подпольщиками в 1941 году и бесстрашно продолженное в 1942 году, из рук погибших подхватили новые герои-подпольщики 1943—1944 годов.

Смертельная схватка с врагом на руинах Минска продолжалась с нарастающей силой.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

У того, кто дочитает эту повесть до конца, очевидно, возникнет вопрос: кто из героев ее остался жив и как сложилась их судьба?

Всех, возможно, я и не смогу перечислить, но о некоторых расскажу.

В числе оставшихся в живых оказались Георгий Сапун, Иван Иващенко, Александр Дементьев. Из фашистской тюрьмы были только две дороги: одна — на виселицу или расстрел, вторая — в лагерь смерти. На долю Сапуна, Иващенко и Дементьева выпала вторая дорога. Много тяжелых испытаний пришлось перенести им, прежде чем вступили они на родную освобожденную советскую землю.

Сейчас инженер Георгий Павлович Сапун работает в Москве, в одной проектной организации. Мне кажется, что не многие его сослуживцы знают, как героически вел себя этот скромный, тихий человек в те годы, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Георгий Павлович неохотно рассказывает о себе. Зато с великой любовью и уважением говорит он о товарищах по борьбе, бесстрашно отдавших свою жизнь за советскую отчизну.

На одном из предприятий Минска работает Иван Иващенко. Он очень скупо вспоминает о своих делах и испытаниях. «Да, было, всякое было, — обычно говорит он, когда у него спрашивают о тех огненных днях сопротивления фашизму. — Вот Юлиан Крыживец вам расскажет. Или Апанас Балашов... У меня память хуже. Столько били меня в СД! На допросах сам старался забыть все, что делал в подполье. А потом, в лагере смерти, дистрофией болел. Я, мужчина, весил всего двадцать восемь килограммов!.. Всякое было, всякое!»

Живут в Минске и получают персональные пенсии Владимир Казаченок, Ядвига Савицкая, Апанас Балашов, Мария Евдокимова, Арсен Калиновский и другие бывшие подпольщики.

По-разному сложилась судьба после событий, описанных в этой книге, у Лидии Девочко-Лариной, Валентины Соловьянчик, Лидии Драгун-Пастревич, Марии Калашниковой, Павла Ляховского, Леонарда Лихтаровича, Владислава Садовского, Насти Цитович, Нины Еременко, Геннадия Будая, Брони Гофман, Татьяны Яковенко, Варвары Матюшко, Юлиана Крыживца, Федора Кузнецова, Аллы Сидорович и многих других, ускользнувших от лап гестапо. Одни из них перебрались в партизанские отряды, другие продолжали подпольную работу в Минске, поддерживая постоянную связь с партизанскими соединениями. Сейчас все они живут в Минске, большинство работает в различных учреждениях и на предприятиях, некоторые ушли на пенсию.

Часть бывших подпольщиков после войны оказалась далеко за пределами Белоруссии. В различных концах страны живут и работают Константин Григорьев, Мария Пилипушко, Василий Бочаров, Нина Гарина. А генерал в отставке Борис Бывалый сейчас в Киеве, пишет воспоминания о бурных

событиях военных лет.

Не дожили до освобождения любимого города Захар Галло и Клава Фалдина. По доносу провокатора гестаповцы схватили славного Зорика во время выполнения задания партизанского штаба. Юношу долго и мучительно пытали и в конце 1943 года казнили. Клава погибла во время блокады партизанского соединения фашистами в районе озера Палик в июне 1944 года.

Неумолимая смерть скосила некоторых героев минского подполья уже много лет спустя после войны. В 1957 году скончался Хасен Александрович, в 1962 году — Василь Сайчик («Дед», «Старик») и Александр Дементьев.

Ну, а с предателями что? Неужели им удалось уйти от ответственности?

Нет, те из них, о которых шла речь в повести, понесли заслуженное наказание. Борис Рудзянко после войны несколько лет скрывался от правосудия. Но он был разоблачен и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Анатолий Филипенко после разгрома подпольного горкома был направлен гестаповцами в партизанский отряд. Там его разоблачили, и партизанский суд вынес свой суровый приговор, который тут же был приведен в исполнение. Понес заслуженное наказание и Суслик. Закрывая последнюю страницу этой книги, я расстаюсь не со всеми ее героями. С некоторыми мы еще встретимся.

## Примечания

1

Г. Д. Смоляр — один из руководителей партийной подпольной организации гетто, бывший подпольщик в Западной Белоруссии.